

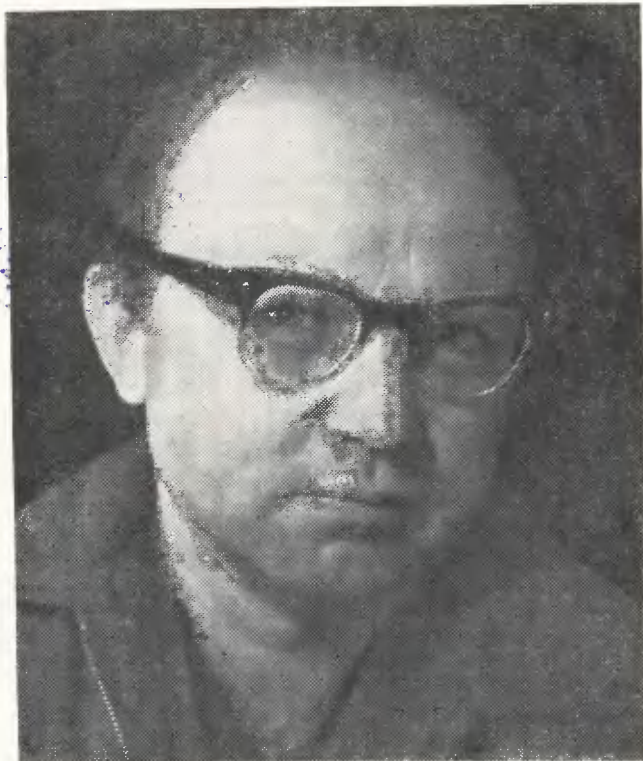


ВИКТОР СМИРНОВ



**ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ**





ВИКТОР СМІРНОВ



ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ

ПОВЕСТЬ

Виктор Смирнов знаком читателям как автор приключенческих повестей — «Ночной мотоциклист», «Тринадцатый рейс», «Обратной дороги нет» и др.

Родился писатель в 1933 году. Рос на Украине. Закончил десятилетку в Литовской ССР. Учился в Московском университете. Работал в районных и областных газетах Восточной Сибири. Плавал матросом на заграничии. В качестве корреспондента журналов «Смена» и «Вокруг света» много ездил по стране.

С издательством «Молодая гвардия» В. Смирнова связывает давняя дружба. Здесь начиная с 1962 года вышли все его книжки: «В маленьком городе Лиде», «Трое суток рядом со смертью», «Поединок в горах», «Дорога к Черным идолам», «Слушай колокола громкого боя», сборник повестей «Тринадцатый рейс». Эти книги издавались также за рубежом — в ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии.

В. Смирновым (совместно с И. Болгариним) написаны сценарии художественных кинофильмов «Суровые километры», «Обратной дороги нет», «Ночной мотоциклист»,

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1971

Леонид Мартынов

1

глава



1

Я дошел до «предбанника» и упал на горячий, усыпанный хвойными иголками песок. Густой запах хвощекотал ноздри. Земля грела и баюкала меня.

Я слышал, как сыпается песок под семяющими ножками муравья... Тишина — удивительная штука. Два с половиной года я не знал ее. Правда, за время боев нас несколько раз отводили на отдых, но фронт был не так уж далеко, за горизонтом все время стучали, рвали брезент; земля оставалась беспокойной, она легонько гудела, как ночной улей. Всей своей шкурой — тогда еще совершенно целой, нигде не продырявленной шкурой — я ощущал этот скрытый гул, даже когда спал. Меня словно подключили к какому-то аккумулятору. Достаточно было нажать кнопку, чтобы ноги сами собой нырнули в сапоги и ремень плотно обхватил гимнастерку. Недаром Дубов говорил, что берет в свою группу только таких ребят, которые тратят на сборы не больше десяти секунд.

«Даю вам десять секунд» — это было любимым приговором Дубова, старшего лейтенанта из дивизионной разведки.

6



глава

1

Теперь фронт ушел от меня. С ним ушли Дубов и ребята. А я остался... Лежу в соснячке и слушаю тишину. Она как вода — тишина. В нее стреляли фугасными, кумулятивными, трассирующими, зажигательными, шрапнельными, бронебойными, бетонобойными, а она все приняла в себя и сомкнулась, как только стрельба кончилась. Затянула все раны, будто их и не было.

Я перевернулся на спину и уставился в небо, подерживаемое мутноватыми молоденьких сосенок. Кто и когда окрестил посадку «предбанником»? Здесь всегда жарко. Даже когда в лесу на притененных склонах оврагов лежит снег, посадка дышит печным теплом.

...Небо было в длинных белых полосах. Как будто и туда ветер донес осеннюю паутину. Легкое, светлое небо. Я разбросал руки. Теплое марево подхватило меня и понесло, словно течение. Сознание замутилось на миг — не так, как от хлороформа, а по-хорошему замутилось, по-легкому.

Мне вспомнилось утро, когда я увидел младшую дочь гончара Семеренкова на озимом клине. Она шла

7

по тропе с коромыслом на плече — высокая, легкая, стройная... Было рано, озимь чуть обозначилась на пашне, а вдаль проступала сиреневая кромка лесов. Казалось, девушка сейчас сольется с этой сиреневой кромкой, растает, будто ее и не было. Почему я вспоминаю об этом утром, когда мне хорошо? Может, наоборот, мне становится хорошо, когда я вспоминаю об этом?

Я закрыл глаза и заснул. После госпиталя я сплю, как январский барсук. Наверно, мне влили кровь какого-нибудь сони. Отсыпаюсь за всю войну. От полесской земли сил прибывает. Я чувствую, как теплые токи струятся по всем жилам. Хорошо. Мне очень надо поскорее выздороветь. На фронт надо. К ребятам.

Проснулся я оттого, что кто-то пробежал неподалеку — легкий, почти невесомый, словно облачко пыли пронесло ветерком. Никого не было видно, и слышно ничего не было, но я хорошо знал, что к ощущениям, от которых мы просыпаемся, следует относиться с уважением. Те, кто думал иначе, жестоко поплатились.

Я лениво отполз к краю «предбанника» и оглядел поляну. Это была сухая мшаная поляна, поросшая кое-где вереском с фиолетовыми кляксами цветов. Вересень*... За поляной начинался темный и густой сосновый лес. Тут-то я и увидел ее. Косулю. Она резко выделялась на фоне леса, светлый силуэт ее был словно наклеен на темное. Потом она подпрыгнула, точно играючи, сразу всеми четырьмя тонкими ногами и помчалась по песчаной дороге вдоль леса. Она даже не касалась копытцами земли, до того была легка. Казалось, она, если захочет, может вот так же быстро поскакать к белым паутинным полоскам на небе.

Я успокоился. Косуля так косуля. Надо было идти. Пришло время пить молоко. Солнце, которое неярко светило сквозь белые облачные нити, поднялось к своему сентябрьскому хилому зениту. В этот час моя бабка Серафима, первая ругательница на селе, учиняет дневную дойку. Чего только корова от нее не наслушается,

* Вересень — сентябрь (укр.).

пока бабка тянет ее соски. Казалось бы, молоко от таких слов должно закиснуть в подойнике.

Я встал, отряхнул хвою и паутину. Но меня задержало любопытство. Конечно же, ни с того ни с сего косуля не металась бы по лесу. Кто-то спугнул ее, и мне захотелось посмотреть кто. Из-за любопытства меня и взяли в дивизионную разведку.

«Наверно, это Маляс или «ястребок» Попеленко, — подумал я. — У обоих есть оружие. На месте Попеленко я бы не забирался так далеко в лес. Еще две недели тому назад в селе был второй «ястребок», квартирант Маляса, долговязый чахоточный Штебленок, но он отправился как-то в лес, и потом его долго не могли найти — все потому, что искали на земле, в листьях, по оврагам, а он висел над землей, на дубе в Шарой роще, без сапог и фуфайки».

Отчаянно, по-базарному застрекотали сойки. Так они кричат только над собакой или охотником.

Стрекот быстро перемещался. Вот уже протрещали крылья в сосняке, сойки скакали с ветки на ветку и орала, как у нас в сельпо орут, когда собирается очередь за тюлькой. Удивительные птицы. Цветастые. Помесь залетного попугая с отечественной вороной. От их крика такое ощущение, как будто наждаком по позвоночнику водят. Разведчики мало добра видят от соек. Очень вредные существа.

Должно быть, пес, который выбежал на поляну, придерживался того же мнения. Он то и дело злобно косился на соек, болтая ушами и принюхиваясь к земле, водил носом по колеям на песчаной дороге, как будто шарик катил. Это была крупная худая дворняга, имевшая в родословной, судя по ушам, пойнтера. Левый глаз собаки окружало темное, похожее на синяк пятно, что придавало ей какой-то подгулявший, лихой вид. Вряд ли этот гончак все время наслаждался свободой, потому что светло-рыжая шерсть на шее была приямта, как будто он лишь недавно освободился от веревки.

Он скользнул по мне взглядом — заметил-таки! — и, разбрасывая длинные лапы, вынюхивая дорогу, побежал вслед за косулей. Ни у кого в деревне такой собаки не было, поэтому я подождал еще немного, не появится ли охотник, но тот, видать, ждал косулю где-ни-

будь в засаде, на перехлесте троп. Если, конечно, пес не охотился в одиночку.

В это время прозвучала автоматная очередь. Патронов десять-двенадцать, метрах в семистах от меня, там, куда убежала косуля, а вслед за ней пес. Стреляли из «шмайсера» — он бьет звонче, чем ППШ, у которого звук выстрелов немного приглушается кожухом. Я не сомневался, что косуле конец, потому что выстрелы не повторялись. Тот, кто стрелял, если бы промахнулся, непременно ударил бы вслед. Автомат — штука азартная.

Мне стало жаль косулю. Она бежала так легко, так свободно! Не зная, зачем мне это нужно, я отправился по песчаной дороге туда, где прогремели выстрелы. Наверно, во мне заговорило сочувствие разведчика. Разведчик часто оказывается в роли преследуемого. Когда повесят над головой пару ракет с парашютиками, и вы светят тебя на каком-нибудь открытом поле, да пустят с флангов скрещивающиеся трассеры, да еще подключат пару ротных минометов, — вот тогда почувствуешь, что значит убежать от охотника.

2

— Пей, грясця твоей матери, — говорит бабка Серафима, наливая молоко в глиняную кружку, размалеванную «виноградином».

«Трясця» — это излюбленное присловье бабки, и она ничуть не задумывается о том, что упоминает о своей собственной дочке. «Трясця», надо полагать, означает пожелание лихорадки, трясучки или родимчика.

— Где тебя черти носят? — спрашивает бабка, наблюдая за мной и стоя рядом с глечиком, в котором приятно шуршит, оседая пеной, парное молоко. — Где это ты собакам сено косишь? Небось спутался с какой-нибудь нашей телкой, они у нас гладкие, а ты вон какой! Тебе не об этом думать надо...

— И в кого ты у меня удалась, Серафима, добрая подружка бедной юности моей? — спрашиваю я.

Действительно, в кого? Дед мой, усатый, хитрый и своенравный запорожец Капелюх, приехавший в Полесье якобы с вольной Хортицы, непременно желал взять за себя белоруску — наслышан был, что белоруски

мягки, нежны и послушны. Три раза ездил дед на «север» и наконец привез Серафиму. Ладная она была, Серафима, старики в Глухарке помнили это, как помнили и то, что на третий день медового месяца дед вылетел из хаты как оглашенный, и на плече его был отпечаток рога. С тех пор и пошло.

Дед рано умер от паралича, и вот тогда-то выяснилось, что Серафима любила его безумно. Товарищ мировой посредник Сагайдачный уверял, что это типичный славянский вариант любви.

После смерти деда Серафиме туго пришлось. Она работала у печей на гончарном заводе и подкармливалась еще тем, что — тайно, конечно, — исполняла обязанности повитухи. Все, что зарабатывала, Серафима отсылала матери. Она и меня содержала, когда я учился в киевской школе, а мать вышла замуж и уехала. От матери я получал красивые открытки и признания в нежной любви, а от Серафимы — деньги.

Подлив молока в кружку, бабка снова задает вопрос чисто риторического порядка:

— Где твои кишки мордует, господи прости?

Не могу же я рассказать ей, что ухожу за километр в «предбанник» и там лежу в одиночестве, глядя в небо, вспоминая ребят, вообще думая черт знает о чем. Или подаюсь на хутор Грушевый к семидесятилетнему Сагайдачному вести длинные разговоры. Для единственного парубка на селе это странное времяпрепровождение... Нет, об этом я не могу рассказывать даже бабке. Достаточно у нас одного дурачка в селе — Гната.

Я молча допиваю молоко, и бабка забирает кружку.

— Спасибо, неню, — говорю я.

Это непереводимое «неню» на украинском языке означает очень многое, вбирает в себя все понятия в диапазоне от «мамочки» до «нянечки». Слово действует на бабку безотказно. Это своего рода пароль, известный лишь двум сообщникам. Бабка, и без того сморщенная, как узбекский кишмиш, выдаваемый по карточкам за сахар, вся закутанная в невероятно рваные платки и кацавейку, вдруг улыбается, сморщивая свое личико до степени просто-таки невероятной. Она обнажает желтые зубы, «отдельно расположенные», как сказал бы Дубов, поясняя ориентиры перед выходом на задание. Глаза превращаются в две вишневые косточки,

да и те тонут в сетке морщин. Ну и бабка! Неужели она была когда-то красавицей?

— Черт хромой, — говорит Серафима.

Улыбка ее длится недолго.

— Почты не было? — спрашиваю я и валюсь на застеленный рядом топчан. — Молчит военкомат?

Три моих заявления ухнули словно в лесную чащобу. Даже переосвидетельствования не собираются делать. Тыловики!.. Канцеляристы!.. Не знаю, почему их смущают два метра вырезанных кишок. Как будто бы оставшегося мне не хватит. У человека, мне в госпитале сказали, девять метров кишок.

Бабка не отвечает, гремит чугунами у печи.

— Так была почта или нет? — спрашиваю я.

Бабка гремит у печи, двигает вьюшками, бьет в железную заслонку, как в барабан. Неграмотная Серафима боится почты, ждет от нее подвоха.

— Оглохла ты, Серафима?

То, что косулю убили, почему-то неприятно подействовало на меня. Двое их было, охотников, и один из них взвалил косулю на плечи и унес. Следы рассказали. На дороге остались отпечатки сапог и кровь. Много крови: наверняка одна из пуль угодила в сердце или артерию. Из автомата не так-то просто попасть в бегущую косулю. Видать, стрелял фронтовик. По какую сторону фронта воевал он? В нашем Полесье бродят всякие людишки. Леса здесь густые, богатые леса. Если кому-то придет в голову вздернуть на дубовом суку «ястребка», то вот он сук, рядом, долго не надо искать.

— Серафима! Была почта?

Бабка шурует у печи, как паровозный кочегар, озаренная красными бликами, и насупленно молчит.

Рушники, наборы фотокарточек, иконы в красном углу, пучки трав, развешанные по стенкам на просушку, метелки полыни, предохраняющие от блох, — все это начинает раздражать меня. Надоело мне в тылу!

— А, черт!

Я прыжком соскакиваю с кровати — только булькает парное молоко. К дьяволу надоевшую хату! К Варваре, что ли, податься? На что только не решишься от

тоски... Варвара тут же выставит на стол бутылку. В нее словно табачному дыму напустили, в эту бутылку, такой в Полесье сизый самогон. Хозяйка сядет напротив, уставится своими сливами. Ну и... Попеленко не зря утверждал, что Варвара проста и безотказна в обращении, как русская трехлинейка. Правда, я не был уверен, что в руках Попеленко трехлинейка безотказна.

— Ты куда? — бабка Серафима встает перед дверью, держа ухват в положении «к ноге». — Куда это ты собрался? С-под рыжей кобылы яйца красть?.. Ну была почта, была, подавись ты ей, как старый Сучок рыбьей костью подавился!

И с этими словами бабка бросает ухват, лезет за Николая-угодника, самую высокую икону в красном углу, и достает сложенную вдвое розовую бумажку. «Ожинский райвоенком...» — и подпись крючком.

Повестка!

— Серафима Ивановна, дай я тебя расцелую, нению!

Но бабка Серафима рыдает, вытирая лицо закопченной рукой.

3

В военкомате, в приемной, на лавках сидели мужики, курили в кулак, разглядывали плакаты, переговаривались. В назначенный час щелястая дверь открылась, и в приемную вошел парень с листком в руке. На ливной гимнастерке у него были красная и желтая полоски.

— Капелюх есть? — осведомился он.

— Не люблю, когда меня называют по фамилии. Дело в том, что Капелюх означает «шляпа». Не очень-то это подходит для разведчика.

— Есть... — буркнул я.

— Вас ждут в райотделе НКВД, — сказал парень, разглядывая список и собираясь вызвать следующего.

— Чего? — самым глупейшим образом переспросил я.

— В милиции вас ждут, — сказал парень. — Пройдите, в этом же доме, соседняя дверь.

Это я и сам знал, что соседняя дверь.

— Слушай, земляк, а чего я им нужен, в милиции? — спросил я. — Мне же сюда повестка...

Тут парень впервые посмотрел на меня. Глаза у него были голубые, но с той легкой замутненностью, которая, по-видимому, приобретается исключительно на канцелярской службе. Когда люди существуют для тебя лишь в списках, глаза обязательно затягивает — легкая поначалу — поволока. Эта поволока как стеночка. Она сразу дает понять иной масштаб мышления.

— Вам там все объяснят, — сказал парень. — Я не уполномочен. — И вызвал следующего: — Погребень! Пройдите к райвоенкому!

С самыми дурными предчувствиями я открыл дверь, которая вела в райотдел НКВД. Пока я шел лесной дорогой в Ожин, пока меня подвозили усатые попутные дядьки на немазанных подводах — от вас до Ожина около тридцати километров, — я успел набросать довольно живописный план моей встречи с военкомом. Конечно же, меня должен был принять сам райвоенком. «Старший сержант! Мы получили ваши заявления с просьбой об отправлении на фронт, в родную воинскую часть. Мы решили удовлетворить вашу просьбу...» Все могло бы быть красиво. И вот меня вызывают в милицию, как какого-нибудь мешочника.

...В милиции, словно бы извиняясь за невнимательность военкома, меня принял сам начальник отдела Гупан, гладко, не по военному времени выбритый человек внушительных размеров. Если бы у него не было погон, все равно он по одной лишь фигуре тянул на «два просвета».

Рядом с начальником сидел капитан с петличками особиста и болезненными, слезящимися глазами и курносый юноша в большом, отцовском видать, пиджаке с широкими ватными плечами, с белым воротничком навыпуск. Этот-то уж наверняка был из районного комсомола. Мне очень не понравилось, что здесь сидит этот парень с белым воротничком навыпуск. Вдруг показалось, что они собираются набирать старших пионервожатых для школ. Даже зябко как-то стало от этой мысли.

— Садись, Иван Николаевич, — сказал начальник райотдела, когда я отпраповал.

Перед ним лежала тоненькая папочка, и он просматривал листочки. Огромные лапищи его были созданы не для бумаг. Он рассматривал бумаги осторожно, боясь повредить, как женщины рассматривают шелковые чулки. Капитан тоже смотрел в листочки, склоняясь к плечу начальника. Юноша же уставился прямо на меня и улыбался восторженно. По-моему, он хотел этим сказать, что все происходящее для меня и для него — праздник, большое, светлое и радостное событие в жизни. Это-то меня и пугало.

— Как вы себя чувствуете, Иван Николаевич? — мягко спросил капитан, продолжая искоса заглядывать в листочки. Конечно же, это было мое личное дело. И там было записано не только мое имя-отчество, но и все, что положено, в том числе заключения врачей. Про два метра кишок и прочее.

— Чувствую себя очень хорошо, — сказал я. — Раны залечены. Готов на фронт. Честное слово!

— Прекрасно! — сказал начальник райотдела. — Сказывается операция?

— Нет. Иногда, на погоду... Но могу и бегать, и прыгать. Все пройдет.

— Комсомолец? — спросил юноша громко.

— Комсомолец.

Юноша заулыбался пуще прежнего и победно оглядел капитана и начальника райотдела. Как будто он прежде и не догадывался, что я комсомолец, и теперь переживал буйную радость. Ему было лет шестнадцать.

— Вот что, Иван Николаевич, — сказал начальник отдела. — Мы с тобой люди взрослые, что мы будем в прятки играть? На фронт тебе пока нельзя. Кумекаешь? Надо подкрепить здоровье, отдохнуть в сельской местности. У нас есть другое задание. Боевое! Мы совместно с товарищем Овчуком и Абросимовым, — он кивнул в сторону капитана и юноши, — подбираем кадры бойцов истребительного батальона, «ястребков» попросту. Не скрываем — работа опасная. Официально батальон дислоцирован в Ожине, в райцентре, но нам приходится разбивать «ястребков» на небольшие... совсем небольшие группы и распределять по селам. Фактически «ястребки» в селе — бойцы самообороны. Они охраняют жителей от бандитов. Вообще... следят за по-

рядком... Сам знаешь, как беспокойно в лесах. Предлагаем тебе должность старшего в вашем селе, взамен погибшего Штебленка.

Вот так так!

— Это выходит... вроде милиционером?

Узнали бы ребята в дивизии! Вот ведь влип в историю!

— А что, это зазорно?

Тут я сообразил, что поступаю неосмотрительно, поддавшись первому чувству. С начальством надо хитрить, это солдатское правило.

— Почему же? — спросил я. — Дело ответственное! Думаю, не справлюсь. Надо кого-нибудь по-старше.

Самое ужасное, что, лихорадочно изобретая различные способы спасения, я понимал всю их бесполезность. Уговорят они меня, как пить дать уговорят! Я всегда теряюсь в разговоре с начальством, даже если оно в одном лице. А их трое!

— Мне ведь двадцать лет... Сначала надо набраться фронтового опыта.

— Как раз ваш фронтовой опыт нас и привлекает, — сказал капитан с какой-то особой, хорошо поставленной профессиональной нежностью в голосе. — У нас ведь кто в «ястребках»? Больше необученные. Трудно с кадрами. Так вот, товарищ Капелюх...

«Начальник райотдела умнее, чем капитан, — подумал я. — Он меня не зовет по фамилии».

— У вас опыт разведчика... И вы — местный!

— Да какой из меня разведчик? — взмолился я. — Меня взяли, потому что городскую десятилетку кончил... «Шпрехаю» немножко... Мне ни разу не давали фрица пристукнуть... Чтоб своими руками. Так, из автомата! Вот у нас ребята были — это действительно! Мне бы у них сначала подучиться.

Капитан усмехнулся и прошептал что-то на ухо начальнику райотдела. Мне стало совсем тоскливо, я понимал, что дело уже решенное, но они почему-то очень хотят, чтобы я согласился.

— К тому же я, собственно говоря, не местный. Просто родился здесь. В капикулы приезжал. А учился в Киеве, школа номер один, возле площади Хмельницкого.

Я говорил и боялся остановиться. Мне оставалось отстреливаться до последнего и надеяться на чудо.

— Ну вот что, Иван Николаевич, — сказал начальник райотдела, когда мои обоймы иссякли. — Силком не заставим. Но на фронт тебе все равно дороги нет. Кумекаешь? Поступишь куда-нибудь работать. Пожалуйста! Завклубом... или инспектором райосвита*. Правда, Абросимов? — спросил он у комсомольского юноши.

— Не сомневаюсь, что товарищ Капелюх выберет путь не тот, что протоптанней и легче, — ответил Абросимов, сияя.

4

Ночевал я у этого юного комсомольского вожака. Он сам предложил. Я стоял у магазина с сидором, набитым положенным мне на ближайший месяц пайком — тремя буханками черного хлеба, двумя килограммами пшенки и добрым шматом сала. На плече у меня висел карабин номер 1624968. Автомата у них, конечно, не нашлось, хотя я и пытался уломать товарища из спецсектора, который молча перебирал карабины в сейфе. О гранатах нечего было и заикаться, но меня это не очень беспокоило, я-то знал, сколько в нашем селе припрятано гранат — Инша река рыбная... Сапог тоже не оказалось. Зато мне выдали удостоверение с печатью.

Стоял у магазина и соображал, куда бы податься на ночлег. Дело клонилось к вечеру, нечего было и думать добраться до села. Ночью по нашим дорогам не ездят. Можно было пойти в сарай, который назывался автобусной станцией, но я видел, что там делается. Беда в том, что Ожин выжгли еще в начале войны, и большая часть городка состояла из печных труб, которые торчали, как стволы невиданной величины зенитных орудий.

Вообще-то, в таких местечках пускают на ночлег более охотно, чем в уцелевших, благополучных, но проситься в дом для меня было всегда мучительно. Кукар-

* Райосвита — районный отдел народного образования (сокр., укр.).

кин, тот у нас в разведке был большой спец по этой части, он действовал по-суворовски: «А что, хозяйка, не найдется ли среди ваших горшков местечка для моего котелка?» Или: «Разрешите моим чоботам переночевать под вашей лавкой?» Он ловкий был парень и, случалось, утром выходил с хозяйкиной половины, шурясь, как кот. По-моему, походная жизнь доставляла ему определенное наслаждение.

Когда этот юный Абросимов легонько толкнул меня в плечо, я особой радости не испытал. Чем-то он меня раздражал, улыбкой, что ли? В нем чувствовался некоторый избыток усердия, а когда повоюешь, насмотришься на всякое, начинаешь понимать, что избыток усердия бывает страшнее лени. На фронте быстро взрослеешь, недаром там год засчитывается за два. Он улыбался, Абросимов. Теперь на нем поверх пиджака была наде-та куртка желтой кожи, сильно повытертая в складках. На правом плече белела проплешина — от ружейного ремня, что ли. Отцовская, наверно, была курточка, очень широкая, просторная. Конечно же, Абросимов полагал, что кожаная куртка придает ему боевой комиссарский вид. Все мы прошли через это... Бредили гражданской войной, буденовками, маузерами... В военкомат в 41-м я тоже пришел в старой кожанке, которую тут же, по выходе, отдал ее настоящему хозяину — дружку Витьке.

— Вы, наверно, кого-нибудь ждете, — сказал Абросимов, — товарищ Капелюх?

— Жду, — сказал я, недовольный этим официальным обращением. — Может, трамвай подойдет.

— Хм, — смутился он. — Это шутка? Знаете, мы сегодня семь человек приняли в «ястребки». И все замечательные ребята. Комсомольцы! Знаете, решили покончить с бандитизмом в районе.

— Это здорово! — сказал я.

— Вот-вот... Знаете что? — предложил он вдруг. — Пойдемте ко мне... Может, вы согласитесь у нас переночевать, а? Чего вам спешить?

— Ладно, — буркнул я. — Конечно, некогда мне... Ладно!

И пошел за ним, придерживая сидор. Абросимов, оглядываясь, несколько раз провел ладонью по правому плечу, где на кожанке светлела проплешина от ружейного ремня. Он словно бы старался скрыть этот след

боевого прошлого. Но меня ему было не провести. Всего лишь четыре года отделяли меня от Абросимова.

Первым делом он показал мне свой ТТ*.

— Это нам выдали. Ведь придется разъезжать по району...

По-моему, ТТ этот выбраковали при инвентаризации в армии. Ствол был очень плохо зашплинтован, болтался, и механизм самовзвода заедало. Но Абросимов очень гордился оружием.

— Я прямо из девятого класса пошел на комсомольскую работу, — рассказывал Абросимов. — Учиться буду по вечерам, сейчас ведь не до этого, правда? Сами понимаете, как трудно с кадрами... Война!

Потом мы пили чай с сахарином; Абросимов познакомил меня с матерью и сестрой. Сестренке было лет пятнадцать, самый вредный возраст — одни хихиканья и усмешечки. Зато мать у Абросимова была что надо. Учительница. Если перед тобой учительница, то всегда можно по одному движению, или слову, или взгляду догадаться, хорошая это учительница или нет, любят ее в классе или не любят, или, может быть, делают вид, что любят. Так вот, мать Абросимова была хорошая учительница, в этом не приходилось сомневаться. Тощенькая, глазастая, но очень спокойная и добрая. Такие никогда не притворяются, а хуже нет, если учитель хочет быть в классе не тем человеком, какой он на самом деле... Я даже позавидовал Абросимову. Славная у него была мать. Когда я по неосторожности просыпал сахарин из облатки, она так мило и ободрительно улыбнулась мне. Мол, не горюй, что же делать! Бывает!

Ночью Абросимов — мы спали на полу, в углу комнаты, а мать с дочкой на единственной кровати — толкнул меня и прошептал:

— Я ведь тоже на фронт просился... Не пустили!

Ему очень хотелось поговорить по душам, но я притворился, будто сплю. Мне не до него было. Этот день многое сломал в моей жизни. Выходило, что до конца

* ТТ — автоматический пистолет образца 1930 года.

войны, а то и дольше, сидеть мне в селе Глухарка с карабином № 1624968. Начальник райотдела, прощаясь, выдал мне краткую, но категорическую инструкцию. Моим делом было теперь не щадя живота оберегать село от бандитов, вылавливать их лазутчиков и провокаторов, помогать представителям власти и прочее, прочее. И — Гупан тут поднял палец и повысил голос — твердо стоять На страже Закона и Порядка. Не допускать никаких перегибов, ни в чем не ущемлять достоинства советского гражданина, при опросах быть вежливым, и все такое...

В милиционеры меня записали, да и только. Тьфу ты дьявол! Я разведчик — и Страж Закона.

Закон... При этом слове мне всегда вспоминалась сумрачная комнатуха в загсе, куда мы с матерью еще задолго до войны приходили получать выписку из метрической книги. В тот день нас здорово намучили. Прокуренная старушка, с желтыми усиками на верхней губе, у которой от табака голос стал почти как у Шалыпина, перерыла все книги, толстенные и пыльные. «Все должно быть по закону, — гудела она, — все должно быть по закону». С тех пор у меня родилось ощущение, что закон спрятан в толстенной книге и возиться с ним — дело книжное, архивное и пыльное.

Кстати, старушка долго рылась потому, что искала меня по фамилии отца, тогда как у меня фамилия матери. Так уж получилось с папашей, время было бурное, все переезжали с места на место, он и затерялся... Мама у меня — Изабелла Капелюх. Это же надо было придумать! Правда, бабка уверяла, что в детстве маму звали Параской. Но, уехав в город, она стала Изабеллой. Это дело прошлое, ладно.

...Страж Закона! Вежливый и обходительный. Вот до чего дожил Иван Капелюх.

Утром, прощаясь, Абросимов сказал мне:

— Знаешь, я к тебе приеду. В Глухарку. Знаешь, может, возникнут какие-нибудь трудности. Дело для тебя новое, а мы тут обобщим опыт по «ястребкам».

— Валяй, — сказал я. — Ты человек вооруженный...

Он принял это всерьез, слишком уж он гордился своим ТТ. Лучше бы я обругал Абросимова, чтобы его желание навесить меня в далекой Глухарке завяло на корню. Но я слишком был поглощен своими мыслями.

— Мы будем дружить! — крикнул на прощание Абросимов.

Он стоял на пороге своей хибары в небрежно накинутой на плечи курточке желтой кожи с проплешиной на плече, и воротничок его белой рубахи трепетал на ветру.

5

Кривой старикашка встретился мне на Глухарском шляхе. Он возил в Ожин картошку и теперь возвращался навеселе. Орал он во всю глотку про «Галю молодую», и тощее его тело прыгало на пустых грязных мешках, подстеленных на днище телеги.

— Стой! — заорал он лошади, увидев меня. — Человек на дороге, берем человека!

Единственный глаз его сверкал, как у драчливого петуха. Я не удивился бы, если бы он оказался еще вдобавок однорукий или одноногий. Неувечные были на фронте, а в селах остались такие мужики, что хоть на выставку дефектов посылай.

— За кого воюем? — спросил старикашка, посмотрев на мой карабин.

— А тебе за кого надо?

— Э!.. — старик погрозил мне черным пальцем. — Мы пуганные. Все равно! Вшистка едно!

— Ну, тогда помалкивай. Про «Галю» дома споешь.

Если бы кто-либо из бандюг захотел проверить, кто это там голосит на дороге, карабин вряд ли выручил бы. А мне не хотелось, чтобы моя новая карьера оборвалась в самом начале. Это было бы неавторитетно, повредило бы репутации бывших разведчиков.

Лес, который сжимал с обеих сторон песчаный шлях, словно бы изменился с тех пор, как я побывал в Ожине. Он посуровел, потемпел, хотя день выдался легкий, прозрачный; лес приобрел иные свойства, как только у меня завелось удостоверение, подписанное ожинским начальством, а на плече повис карабин.

Мы спустились в долину Инши, и сосняк сменился осинником. Он был разноцветным, на каждом листе будто кто-то пробовал новую краску. Плотные, жесткие листья переливались и словно подмаргивали. У нас в Полесье осинник не любят — пустое дерево. Ни на поделки оно не идет, ни на дрова. Мне же осинник всегда нравился. Без него наши леса поскущнели бы. Осина говорлива, даже в тихий день она о чем-то бормочет, играя листьями, с ней весело...

Сейчас я прислушивался к шелесту осиновых листьев настороженно. Даже сквозь повизгиванье колесных втулок и глухие удары копыт был слышен глухой переговор деревьев, их вкрадчивый шепоток: «шур-шур-шур-шур»... Места пошли болотные, запахло сыростью и мятой. Осенняя паутина летала высоко над головой, поблескивая в неярких солнечных лучах. Телега въехала на полуразвалившуюся гать и, стуча колесами, кренясь, потрескивая, покатила в сторону реки Инши.

Эта Иншинская, лопнувшая, как гнилая нитка, гать словно отрезала район моей родной Глухарки от цивилизации, от больших и малых городов. Ни один автомобиль не смог бы переправиться через Иншу, потому что подходы к реке были заболочены. Когда-то, до войны, гать поддерживалась и по ней ходили «летучки» — полуторки с газогенераторными колонками по бортам. С тех пор гать много раз бомбили, ломали гусеницами танков, и в конце концов она стала проезжей только для таких легких драбин, как у кривого старика.

Но даже и эта драбина возле Бояркина ключа застряла, и пришлось подталкивать ее плечом. Хитрый старикашка тоже делал вид, что толкает. Пришлось постараться. Не станешь же рассказывать каждому встречному про латаный живот. Обстоятельство это сугубо личное.

Наконец колеса, попавшие между полусгнившими бревнами, снова вернулись на настил, и телега попрыгала дальше. Мы преодолели гать и положим песчаным берегом спустились к самой реке. Инша здесь разливается плесом, и ее обычно переезжают вброд.

Старикашка пустил лошадь в воду, дал ей напиться и засвистел. Не знаю, как где, но у нас в Полесье всегда почему-то свистят, когда хотят, чтобы лошадь



напилась и заодно помочилась. По Инше поплыла густая пена. Так мы отметили переправу: свистом и пеной. Это торжественное событие следовало бы запомнить — я пересекал некую не отмеченную, но очень важную границу. За пределами Инши я больше не мог рассчитывать ни на чью помощь. Дальше не было ни телефонной связи, ни сколько-нибудь сносных дорог.

Напрягая сухожилия, лошадь вытащила телегу на вязкий правый берег Инши. Дальше дорога раздваивалась, более торная шла, огибая песчаный холм, налево, к большому селу Мишкольцы. Холм, поросший поверху чахлыми березками и сосенками, был идеальным местом для НП. Это обстоятельство я отметил машинально, по привычке.

— Ну, мне налево, — сказал дедок. — А вам, вооруженный товарищ, куда?

В голосе его слышалась обида. Мы ехали часа два или три, и за это время он мог бы спеть много славных песен — и про «Галю молодую», и про Дорошенка, и про три вербы, — да я не дал.

— Слушай, отец, — сказал я, спрыгнув с телеги. — А приходилось тебе встречаться здесь с бандитами? Ну, на этой дороге?

Жаль мне было отпускать этого тертого старичка, не получив никакой информации.

— С бандитами? — глаз его косо и настороженно скользнул по моему карабину. — Не... Вооруженные люди попадались, случалось. Вот вроде вас.

— А где попадались? В каком месте?

— Да разве ж я упомяну? Память стариковская... Вот вы с воза соскочили, я вас и забыл.

И он тронул в сторону Мишкольцев. Через минуту до меня донеслось: «Ой, ты Галя, Галя молодая, чому ты не вмерла, як була малая!»

И тут я впервые понял: мои отношения с полещанами будут теперь складываться сложно, ох как сложно. До вчерашнего дня я был их земляком, внуком известной ругательницы бабки Серафимы, приехавшим на побывку после ранения. Я был вправе рассчитывать на симпатию и откровенность. От меня никто ничего не скрывал. Никто не находился от меня в зависимости, и сам я не зависел ни от кого. Я хорошо знал, где в пи-

рамидке сельских взаимоотношений лежит мой кубик. Теперь кубик изъяли. Пирамидка рухнула.

Вскоре песня про Галю стихла вдали. Взяв сидор за плечо, я поковылял по усыпанной хвоей обочине. От Инши до Глухарки было километров восемнадцать. Впереди вставал вековой сосновый бор. Я оглянулся. Прощай, Инша, прощай, Ожин! Прощай, песчаный холм, господствующая высотка на никем не отмеченной границе!

Не знаю, случайно ли это произошло или в том было какое-то предзнаменование, но остановился я на передых в Шарой роще. Не думая больше о бандюгах, я бросил на землю карабин, сидор и улегся на землю. Дело в том, что я не могу долго идти пешком: кишки начинают ныть. И так противно ноют, как будто в глущине тела тяжелые кованые жернова жуют новину.

Я лежал, и жернова постепенно замедляли ход, как в ветряном млыне, когда к вечеру стихает ветер. Я стал замечать все, что окружало меня. Дубы в Шарой роще обступали петлявую дорогу нестройной толпой. Листья на них держались еще прочно, только сжелтелись слегка, желуди устилали землю плотным слоем. Солнце уже угасало. Паутина, поднятая теплыми токами воздуха, теперь снова опускалась на землю, и я снял с лица несколько липучих легких нитей.

Какой-то запоздалый желудь сорвался с ветки над моей головой и, звонко ударившись о ствол карабина, отрикошетил в сторону. Майский жук, обманутый теплом бабьего лета, забился вдруг в ветвях. Звуки эти вновь насторожили меня. В них как будто звучало предостережение, призыв к какому-то важному воспоминанию.

Залитый кровью след упавшей косули, следы тяжелых армейских сапог? Нет-нет... Я обвел взглядом кудлатые огромные дубы, нависавшие надо мной, как горы. Верхушки их еще светились слегка желто-розовым, а нижние, самые тяжелые и могучие ветви были темны. Остро запахло вечерней сыростью и прелым листом. Снова протрещал в ветвях желудь.

Я поднял голову. Надо мной нависал черный обгоревший сук — видно, когда-то молния ударила в дуб,

но дерево оправилось, зеленые побеги скрыли черноту ожогов, и только один крюкастый сук тянулся из ветвей, как хищная птичья лапа.

И тут я вспомнил. Штебленок! Его повесили здесь, в Шарой роще, недалеко от дороги. Может быть, на этом самом суку. Я плохо знал Штебленка. Однажды он заходил проверить мои документы. Штебленок был мрачен, долговяз, то и дело кашлял. Говорили, долго ему не протянуть. Но умер он все-таки не своей смертью. Умер он оттого, что ему на шею накинута проводочную петлю и подтянули к суку.

Нельзя сказать, что Глухарка тяжело переживала его смерть. За военные годы к смертям притерпелись, а главное, Штебленок был пришлый человек, его специально назначили в помощь «ястребку» Попеленко, потому что одной из задач «ястребков» была борьба с самогоноварением, а в этом деле Попеленко был слаб. Запах самогонки, особенно пшеничной, лишал его самообладания и мужества. Но даже если бы Попеленко и не имел этой простительной, с точки зрения глухарчан, слабости, все равно ему не справиться было с местными самогонщиками, потому что все они приходились ему кумовьями, сватами, крестными и так далее. Вот почему с белорусской стороны Полесья, из-за болот, прислали Штебленка.

Ясно, Штебленка повесили не раздосадованные самогонщики. Самогонщики могут клясть, призывать на голову недруга лихоманку, трясучку, тиф, всякие редкие, даже неприличные, болезни, но никогда не накинута на шею петлю. Петлю накинута лесные бандюги, привычные к таким делам, недавние полицаи и каратели.

Выходило так, что в этой самой Шарой роще вместе со смертью почти незнакомого мне Штебленка была решена и моя судьба, потому что я должен был продолжать то, чего он не успел сделать.

Я еще раз взглянул на черный сук. Он как будто стал ниже и когстее. Инстинктивно я подтянул к себе карабин, взвел затвор. Прохладный сумеречный ветерок потянул по роще, жесткие дубовые листья коротко проскрежетали, сорвалось еще несколько желудей. На дальний, суховершинный дубок уселся черный крук, самая мрачная и зловещая птица в Полесье, прокричал что-то, как испорченный репродуктор, и замахал

крыльями. Круков развелось в наших лесах как никогда, они бродили по местам боев, проверяли, где размыло дождем поспешно устроенные фронтовые могилы.

Через несколько секунд сидор подпрыгивал на моей спине в такт неровной походке, а карабин, взятый подмышку, выглядывал дулом вперед.

«Почему они повесили именно Штебленка? — размышлял я, поглядывая по сторонам. — Потому, что он «ястребок»? Но Попеленко жив...»

Черный крук пронесся над моей головой, со свистом разрезая воздух большими, сильными крыльями. Он прокричал что-то, словно по жесту процарапал когтями, и полетел к какой-то одному ему известной цели.

2

глава



1

— Ай, боже ж мой, боже! — причитала бабка Серафима. — Да за что ж это тебя? Да чтоб им дрючком руки-ноги переломало! Отзовется, отзовется им — бог не теля, гадит крутеля!

Это она в адрес начальника райотдела НКВД товарища Гупана высказывалась. Мое новое назначение, конечно же, ее не обрадовало. Она стояла посреди двора, опустив к ногам бадейку с горячей мешанкой для кабанчика Яшки, и, окутанная паром, походила на ведьму, вырвавшуюся откуда-то из подземелья. Большой грубый платок закрывал голову бабки, оставляя лишь небольшую амбразуру, из которой выглядывало смуглое сморщенное личико. Бабка повела беглый огонь, ее затрясло вдохновение гнева.

Я смиренно стоял посреди двора, опершись на карабин и выжидая.

Нелестно охарактеризовав районных начальников, которые явно вознамерились загубить «дытыну», бабка перешла к разбору моих недостатков.

— А ты чего поперся? Ты ж хромой, черт, у тебя ж молоко на губах не обсохло, тебя ж немцы как петуха



глава

2

общипали, тебе надо задницу на печи греть... Из тебя «ястребок» как из собачьего хвоста сито! Ты ж куль-тыгаешь, как ломаное колесо!..

Я наконец дождался, когда ругательства стали перемежаться слезами, и сказал:

— Пойдем, Серафима, в дом. Темно уже. А я сала принес.

В эту-то минуту из-за тына и выглянул Попеленко. В полной боевой форме, с карабином, в немецком френче, широченных галифе и кирзачах, он примчался ко мне на выручку и, согнувшись, выжидал за тыном. В Глухарке видели, как я вернулся из Ожина с оружием, и сразу догадались, что к чему.

— А мне люди сказали — Капелюх в «ястребки» записался, — прошептал Попеленко. — Идем ко мне. Ты паек получил? А то у меня закуски нема...

Он стоял за тыном — маленький, плотный, круглолицый, олицетворение боевитости и надежности славного отряда «ястребков».

Закуска, конечно, у Попеленко была, но он решил опередить события, чтобы не упустить небольшую мате-

риальную выгоду, которую сулило мое появление в Глухарке с сидором на плече. В отношении всяких мелких материальных выгод Попеленко был предусмотрителен, как шахматист, видел на много ходов вперед. Можно было с уверенностью сказать, что, покупая новые тебенки для седла, он заранее знал: когда те придут в негодность, нарежет из них подбойки для валенок своего младшего наследника, а оставшуюся часть кожи обменяет у соседки на капустную рассаду.

Одно извиняло Попеленко: девять ртов, которые попичьи раскрывались при появлении главы семейства. Десятый рот всегда был прикрыт наглухо: жена «ястребка», Попелиха, отличалась молчаливостью, желтизной и костлявостью. Серафима называла ее «мумей». Утверждали, что Попелиха молчала, даже когда лупила мужа, если тот возвращался с большим перебором. Молчаливость в таких делах осуждалась жительницами Глухарки.

Итак, мне пришлось отрезать от сала двенадцать ломтей и на столько же частей разделить одну из буханок. Попеленко зажег плошку и турнул из-за стола детей, которые мгновенно расхватили добычу. Косясь на жену, молча стоявшую у двери, скрестив руки, Попеленко нагнулся, достал бутылку самогонки — сделал он это так ловко, точно бутылка была спрятана за голенищем, с чваканьем извлек из горлышка кукурузную кочерыжку и налил в кружки. Круглое хитрое лицо Попеленко просветлело и как бы умаслилось.

— Ну, будем! За нашу боевую дружбу! За полную и окончательную победу над гитлеровской Германией!

Очевидно, своим тостом Попеленко хотел показать, что закуска потрачена не зря, что она послужила, так сказать, великим целям и сожалеть о ней — политическая незрелость. Я лишь понюхал самогон и подождал, пока Попеленко поставит пустую кружку на стол. Мне легко было после мины-«лягушки» числиться в противниках алкоголя.

— Я назначен твоим начальником, Попеленко, — сказал я.

— Само собой!

— Напоминаю, что за невыполнение приказа «ястребки» подлежат трибуналу. Как положено!

— Хм...

— Самогонку реквизировал?

— Хм...

— Если ты будешь продолжать такую реквизицию, пойду на крайние меры.

— Добре! — согласился Попеленко с готовностью.

Должно быть, Штебленок уже делал ему подобные предупреждения. Обязанность начальства — отчитывать; Попеленко это понимал, как понимал и то, что начальство не вечно остается на своем месте, оно перемещается, выдвигается, понижается и так далее, в отличие от него, рядового «ястребка», ни на что не претендующего, кроме права жить, работать и помереть в своей родной Глухарке. И Попеленко с легким сердцем убрал со стола бутылку и принялся за сало. Белые его ровные зубы впились в розоватую мякоть.

— Задача ясна, товарищ Капелюх, — сказал он. — Выполним! И другие задачи выполним!

— Как ты понимаешь эти задачи?

— Чтоб люди на селе спокойно работали... Чтоб продукты подвозили в село... Чтоб Советская власть на селе крепла!

— А за пределами села?

— А что мы с вами можем? Лес прочесать? Тут дивизию надо. Вот добьют германцев и за бандеров возмутся. Чего зря себя губить? И так скоро хозяев в домах не останется. Какая ж будет жизнь?

Маленькие попелята глазели на нас из темного угла, как из норы. Там были сооружены полаты в два этажа, поближе к печи, и они забились в это убежище, прикрывшись тряпьем — только глазенки сверкали. Один лишь старший, Васька, по прозвищу Шмаркатый*, держался особняком от детворы и прислушивался к нам. Хозяйка молча продолжала стоять у дверей. Разговоры наши ее как будто не интересовали: балакайте, балакайте, а жизнь все равно пойдет своим чередом.

— Зачем ты пошел в «ястребки», Попеленко? Заставили?

— Нет, зачем же... Сам! Я Советскую власть всегда поддерживал. И когда колхозы.. И партизанам помогал!.. Я ж понимаю!

* Шмаркатый — сопливый (укр.).

— Так-так... Ну, а с бандитами ты сталкивался?

Вопрос был, конечно, глупый. Если бы мой подчиненный сталкивался с бандитами, мы бы сейчас не беседовали при свете лампы. Попеленко оглянулся на жену, наклонился ко мне и прошептал:

— Вот как с вами сталкиваюсь, так я с бандерами сталкивался.

— То есть как? За столом?

— Не-е... Чего это за столом? Просто близко... Очисти очей!

— Да ты что?

— А что? Ехал я на своей Лебедке по Мишкольскому шляху... Где подсочный сосняк... Ну, выскочили они с двух сторон. Один лошадь под уздцы, а двое с боков. Карабин у меня за плечами, разве его скинешь? Да и чего сделаешь? Я аж похолодал. Ну, думаю, еще девять сирот на шее у Советского государства!

— Как они выглядели?

— Обыкновенно. Здоровые дядьки. Один молодой, совсем еще парубок. С автоматами... Морды сытые. Смеются!

— Почему смеются?

— А чего им? «Ты, — спрашивают, — «ястребок»?» А чего отпираться? В кармане у меня бумага с печатью. «Так это ты, — говорят, — нас по лесам ловишь?» — «Ну, я», — говорю. Сняли они с меня карабин, ссадили с лошади, достали бумагу, почитали. Я думаю: будут они с меня сапоги снимать? Не казенные сапоги, хорошие, если не снимут, старшему, Ваське, достанутся, когда меня найдут. Лошадь, думаю, ладно, лошадь все равно государственная, ей в казну возвращаться... Хотя, конечно, лошадь тоже жалко, — поспешно поправился Попеленко. — Ну, тут они выкинули из карабина обойму, отдали мне оружие. «Садись, — говорят, — на свою клячу и скачки назад, сиди дома тихо». Дали мне разд по спине, чтоб помнил... «Только, — говорят, — не оглядывайся, мы этого не любим!»

— Так! — стукнул я кулаком по столу. — И ты об этом никому не сказал?

— Доложил Штебленку.

— А он?

— Он, так я думаю, — Попеленко снова склонился

ко мне, — никому не сказал, чтоб мне по шее не дали. Он добрый был мужик.

— А почему они его повесили, а тебя отпустили, как ты думаешь?

Попеленко пожал плечами.

— Так ведь это как вожжа под хвост попадет. Ох и переживание было!..

«Трус ты!» — чуть не вырвалось у меня, но девять пар глаз, глядящих из темного угла, удержали от этой реплики.

Попеленко посмотрел под стол, где стояла бутылка, и вздохнул.

— Ты никого из них не узнал? — спросил я.

— Нет. Они не местные. Но кто-то у них свой есть в селе.

— Почему так думаешь?

— А чего б они возле села отирались? И опять-таки кормит их кто-то. Ведь не слышать было, чтоб кого грабили. И обстирывают их — рубашки были чистые, воротнички не замусоленные.

«Этому Попеленко в сообразительности не откажешь, — подумал я. — Наверно, он мог бы узнать и гораздо больше, да понимает, что знать слишком много опасно. Иначе ему не отделаться тумак по спине, если на лесной дороге повстречаются бандиты. Почему они так мягко обошлись с ним? Наверно, не хотели возбуждать против себя население — ведь у Попеленко девять детей и весть о его убийстве всколыхнула бы округу. Кроме того, Попеленко им не очень опасен. Иное дело — Штебленок. Тут-то они отвели душу».

— Слушай, Попеленко, почему Штебленок оказался в Шарой роще?

— Я так думаю, что он в район направился. Дело у него какое-то срочное получилось.

— Какое дело?

Попеленко пожал плечами.

— А почему он лошадь не взял?

— Не знаю...

«Наверно, Штебленок хотел покинуть Глухарку незаметно, — подумал я. — Но что заставило его податься, никому ничего не сказав, в Ожин?»

Попеленко ничем не мог помочь мне. Поглядывал, вздыхая, под стол...

Сентябрьская ночь накрывает Глухарку со всеми окружающими ее лесами в девятом часу. Луна еще не всходила. Темнота такая, что, кажется, еще один шаг — и ты расквасишь о нее нос. Осенний туман скрыл звезды, он шевелится, набухает, едва проступая неясными клубами за плетнями. Изредка взлаивают собаки, да со стороны Варвариной хаты доносятся песни — это бабы гуляют на горьком своем празднике. Сегодня наталин день, я вспоминаю об этом, услышав: «Иде ж ты, Наталка, блукала усю ночь?..»

До войны, помню, в этот день, десятого сентября, девчата срывали рябину и кистями вешали под крышу, на плетни, чтобы наморозилась, провялилась, сладости набралась. У дедов к вечеру носы становились красными под стать рябине. Мне казалось, что все люди в ту довоенную пору были дружными, веселыми и счастливыми... Но пришел фашизм, и вдруг выплыли полиция. Националисты. Бандеровцы.

У дома Варвары я останавливаюсь. Поют... В Глухарке добрая половина баб и девок — Натальи. Как не гулять! Про три вербы затянули — небось слезу вытирают и тянут, тянут песню... неплохо тянут. Высокие голоса — это Кривендиha с племянницей, у них вся семья звонкая, — ведут песню, выплескивают ее за окна к скрытому туманом небу, а Варвара с кем-то из товарок-вдовушек хрипловатыми контральто стелются под этот дуэт, словно поддерживают его, чтоб не сорвался на землю, взлетев слишком высоко.

Там три вербы схилились,
Мов журяться воны...

Складно так. И не поверишь, что эта лихая вдова и самогонщица, с ее глазами-сливами, может так искренне страдать.

А молодисть не вернется,
Не вернется вона...

Гуляют глухарские бабоньки... А кто-то из них, как предполагает Попеленко, подкармливает и обстирывает бандеровцев. И для кого-то в лесу скрывается не бандюга, а милый друг Грицько или Панас, который

когда-то до войны щеголял в вышитой рубаше, лузгал на танцах семечки и пел под гармошку: «По дорози жук-жук, по дорози черный, подывыся, дивчина, який я моторный...»

Как же, моторный. Очень даже... Нет, не случайно Штебленка подстерегли в Шарой роще. Кто-то знал, что «ястребок» пойдет этой дорогой, и устроил засаду. Но кто? И зачем понадобилось Штебленку так срочно отправиться в Ожин?

Рядом со мной в темноте раздалось хехеканье: как будто кто-то галушкой поперхнулся. Я отпрянул вначале, а затем чиркнул спичкой. Был у меня заветный коробок, который я еще в госпитале выменял на немецкий перочинный нож с десятью приборами.

Слабый огонек высветил клубок пакли. Клубок этот был прикреплен к рваному ватнику, перепоясанному желтым трофейным проводом. На самой верхушке клубка каким-то чудом держалась серая солдатская шапчонка на рыбьем меху. Я держал спичку, пока она не обожгла пальцев, и заметил наконец под шапчонкой два темных, затерявшихся в пакле волос хитро поблескивающих глаза, а чуть ниже алый влажный рот.

— Гнат? — сказал я. — Ты чего тут стоишь?

— Хе-хе-хе, — рассмеялся Гнат.

С таким же успехом Гнат мог задать этот вопрос мне. Мы оба друг друга стояли — деревенский дурачок и я.

— Хе-хе-хе! — снова засмеялся Гнат. — Девки! Хе-хе-хе! Бабы! Гуляют! Ха-арошие ма-асковские девки! Ха-арошие ма-асковские бабы! Хе-хе-хе!

Надо сказать, эпитет «ма-асковский» был у Гната определением наивысших достоинств. Когда-то дурачка за колхозный счет возили лечиться в Москву. Трезвого рассудка Гнат из столицы не привез, зато приобрел целый набор сложнейших впечатлений; так возник хвалебный эпитет «ма-асковский», навеянный главным образом посещением метро.

— Пуф! — сказал Гнат уже в темноте, еще более сгустившейся после того, как слабо тлеющий остаток спички выпал из моих пальцев. — Пуф-пуф-пуф! Стрелять! Винтовка! Начальник!

Он снова рассмеялся.

Я повернулся и круто зашагал к дому, спотыкаясь о неровности песчаной дороги. Мне было стыдно. Мучала злость на самого себя. Почему я остановился у дома Варвары? Что мне там нужно? Не прошло и десяти дней, как вот такой же темной ночью я вышел из этого дома, дав себе слово, что никогда больше не ступлю на его порог. Даже близко не подойду.

Я спросил у мирового посредника товарища Сагайдачного: почему врут писатели? Почему они описывают близость между мужчиной и женщиной как вершину любви, как нечто такое, чему и названия не подберешь, до того это здорово, до того прекрасно? Неужели все писатели вступили в сговор, чтобы околпачивать ничего не понимающего читателя, развлекать его, что ли, заманивать?.. Зачем нужен обман, когда речь заходит об этом, ну ясно о чем? Если бы люди смотрели на вещи трезво и просто, без всяких иллюзий и ожиданий и не требовали бы сверхъестественного, то потом, ну когда они испытают все это, им не было бы стыдно перед самими собой, им не хотелось бы бежать за тридевять земель, у них не было бы ощущения огромной, ни с чем не сравнимой потери. И, разговаривая с Сагайдачным, я снова переживал ту ночь: как шел от Варвары, и как мне было неприятно, хотя надо бы гордиться, что я такой же мужчина, как и все, и только одно радовало, только одно — все позади, позади, я снова один, снова свободен, и вокруг леса, и поля, и все, что доставляет ощущение подлинной естественной жизни и воли. И еще я вспомнил то, первое, когда дивизию отвели на отдых, и Дубов с Кукаркиным взяли меня с собой, как они посмеивались, глядя на меня, и переговаривались о чем-то вполголоса, и карманы их оттопыривались от бутылок, а Кукаркин нес с собой гитару. Они сказали, что обо всем уже договорено, не надо ни о чем беспокоиться, а Кукаркин все напевал: «...и повели его, сердечного...» Он был большой шутник, Кукаркин.

...Мировой посредник Сагайдачный выслушал меня серьезно — он прежде всего тем и привлекал к себе людей, что выслушивал серьезно, что бы ему ни говорили. За ним, на многоэтажных полках, стояли книги, их

было так много, что если бы они рухнули разом — я почему-то подумал об этом, — то завалили бы Сагайдачного и образовали целую пирамиду, и мировой посредник лежал бы в ее центре, как какой-нибудь фараон. И странно было, что маленькая, наголо обритая голова Сагайдачного вмещает всю мудрость этого несметного количества книг.

— Одним словом, — сказал Сагайдачный, — «Ромео и Джульетта» — ловкий обман... Нет пылкой и самозабвенной любви!.. Худо было бы, если бы так рассуждал зрелый мужчина, но раз ты... Беды не вижу! Надеюсь, ты все узнаешь. Все верно у писателей. То, о чем ты говоришь, и есть вершина любви. Должна быть любовь, понимаешь? Природа так устроила все мудро, чтобы не было обмана, и если тебе после всего хочется бежать к полям и лесам — беги! Беги! Значит, то, что было у тебя, не настоящее, ложное, и, если ты не убежишь, оно развратит тебя, испошлит. Не спеши, не бойся... Все еще будет, будет так, что тебе не захочется никуда бежать, и твои поля и леса будут в эти минуты с тобой, вернее с вами... и ты сумеешь это оценить! Это счастье. Большое, редкое счастье. Его беречь надо...

Так говорил мировой посредник товарищ Сагайдачный.

— А это вы... от себя или от книг? — спросил я.

Он усмехнулся. Блестела его наголо бритая голова, блестело пенсне. И Сагайдачный сказал:

— В моей жизни была только одна женщина, с которой я не думал о полях и лесах... Вот до чего все странно устроено. Только одна! Одна на весь мир.

Он не обернулся, но я невольно посмотрел на желтую фотографию, стоявшую на книжной полке за спиной мирового посредника. На этом снимке с тисненной золотом фамилией фотографа внизу была изображена молодая женщина в буржуазной соломенной шляпке — первая жена Сагайдачного. И странно — слушая Сагайдачного и глядя на красивую женщину в легкой соломенной шляпке, я вспомнил, как шла по озимому полю младшая дочь гончара Семеренкова. Никакой, конечно, связи между женщиной в шляпке и Антониной не было, просто вспомнилось: было раннее утро, озимь чуть поднялась над сизой пашней, и по тропе от родни-

ка шла девушка с коромыслом. Она шла так легко, так свободно — высокая, прямая, — что я замер и внутри меня как будто наступила тишина. Озимое поле, и сиреневая полоса лесов за ним, и фигура девушки — все это словно перенеслось в меня и застыло где-то там, в непонятной глубине.

Сагайдачный перехватил мой взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, куда это я уставился. Сагайдачный сказал:

— Она умерла от тифа в тысяча девятьсот девятнадцатом году, под Киевом, шестнадцатого мая.

3

Подойдя к калитке, я остановился и, чтобы привести мысли в порядок, постучал кулаком по лбу, довольно больно постучал. Никак я не мог сосредоточиться на предстоящей работе. Слишком много всяких разрозненных мыслей бродило в голове.

Бабка ждала меня у коптилки, зашивая шинель.

— Носит тебя нелегкая! — проворчала бабка. — Темнотища на дворе! Молоко выстыло!

Она бросила мне шинель и запричитала:

— Ой, лишенько ж лихо, одно дите, все израненное, так и того хотят сничтожить, ироды... А завтра как раз твой день ангела, иванов день, вот и подарочек мне, старухе, — в «ястребки» записали!

Минуты жалости и слезливости у бабки быстро сменялись приступами гнева.

Когда я принялся за свое молоко, Серафима уже сердито выговаривала:

— А матка твоя и не знает, трясца ей и трясца, как сыночек мается. Небось там сала вдоволь, войны нет, вот она и жирует с крендибобером своим!

— Ладно, Серафима, — сказал я. — Успокойся... Грех!

Бабка и вправду сразу успокоилась. Слово «грех» всегда оказывало на нее сильнейшее воздействие. Если исключить пристрастие к ругани, Серафима прожила праведную жизнь. Она столько отработала на своем веку!

Я подтянул кверху фитиль плошки. Вся Глухарка пользовалась плошками одного типа. Кузнец Крот отли-

вал их из дюраля и брал за каждую по двадцать яиц... Я уселся разбирать затвор своего карабина и чистить ствол. Дубов нас учил: «Кому должен доверять солдат? Во-первых, оружию, во-вторых, жене, в-третьих, командиру. С чего начинается доверие? Со знакомства! Знакомство начинается с чего? С полной разборки. К жене и командиру это не относится... Разойдись чистить личное оружие!» Слова эти вызывали неизменный гогот, и процедура чистки казалась не такой занудной. Четкий был человек Дубов. С ним легко было и перед боем, и в бою. Надежно. Эх, где ты теперь, Дубов?..

Я разложил на столе детали затвора. Стебель, гребень, рукоятку. Глянул в темное окно: в надтреснутом стекле неровно отражались коптящее пламя плошки и блеск начищенного металла. С улицы хорошо было видно все, что делалось в доме.

Представил себе: а где-то там, в лесу, в землянке, тоже, наверно, сидят и чистят оружие при свете плошки. И обсуждают новость: в селе Глухарка объявился новый «ястребок», некто Капелюх, двадцати лет. У бандеровцев, конечно, налажена связь с селом. Вот они между делом решают мою судьбу. Я перед ними как на ладони, а они от меня скрыты.

Надо бы ставни, пожалуй, завести...

Ночь выдается беспокойная. К двенадцати часам мне часто приходится просыпаться от неожиданных болей — будильник, что ли, оставили в животе во время операции? На этот раз треплет особенно здорово. Сказался беспокойный день: хождения, тряска в телеге. В такие минуты цепляешься только за одну спасительную мысль — надо переждать, переждать, к утру все пройдет, исчезнет вместе с испариной, боль стихнет, остановятся жернова.

«А чего ты хотел? — спрашиваю я себя. — Удрать от самой смерти, да так, чтобы она не царапнула тебя ни единым когтем, не сделала отметины?»

Воевал два с половиной года и был как нежинский огурчик, целехонек и крепок, даже не контузило; все считали, что я здорово везучий. Но где-то там, в вышей бухгалтерии, заметили наконец ошибку и разом

сделали начисление: в одну секунду мне десятка три дырок прокомпостировали сразу за всю войну. Мы в большую неприятность попали, немцы засекли нас в предрассветных сумерках, всю группу, пять человек, и забросали минами-«лягушками». От такой мины не скроешься в случайном окопчике-одиночке или в воронке, она, чертяка, подпрыгивает после удара о землю и бьет тебя с высоты. Кукаркина, шутника, на месте убило, а меня и Дубова ранило. Чудные ранения от «лягушек»: меня ударило в спину, когда лежал, затаясь, в воронке, и я думал — ерунда, по касательной чиркнуло, а вышло, что осколки оказались в животе. Вот что такое мина-«лягушка»... Дубов тащил меня, а я думал — вот тебе и везучий, кровью всего заливают; ханá!..

И все-таки мне в конце концов повезло. Если бы не Дубов, по мне бабка Серафима давно бы уже «сороковку» справила. Он меня дважды спас, Дубов, — первый раз, когда вытащил со свекольного поля, где рвались мины-«лягушки», и второй раз, когда дал совет. Ему самому трудно было говорить, кровь пропитала его ватник, как промокашку, язык у Дубова заплетался, но он успел сказать, что нужно. Он сказал: «Попадешь к «животникам» — запомни: не больше шести часов, не больше, иначе не станут резать, ты это запомни, Ваня, не больше шести часов...» И я запомнил это, крепко запомнил и все старался удерживать это в сознании, чтобы успеть сказать врачу то, что надо. Как положено разведчику, я выделил ориентир во времени, вешку, которой мне следовало придерживаться, и когда меня уже в сумерках доставили с плацдарма на носилках в госпиталь, и я увидел над головой маленькую аккумуляторную лампочку и грубый брезент передвижной операционной, и хирург спросил, когда меня ранило, я сказал: «На понтоне, днем, когда мост наводили... — И повторил: — ...Днем, когда мост наводили». А ранило меня, когда начинало светать, а потом я долго лежал на берегу, и переправили меня, как только навели понтонный мост — солнце стояло уже в зените.

...И они стали меня резать. Они начали с живота, оставив мелкие осколки в плечах и ногах на потом, на «закуску». Под наркозом — сестры позже рассказа-

ли — я проговорился, что меня ранило гораздо раньше. Но дело уже было начато, и хирург не мог бросить операцию на середине, и они принялись полоскать мои протухшие кишки, вывалив их в таз и просматривая каждый сантиметр, чтобы не пропустить какую-нибудь дырку или не оставить второпях осколок. Ох и ругался, наверно, хирург!

А вся штука заключалась в том, что на июльской жаре быстро развивался сильнейший перитонит, и оперировать упустивших свой срок «животников» было делом совершенно безнадежным. Да и к чему человеку лишние мучения?

Да, все сложилось поначалу плохо, но я по совету опытного Дубова решил рискнуть. Когда операция кончилась, меня все-таки отнесли в палатку, где лежали просрочившие свое время «животники». Два дня я лежал без памяти, а потом открыл глаза, и с тех пор они у меня закрывались, как положено, только для сна. И хирурги приходили смотреть на меня, даже не спрашивали ни о чем, просто задирали рубаху, смотрели и переглядывались друг с другом.

Когда меня грузили в автомобиль, чтобы отправить на станцию, все пришли из госпиталя, и было такое ощущение: это они на выставку меня отправляют, как экспонат.

Бабка Серафима услышала, как я дергаюсь и скриплю зубами, и тут же подскочила к топчану.

— Выпей! — она подала мне медную ендовку.

Знал я, что в ендовке, но очень хотелось пить, и я выпил всю чуть отдававшую затхлостью и металлом воду. Бабка облегченно вздохнула, вытерла мне лоб.

— Ох, Серафима, — сказал я, — отравишь ты меня!

Но она только замахала руками в ответ на такое богохульство: «Что ты, что ты!» Во время войны бабка стала на редкость религиозной. Все обряды она справляла самодельным манером. Так, святую водичку она изготовляла очень просто: окунала иконы в кадку с колодезной водой. Иконы, особенно оклады, становились светлее, а вода приобретала какой-то странный привкус.

— Завтра твой день, Иван-постный, — зашептала, склоняясь ко мне, бабка. — Смилоствится покровитель в день ангела.

4

Утром я выглянул в окно. Показалось — солнце встало не по времени рано и высветило наш садочек, прилепившийся к приземистой хате. И только всмотревшись внимательно, я понял, что это осенний обман, никакого солнца нет, а светятся алым вишневые листья. Они еще густо и плотно держались на ветках, но изменили окраску и стали ржаво-красными.

Слышно было, как Серафима возится в сарае, по обычаю своему выговаривая корове и кабанчику. В особенности доставалось кабанчику Яшке, которого бабка упрекала в лени и дармоедстве. Если учесть, что Яшке надлежало с наступлением морозов идти под нож, упреки эти были для него обидны.

Я оделся и выскользнул на улицу. После такой ночи ноги мягко сгибались в коленках, словно приглашали присесть.

Туман все еще обволакивал село, дома не были видны, гроздь золотых шаров горели в палисадниках, как сигнальные огни. Орали петухи.

Было радостно после перенесенного приступа вновь чувствовать себя частицей этого осеннего, медленно разгорающегося утра. Но меня не оставляло ощущение какой-то ошибки, какого-то промаха. Как будто я проспал что-то важное, упустил частицу той тайной жизни, которой жило село ночью.

Я прошел за огороды, к озимому клину. Тропинка исчезала в тумане. Мне казалось, что если подождать немного, то на этой тропинке появится — как в то, пное, более теплое и ясное утро — молчаливая, закутанная в черный платок дочь гончара Семеренкова Антонина. Она пройдет, как по канату, прямая и строгая, ступая ровно и плавно; может быть, я увижу ее лицо за складками платка. В селе говорили, она очень красивая, младшая Семеренкова, но я не видел человека, который мог бы сказать, что смотрел ей в глаза. И давно никто не слышал ее голоса.

Из тумана выплыл Гаврилов холм. На вершине его

обозначились кладбищенские кресты. Они блестели от осевшей на них влаги.

Тропинка была пуста. Нельзя требовать от жизни повторений. Каждая счастливая минута, выпавшая на нашу долю, — это как капля, сорвавшаяся с листа. Упала и растворилась в земле. Ее не найти, можно лишь ждать следующую.

Я снова повернул к селу и на огородах, среди подсолнухов, наполовину выклеванных воробьями, лицом к лицу столкнулся с Гнатом.

Мне просто везло на встречи с нашим деревенским дурачком.

На лице Гната, густо заросшем рыжеватыми волосами, появилась лучезарная улыбка. Глаза-пуговки засветились. Гнат всегда радовался, увидев человека. Очевидно, в своем отношении к людям дурачок стоял выше многих нормальных. На плече его висел пустой огромный мешок-«овсянник». Каждое утро Гнат уходил с этим мешком. Наверно, побирался в соседних деревнях.

Придерживая мешок одной рукой, он снял шапочку со своих путаных волос, поклонился и сказал, показывая на карабин:

— Хорошо. Пуф-пуф. Полицай-начальник!

— Иди, иди! Гуляй...

— Хорошая девка... Ой, хорошая девка, ма-асковская сладкая девка! — Гнат засмеялся и показал рукой, как будто поддерживает коромысло на плече, и стал мелко перебирать ногами, подражая женской походке. — Хе-хе-хе...

Он погрозил пальцем и, поправив мешок, потопал по тропинке в сторону от села. Я остолбенело смотрел на его огромные, перевязанные проводом ботинки, на широкую спину, обтянутую рваным, лоснящимся ватником.

Как он догадался, что я думаю о Семеренковой? Юродивые, стало быть, действительно прозорливые? Нет, очевидно, Гнат часто встречал на этой тропке дочь гончара, когда она возвращалась от родника, неся коромысло с полными ведрами. Может быть, и я лишь чуть-чуть опоздал: встань я несколько минут раньше, я бы увидел Антонину.

Но почему она каждое утро отправляется к далеко-

му роднику? Глухарчане обычно пользуются колодезем, что в центре села. Скрипучий журавель над срубом стихал лишь к поздней ночи.

5

— Кто из села был в полициях и скрылся, когда немцы ушли? — спросил я у Глумского.

— А ты не знаешь? — сказал тот, щурясь.

— Меня здесь не было тогда.

— А, ну конечно. Чистенький. А мы тут виноватые.

Никита Глумский был едкий человек. Хмурый. Неуживчивый. Он до войны не отличался добродушием, а теперь и подавно. Но глухарчане единогласно выбрали его председателем колхоза на первом же собрании после изгнания фашистов. Говорят, Глумский ругался на этом собрании и клял своих земляков, но они только посмеивались. В Глухарке больше не было ни одного мужика, который так хорошо, как Глумский, знал бы, когда сеять, когда жать и все прочее. Неуживчивый характер председателю к лицу, так рассуждали глухарчане. Председатель должен справиться с любым районным уполномоченным, если тот наедет командовать.

— А вы не злитесь, — сказал я.

— Надоело, когда приходят и расспрашивают. Как будто я сам у фрицев служил. Вы бы обращались прямо к Бандере.

Я только второй день ходил в «ястребках», но Глумский уже причислял меня к надоедливому начальству. К ним.

— Я вот, председатель, боюсь в соседнее село съездить. Где же ваша защита, «ястребки»? — спросил Глумский.

Никакой форы он мне, новичку, не давал...

Он был маленький, Глумский, и сутулый до такой степени, что казался горбатым. Клыки у него выдавались вперед, оттопыривая губы, и от этого создавалось впечатление, что он хочет тебя укусить. Наверно, это от неправильного, бульдожьего прикуса. Мало в нем было приятного для глаза, в Глумском. Вот только руки... Природа, вылепливая маленького, согбенного Глумского, в последнюю минуту расщедрилась и подарила ему руки, предназначавшиеся для какого-нибудь До-

брыни Никитича. А может, это они так раздались от работы.

— Вы же сами знаете, некому воевать с бандитами, — сказал я. — Нельзя же раздать оружие подросткам или детям.

Насчет подростков и детей — это я зря ляпнул. Схватился, когда было уже поздно. Глумский даже потемнел лицом.

— Да, — выдохнул он.

Осенью сорок первого фашисты застрелили у Глумского сына. Рассказывали в Глухарке, что в пятнадцать лет это был настоящий парубок — рослый, плечистый, чубатый. Вот уж, наверно, Глумский им гордился. И имя он дал ему подходящее — Тарас. Так вот, Тарас решил подорвать фрицев, которые во дворе ошипывали кур. Это были каратели, они много поработали за день и решили закусить. Рассказывали, всю Перечиху каратели выжгли за час, а это тридцать дворов. И вот они, чумазые, в копоты, ошипывали кур и гоготали, а Тарас и бросил в них гранату...

Но только пятнадцать лет — это пятнадцать лет, граната была без запала, он ее подобрал где-нибудь на огородах...

— Крамченко был во вспомогательной украинской полиции, — сказал Глумский. — Он ушел. Помнишь Крамченко?

Я помнил Крамченко. Это был длинный нескладный мужик-недотепа. Вечно у него случались какие-нибудь беды. То корова клевера объестся, то куры перестанут нестись.

— Сукин сын, — продолжал председатель. — Думал, для него легкая, везучая жизнь будет. Из колхозной фермы Розку взял, корову-рекордсменку. Она у него трех литров не давала!

— Семья у него здесь осталась?

— Семья не ответчик, — буркнул Глумский. — Или у вас там по-другому учат?

— Товарищ Глумский! — закричал я, не выдержав. — Бросьте это!

— Ну ладно! — смиловился председатель и чуть приоткрыл губу, что должно было изображать улыбку. — Просто не люблю расспрашивателей. Как было да что было... Зачем тебе семья?

— С кем-то из села бандиты поддерживают связь. Кто-то их подкармливает.

— Семья у Крамченко ушла с ним, — сказал Глумский. — В Европу подались. Там их не хватало...

— Может, дружки остались?

Глумский усмехнулся криво, вытер рукой лицо. Ладонь у него была куда шире лица. По-моему, он мог пальцы на затылке сомкнуть, если бы постарался.

— «Дружки» — опасное слово. Я, может, до войны с Крамченко на рыбалку ходил...

Он пристально, изучающе поглядел на меня, как бы решая, стоит ли все выкладывать начистоту.

— Не сомневаюсь, что это Горелый зверствует, — сказал он наконец. — Был такой здесь полицейский командующий. Он! Я ведь привозил Штебленка из Шарой роши.

— Ну и что?

— У каждого свои привычки, — продолжал председатель. — Вот и у Горелого была привычка: вешать человека, чтобы ноги чуть касались земли. Так он дольше мучается, человек-то. Все хочется ему на землю встать... Дергается он, человек... Я видел, как Горелый в сорок втором так партизан вешал.

Он помолчал. И я молчал, а пальцы впились в край стола. Точно судорогой свело!

— И еще для этого он применял провод, — сказал Глумский. — Кабель! Он пружинит, и у человека больше надежды. Труднее помирять. Понял, сынок?

Он отвернулся, глядя в окно, а я все сидел, вцепившись в стол. Я представил, как все это было в Шарой роше со Штебленком. Горелый!.. Вот, значит, какой у меня враг... О Горелом я уже слышал от глухарчан. Но теперь все выглядело по-иному.

— А что, у Горелого были какие-то счета со Штебленком? — спросил я.

Глумский пожал плечами.

— Кто знает... Он сам из Мишкольцев, Горелый. Был до войны ветеринаром, фельдшером. При немцах назначили его начальником вспомогательной полиции. Потом, я слышал, он к бандеровцам подался... Темный элемент. Похоже, именно он возле Глухарки бродит. И что ему нужно здесь?



Я пожал плечами. Что ему нужно? Колхозный гончарный заводик, рассказывали, при фашистах отошел к Горелому, точнее, к его отцу, но отец помер; не могла же удерживать здесь полиция память о былой собственности.

— Говорят, к Нинке Семеренковой он сватался, — нахмурившись, пробормотал Глумский. — Да она, как наши пришли, в Киев уехала. Мало ли что говорят... Вот, мол, он к Варваре захаживал. Так на то она и Варвара, чтоб захаживали.

Я почувствовал, как краснею. Я изо всех сил старался не допустить этого, но от усилий краска разлилась до ушей. Кожу жгло, как от огня. Я стал смотреть только на стол, на черные, чечевицеобразные ногти Глумского.

— Кто его может здесь поддерживать, Горелого? — Глумский покачал головой. — Вообще-то, Штебленок много про него знал.

— Штебленок? Он же не здешний, из Белоруссии.

— Да вот где-то там они сталкивались.

Мы помолчали. Глумский посмотрел на ходики, которые громко отсчитывали секунды. В сентябре у хозяина каждый день на учете. Я чувствовал себя как рыба, которую бросили в аквариум: тычется, дуреха, из стороны в сторону и удивляется, откуда у воды взялись стенки.

— А нужно тебе в это дело лезть? — спросил Глумский. Он оглядел мой карабин. — Силенок у вас немного и вооружение слабовато...

— А вы что хотели бы, самоходку?

— По-моему, держат вас по деревням вроде пугал. Я бы на их месте Гната вооружил. Он страшнее.

Я встал.

— Ну ладно. Спасибо за приятный разговор.

— Не серчай, не серчай. Можешь на меня полагаться. Пусть Попеленко ко мне зайдет. Мы в деревне у детишек любого оружия наберем. Они все с полей таскают да по сараям прячут... Очень интересуются оружием. Дурни!

Он странно хмыкнул и вышел вслед за мною — выводить Справного на утреннюю прогулку. Через приотворенную дверь сарая я увидел тонкую, удлиненную морду жеребца. Королевская, белая, как горностаев мех, по-

лоса, тянувшаяся вдоль храпа от лба, блеснула в сумраке. Глумский никому не показывал жеребца: боялся дурного глаза. Этого красавца он держал у себя в сарае беспривязно, никому не доверял.

Справный был гордостью Глухарки, ее честью, наконец, основой колхозного благосостояния. Соседние колхозы водили в Глухарку своих захудалых кобыл, надеясь улучшить породу. Глумский брал за это с соседей семенами — пшеницей, овсом, картошкой. «Семя на семя», — говорил Глумский, показывая свои бульдожьих зубы.

— Н-не балуй, — выдохнул председатель, и столько любви и воркующей нежности прозвучало в голосе этого угрюмого, маленького, сутулого человека, что я остался от удивления. Его ли голос я слышал?

Жеребец бил копытом в перегородку, всхрапывал.

— Все еще меня не признает, нервничает, — пожаловался Глумский. — Вот кто тебе про Горелого рассказал бы! Это его был конь. Полицей его откуда-то с племенного завода взял... Н-но, малыш! — прикрикнул он на жеребца, когда тот дернулся, не давая надеть узду.

6

Маляс, охотник, жил за четыре дома от Глумского на взгорке. После небогатой, но ладной председателевой хаты смотреть на это жилище было просто мучением. Впрочем, хата Маляса и до войны выглядела так, словно по Глухарке только что пронесся ураган. Слово ее долго крутило в воздухе, а потом шваркнуло на землю так, что крыша просела, как седло, и окна пошли враскос. За покосившимся дырявым тыном росли лишь две яблони, да и те дички, «свинячья радость». Но Маляс всему находил толковое объяснение. Он говорил, что благодаря такому образу жизни оказал сопротивление немецким оккупантам: те икогда не останавливались у него на постой. И если бы все жили так, как он, Маляс, то немцы в Полесье просто вымерли бы с голоду и холоду, потому что, мол, они к таким условиям совершенно непривычные.

Отчего Штебленок, приехав в Глухарку, остановился именно в этой хате, было непонятно. Наверно, охот-

ник заговорил его. Бабы толковали, что всему причиной жена Маляса, но это уж были чистые плетки*. Я подумал об этом, когда Малясиха вышла меня встречать. Она была совершенно квадратных форм — самодвигающийся противотанковый надолб, украшенный цветной хусточкой. Половицы под Малясихой потрескивали. Она свободно могла бы развалить эту хилую хату, если бы ей вздумалось войти не в дверь, а в стену.

— Заходите, заходите! — обрадованно запричитала хозяйка. — Ставьте ваше ружье вот в тот куточек. Там тепленько... Да ничего, ничего, не обивайтесь, у нас паркетов этих нету...

Так ласково меня у Малясов еще не встречали. Неужели оружие делает человека желанным гостем?

Сам хозяин занимался тем, что обматывал проволокой расщепленный приклад своего старенького ружья.

— А... коллега, — сказал он. — Садись, садись, того-сего. Гостем будешь.

Почему он назвал меня коллегой, было неясно. Может быть, увидев карабин, он причислил меня к племени охотников?

Недолго думая, Малясиха поставила на стол бутылку.

Я понял, что «ястребку» грозит опасность не только со стороны бандитов.

— Из этого ружья я в лесу, того-сего, кабанчика уложил на сто метров, — продолжал Маляс. — Бельгийское! Мне за него «зауэр» давали...

Вообще у этого охотника все было удивительное: ружье, собака, которую он называл сеттером-лаверакон, что всегда производило сильное впечатление на слушателей, коза, дававшая якобы до шести литров молока в день, и тому подобное. Маляс был типичным деревенским трепачом.

Я отказался от выпивки. Хозяин тут же принялся угощать меня охотничьими байками.

— Слушай, Маляс, — сказал я, — расскажи про Штебленка. Только без брехни. Все, что знаешь.

* Плетки — сплетни (местн.).

— А чего Штебленок? Штебленок он и был Штебленок, хороший человек, того-сего.

Вдохновение Маляса иссякло, как только потребовалось перейти от фантазии к точному рассказу. Блеск в глазах потух. Мюнхгаузен исчез, передо мной сидел высохший старичок с кудлатой бородкой.

— Почему Штебленок пошел в райцентр? — спросил я.

Мне показалось, Маляс вздрогнул. Он как-то жалобно взглянул в сторону супруги, как будто ожидая от нее тумака. Ну и мужичков оставила в деревне война!

— Не знаю! — сказал он наконец. — Вот этого не знаю!

— А что ты знаешь?

— Да ничегошеньки, он же дурень! — вмешалась Малясиха. — Вы ж посмотрите на него! — И она уставилась на супруга, как будто не успела налюбоваться им за двадцать лет.

— Штебленок ничего вам не сказал перед уходом?

— Ничего...

— Про Горелого не упоминал?

Маляс оживился. Видно было, что разговор миновал какую-то опасную для него критическую точку. Он сморщил желтое личико, припоминая.

— Как-то разбеседовались мы. Он, Штебленок, того-сего, в партизанах войну отходил. Там, на белорусской стороне. В отряде Козельцова... Ну и рассказывал, что Горелый много крови им попортил...

— Фашистский изверг! — вставила супруга, которая бдительно следила за точностью характеристик.

— Изверг! — согласился Маляс. — Он, Горелый, у немцев большую силу имел. Вот они ему поручили набрать этот, того-сего, как бы точно сказать... противопартизанский отряд. Ну, обманный. Бандеровцы, а не отличишь от партизан!

— Ты точнее говори, а то несешь околесицу, — снова вмешалась Малясиха. И повернулась ко мне: — Если он чего не так скажет, вы уж не взыщите.

— Ну и действовал этот отряд на манер партизан, — продолжал хозяин. — По лесам бродили... И если где наткнулся на настоящих партизан, то их уничтожали...

Или на немцев выводили. Обманом. Ну, еще грабежами, убийствами занимались, катували* людей, чтоб обозлить против партизан!

— Фашистские изверги, — вставила Малясиха.

— Ну да! Штебленок со своими нарвался на этих, того-сего... на гореловских. Был у них бой, Штебленок рассказывал, много партизан из-за обману погибло. После этого Горелый у фрицев гончарный заводик выпросил для батки своего. Немцы, они следили за этим делом, того-сего, за материальным вознаграждением. За пойманного партизана свободно могли корову дать, к примеру, или гектара два... Соль давали!

— Вот-вот, — перебила мужа Малясиха. — Изверги! Некоторые при них богатели, а у честного человека ни кола ни двора, вот как у нас!

— Честный, он как был, так и остался ни с чем, — совсем уж нехотят заключил Маляс.

По-моему, супруга слегка стукнула его ногой под столом. Я постоянно ощущал напряженность в ответах. Неужели мне теперь не придется разговаривать с односельчанами свободно и легко, как раньше, до карабина?

— А вы о Горелом после немцев ничего не слышали?

— Да что он нам, Горелый, бандера, ведьмин сын? — сказала хозяйка. — Мы с ним в тычки не гуляли!

— Может, Семеренков что слышал? — вопросительно взглянул на жену охотник. — Семеренков у батки Горелого на заводике гончаровал.

— А что? — радостно встрепенулась Малясиха. — Семеренков извергам этим служил. Глечики делал. А из глечиков немцы молоко пили...

— Из глечиков все пили, — попробовал было восстановить справедливость Маляс, но быстро стих под взглядом супруги.

— Куда старшая дочь Семеренкова делась, Ниночка? — как бы сама себе задала вопрос Малясиха. — Исчезла — и все тут. Неужто с немцами ушла? Горелый за нее сватался... Красивая девка Ниночка!

* Катувать — мучить (укр.).

Я помнил Ниночку. Когда до войны приезжал на школьные каникулы, то каждый раз влюблялся в нее. Она носила беретик, завивала волосы в мелкие кудельки и на вечерах в клубе хохотала громче всех. Любила она парням головы кружить. Перед войной ей было года двадцать два, а мне шестнадцать, ясное дело, моя любовь могла проявляться только на расстоянии. Антонины я тогда совсем не замечал.

— Антонина, младшая, та тоже шашура, — продолжала хозяйка. Она словно следовала течению моих воспоминаний. — На людей не глядит! Молчит, слова не скажет. А чего?

— Ладно, — сказал я. Мне не хотелось продолжать это обсуждение. — Все-таки насчет Штебленка. Почему он отправился в райцентр?

Малясиха сразу сникла.

— Что он делал в то утро?

— Да ничего... К швагеру* мы ходили вместе, к Кроту. Швагер кабанчика заколол, так просил помочь засмалить... Вот ведь живут люди! В Киев сало возят, за триста верст!

— Крот — богатый мужик, — поддержал жену Маляс.

— Ну и что делал там Штебленок?

— Да ничего... — ответила хозяйка. — Крот просил его забойщику помочь. А только Штебленок не стал. Некогда, говорит. Повернулся и пошел. А мы остались.

— Вкусная штука — кровяная колбаса, — сказал Маляс, вздохнув.

...Когда я выходил из хаты, Малясиха сказала шепотом:

— Товарищ Капелюх, а правду говорят, «ястребкам» в районе керосин выдают и ламповые стекла? Вы бы на нашу долю, как страдавших от немецкой оккупации, не могли бы выпросить?

Так я понял причину ее любезного обращения и гостеприимства. И это было единственным моим открытием.

Я пожал плечами.

— Штебленок говорил, что поможет, — сказала она. — Да вот не успел...

* Швагер — свояк, сосед (местн.).

Я понял — она по-своему жалеет о гибели постояльца. Причины, по которым люди скорбят о своих знакомых и близких, весьма разнообразны. Но я не спешил осуждать Малясику за это. Гораздо хуже было, что Малясику и ее муженек что-то недоговаривали... А почему люди должны выкладывать правду? Это опасно для них. Бандиты рядом, в лесах, за околицей Глухарки, и ни я, ни Попеленко не представляем надежной защиты. Если бы нам удалось одержать хоть какую-нибудь маленькую победу! Многое изменилось бы. Но сейчас страх командовал глухарчанами. Я еще раз подумал об этом во время посещения гончарного завода.

7

Туман уже поднялся, рваными клочьями уплыл в сторону лесов и очистил село. С пригорка, где стояла хата Малясы, была хорошо видна вся Глухарка — два ряда изб, образовавших длинную улицу, которая спускалась к гончарному заводу — большому, крытому черепицей сараю с двумя толстыми кирпичными трубами. Эти трубы делали сарай похожим на допотопный пароход. Ну, а уж если завод был пароходиком, то Глухарка — караваном барж, которые пароходик тащил куда-то в лесное море.

Сразу же за заводом, за несколькими карьерами, где добывали червину — красную глину, начинались леса. К бортам каравана леса подступали не так плотно, здесь была нейтральная зона из полей и огородов. Нежной зеленью выделялся озимый клин, по которому змеилась тропка, ведущая в лес, к роднику.

За озимым клином, на темной пашне, шапкой лежал Гаврилов холм. На нем был когда-то погост — давно сгоревшая деревянная церквушка и кладбище. Там лежал мой дед Иван Капелюх, основатель рода полесских Капелюхов, приехавший сюда, как говорило предание, из Запорожья.

Туман все поднимался над верхушками деревьев, но, как бы высоко ни вздернуло солнце этот занавес, на горизонте открывалось только одно: леса. Поначалу зеленые, с проплетью сентябрьской желтизны, они, чем дальше хватал взгляд, лиловели, сиреневели и мало-по-

малу превращались в зыбкое марево непонятного оттенка.

Дороги, самоуверенно и резко рассекающие огороды и поля, терялись в необъятности лесов. Двумя дорогами можно было выехать из Глухарки — та, что вливалась в улицу с юга, соединяла наше село с Ожином через Шарую рощу, через Иншу; северная же, скользя у стен заводика и обогнув карьеры, вела в белорусскую сторону. Была еще и третья дорога, начинавшаяся от центра села; она через хутор Грушевый могла вывести в большое ярмарочное село Мишкольцы. Но сейчас этой дорогой почти никто не ездил. Мишкольский шлях проходил мимо УРа — страшное название! Им в наших краях пугали детей: «Вот отведу в УР», «Не бегай в лес, в УР попадешь».

Раньше в слове «УР» ничего такого пугающего не было, оно сокращенно обозначало — укрепленный район. Перед войной в наших местах начали строить оборонительную линию. Она должна была протянуться от непроходимых северных болот до южных степей. Но успели выстроить лишь несколько участков, да и те не были полностью закончены, когда нагрянули фашисты. Сеть противотанковых рвов, блиндажей, землянок, дотов, эскарпов, подземных хранилищ и ходов сообщений, расчищенных от деревьев секторов обстрела, наблюдательных пунктов образовала в лесу запущенный и таинственный город.

Как и любое выстроенное и брошенное людьми сооружение, как и все непонятное, этот УР внушал всем окрестным жителям чувство суеверного ужаса. Он превратился в пугало. И причина тому была не в одной мистике. После того как немцы драпанули из наших краев, в УРе собралось фашистское охвостье.

Как на Лысую гору, они хлынули в этот УР, потому что там было где пританься. Полицан, старосты, переводчики, бандеровские «боевики» — все, кому немцы дали под зад, чтобы не тащить на кормежку в Германию, принялись растапливать в УРе землянки и совершать дружные набеги на полесские села. Пока поблизости находились воинские соединения, пока партизанские отряды еще не влились в регулярные части, УР несколько раз основательно чистили. Кого прихлопнули, а кто сдался, надеясь на милосердие суда, и наконец

в УРе осталась лишь такая сволочня, которой от правосудия нечего ждать, кроме петли. Это были отчаянные, по-своему смелые и находчивые бандиты, и войну они понимали ясно, как букварь. Выкуривать их из УРа с его лабиринтами стало некому, фронт ушел далеко на запад, и защитой населения от бандюг, по замыслу, должны были явиться бойцы истребительного батальона, или попросту «ястребки».

Нечего было и говорить, что в сторону УРа мне дорожка была заказана. Если раньше я еще рисковал добираться до Грушевого хутора, где жил товарищ мировой посредник Сагайдачный, то теперь мне туда соваться не стоило: от хутора, что лежал на восьмом километре Мишкольского шляха, до УРа было рукой подать. Сагайдачного, кстати, это соседство не смущало. Он не боялся бандитов... Может быть, человек с фамилией Сагайдачный и мог рассчитывать на их снисхождение, но я все-таки боялся за старика. Мне кажется, что он жил под влиянием тех прекрасных книг, что стояли на многоэтажных полках в его мазанке, и не мог себе представить, что это такое — Горелый. Горелый, который любил вешать людей на пружинящем проводе.

Да, вот как обстояло дело. Не было у меня права сидеть на месте и ждать, пока бандюги укокошат еще кого-нибудь.

И, постояв у дома Маляса, полюбовавшись лесами, которые выплыли из тумана во всей необъятности, я отправился к гончарному заводу.

8

Трубы его дымили вовсю. Он и в самом деле вел за собой Глухарку, как караван, этот маленький колхозный заводик-трудяга. Он кормил село — залежи червинки возмещали скудость полесской земли. Добрая половина глухарчан работала на гончарне.

Во дворе заводика, под открытым небом, штабелями стояли макитры, глечики, горшки, куманцы, барила, свистуны... Каждый раз, когда я видел все это искрящееся красками, блестящее глазурью богатство, я раскрывал рот, застывал и чувствовал, что у меня «очи вылупляются, наче курьи яйца», как выразилась однажды бабка Серафима, когда ее первый раз вывезли из По-

лесья на железную дорогу и она усталилась на паровоз...

Мне казалось, что это невозможно! Невозможно, чтобы люди, которых я знал, которые жили по соседству, пели и пили на свадьбах и крестинах, ругались между собой, заваривали мешанку для кабанчиков, торговались на ярмарках, лузгали семечки на вечеринках, шинковали капусту и солили огурцы, вспахивали землю, запрягшись в плуг вместо лошадей, рубили лес до кровавых мозолей, корчевали пни, молились богу и кляли его, — чтобы эти обычные, погрязшие в трудностях деревенского быта люди сотворили такую красоту. Как они сумели? Как создали из ничего, из земли, которую вскопали тут же, поблизости от села, эти тонкогорлые певучие глечики, похожие на пасущихся овец барильца, куманцы, которые, свернувшись в кольцо, подобно валторне, кажется, вот-вот готовы зазвучать, как догадались расцветить их веточками хмелика, тонкими «сосночками», «кривульками», фиалочками, глазками «воловох очей», «курячьими лапками»?

Я толкнул тяжелую, обитую тряпьем дверь и вошел в сарай. Дверь вела в завялочный цех. Здесь горела большая красного кирпича печь и на деревянных полках всюду стояла сырая, одноцветная посуда — она теряла влагу в этом знойном, южном климате, насыщенном запахом сырой земли. У печи много лет проработала бабка Серафима, оттого, наверно, она стала такой сухонькой, сморщенной и темнокожей. Полжизни она провела в Африке, Серафима, не подозревая об этом.

Теперь здесь вместо состарившейся Серафимы колдовала Кривендиha. Она оглянулась, посмотрела на меня, на мой карабин и ничего не сказала. Нельзя проводить полдня у раскаленной топки и оставаться любопытным.

Дверь слева вела ко второй печи, где раскрашенная и глазированная посуда проходила обжиг. Я повернул направо, к большому общему залу, который был отделен от завялочной рваным брезентовым пологом. Я не сразу вошел в зал, а чуть отодвинул полог и остановился наблюдая. Неловко было со своим карабином праздно являться к занятым людям.

Этот зал — добрая половина заводика — и был самым важным цехом. Теснота собрала здесь в одни сте-

ны и гончаров с их деревянными кругами, и ангобщиков — раскрасчиков, сидевших за длинными дощатыми столами вместе с лепщиками и глазировщиками. Все эти профессии предполагали мужчин, но сейчас зал был заполнен одноцветными платочками. Только в дальнем углу, за гончарными кругами, работали мужики, всего трое — Семеренков и два семидесятилетних старичка, белеенькие, чистенькие близнецы Голенухи, которые еще задолго до войны подались на отдых, но теперь вновь вернулись на завод.

Семеренков был длинный и нескладный мужик, в коротком, не по росту, ватнике, широкие рукава которого едва прикрывали локти, и от этого руки и особенно кисти казались несоразмерно узкими и тонкими. Левая рука у него была трехпалой и как будто висела, подвораживаясь под мышку.

Он с детства был увечным, Семеренков, но еще до войны, когда на заводике крутился добрый десяток кругов и когда здесь работали потомственные мастера, известные всей округе, Семеренков слыл среди них первым; недаром Горелые, как только «переписали на себя» заводик при фашистах, взяли гончара к себе. Рассказывали, что когда-то он был учителем, Семеренков, да вдруг полюбил глину, оставил прежнюю профессию.

Семеренков ни на кого не смотрел, склонился, выгнув сутулую спину над гончарным кругом, и чувствовалось, для него ничего вокруг не существует. Босые ноги с тонкими щиколотками необыкновенно быстро и ловко закрутили спидняк*. И, прищурившись, как бы с дальним, только ему самому понятным прицелом, Семеренков бросил на круг точанку — ком красноватой влажной глины.

Ком завертелся быстрее и быстрее, ноги у гончара забегали так, что превратились в сплошное мельканье, в расплыв, и тут Семеренков протянул свою левую, нескладную, точно рачья клешня, руку, и она вонзилась всеми тремя пальцами в ком глины, который от вращения казался застывшим шаром. Большой палец проколол в шаре отверстие, горловину, и вдруг этот неподвижный, блестящий от влаги шар начал расти, пальцы

* Спидняк — нижнее рабочее колесо в гончарном круге.

словно манили его, звали кверху, и вот уже шар вытянулся в колонну, и тут правая ладонь нежно дотронулась до нее, словно погладила, а левая, трехпалая, скользнула еще глубже в горловину, и нижняя часть колонны округлилась, а верхняя стала еще уже и еще быстрее потянулась вверх. Блеснул металлический шаблончик, пригладил глину и как будто ускорил изменения шара.

Я видел на круге сосуд! Самое удивительное было в том, что сосуд стоял на месте и рос... Пальцы выращивали его, как какой-нибудь цветок. Все это длилось несколько минут. Я стоял затаив дыхание, позабыв обо всем. И вот уже тонкошей, стройный глечик влажно сиял на вращающемся круге. Чудо произошло...

Но Семеренков, видно, был чем-то недоволен. Он еще быстрее раскрутил круг. Движения пальцев стали совсем неуловимыми. Вот чуть утончилось горло, круче стали бока глечика, по форме напоминавшие женские бедра. Затем Семеренков отклонился в сторону, разглядывая свое творение, притормозил, снова разогнал круг, и бока глечика потянулись кверху, стали уже; сосуд принимал удлинненные девичьи формы, теперь он казался особенно легким и хрупким. Тонкое горлышко-талия вдруг расцвело вверху резко выпрямляющимся устьем, и в нем мне почудилась прямая и нежная угловатость девичьих плеч.

Все. Еще два-три убыстрения и замедления круга, скольжение пальцев по блестящей поверхности глины, и Семеренков потянулся за проволочкой, чтобы срезать глечик с круга. Тут он повернулся назад, к длинному столу, за которым работали ангобщицы, и в глазах его мелькнуло вопросительное, даже несколько жалобное, выражение: «Ну, как?» Он не был уверен в успехе работы, ему нужна была чья-то поддержка.

...И все эти волнения, все старания из-за кувшина, который будет свезен подвыпившим горшковозом в Ожин и там продан какой-нибудь подслеповатой бабке, чтобы ей было в чем хранить затопку?

Следуя за взглядом гончара, я увидел Антонину. Она сидела в неизменном черном своем платке, скрыв лицо, но я узнал ее по легкому и изящному движению шеи и повороту по-девичьи угловатых прямых плеч. Это к ней обратился за советом и поддержкой отец.

И она, обернувшись к нему, одобрительно кивнула головой. Семеренков облегченно вздохнул и срезал глечик с круга.

Мне очень хотелось увидеть, какая она, Антонина Семеренкова. Я помнил, что до войны она была остроносенькой девчонкой, тенью своей старшей красавицы сестры, но ведь не остроносенькая девчонка шла по ози-ми, ступая гордо, независимо и плавно! Платок был повязан так, что прикрывал лицо со всех сторон, словно она нарочно хотела уйти от чьих-либо любопытных взглядов, оградить себя от мира. Я сам, не замечая этого, подался вперед и, сделав несколько шагов, оказался чуть ли не на середине зала, где остро пахло сырой глиной, как в новой мазанке.

Тут только я увидел, что многие работницы, оторвавшись от своего занятия, смотрят на меня. Я опомнился, поправил карабин и, напустив на себя идиотски важный, занятой вид, лавируя меж столами, направился к гончарным кругам, к Семеренкову.

Он только что бросил очередную тóчанку на вращающийся круг и совсем уж было собрался вонзить в глину трехпалую руку, чтобы начать это колдовское выращивание глечика или горшка-«стовбуна», и тут наши взгляды встретились. Семеренков продолжал машинально раскручивать спидняк, однако рука застыла над тóчанкой, и я явственно видел, что пальцы у гончара дрожат. И в глазах его, светлых, подведенных синевой усталости и казавшихся огромными из-за невероятной худобы лица и остроты черт, я увидел страх. Явственный, ничем не прикрытый страх!

Мы встречались с ним раньше, и он улыбался исподлобья, вечно занятый какими-то своими мыслями, в которых, должно быть, как на круге, вращались воображаемые глечики и макитры. По-моему, он попросту не замечал меня, как не замечал большинства односельчан. Но теперь, когда я пришел на завод в новом качестве, с карабином...

Семеренков обернулся к дочери, но та была занята расписыванием барильца. Коровий рожок с краской, который она держала в руке, непрерывно выделял тонкую и густую струю зелени, и Антонина не могла оторваться, она выводила лепестки «сосонки», что тянулись по округлому боку барильца. Я видел тонкие смуглые паль-



цы и острый клюв рожка, сочившийся краской. Узор вился, усложнялся по мере того, как барильце подставляло свой рыжий бок, и, когда краска в рожке иссякла, узор был закончен, «сосонка» легла на свое место, и зазеленел живой зеленью «виноградики».

Пока я глазел на пальцы Антонины и ждал, не обернется ли она, Семеренков-отец пришел в себя и, ссутулившись до дугообразного положения, занялся глечиком. Уже возникла из бесформенной глиняной массы тонкая шейка сосуда, округлились бока, но что-то не ладилось у гончара. Шейка то заваливалась в сторону, то вытягивалась так, что терялась гармония, заключенная в какой-то непонятной мне, но все же ощутимой соразмерности линий. Бока сосуда никак не хотели приобрести изящества и плавности девичьих бедер, они казались грузными, кубастыми, словно в зале незримо витал образ Малясихи. Семеренков притормозил мозолистыми пятками спидняк, скovyрнул шаблончиком глечик и бросил его в угол, где были заготовлены кубики сырой глины.

Я подошел к Семеренкову вплотную.

— Надо поговорить...

Он с готовностью, даже поспешностью, снял холщовый грязный фартук, отряхнул комочки глины с ватника и, опустив голову, пошел к выходу. Я зашагал вслед за ним; нас провожали любопытные взгляды. Даже подслеповатые белоголовые старички-близнецы Голенухи и те уставились. У брезентового полога я резко обернулся... И увидел ее лицо!

Оно мелькнуло передо мной лишь на какой-то миг и вновь скрылось, как в окошке, за наплывами черного грубого платка. Меня словно толкнуло что-то, и я понял, что не успокоюсь, пока не увижу это лицо еще раз. Я не задумывался над тем, красиво оно или нет, я не успел этого понять, я не мог бы восстановить в своем воображении черты этого лица, только глаза врезались в память, и опять-таки я не мог бы определить ни цвета их, ни разреза, я только знал, что они взглянули на меня и с испугом, и с какой-то надеждой, и с просьбой. И еще мне показалось, что на этот краткий миг между нами возникло какое-то понимание, замкнулся и тут же выключился странный контакт. Я прикоснулся к таинственному чужому миру.

— Куда вы меня поведете? — спросил Семеренков.

Он назвал меня на «вы», глядя на черный ствол карабина, который торчал из-за моего плеча. Два с половиной года оккупации приучили людей к мысли, что человек с оружием является полновластным хозяином и олицетворяет власть, не терпящую неповиновения. Пора бы мне было это понять.

Не надо было являться с карабином в этот наполненный людьми сарайчик и словно бы под конвоем выводить гончара во двор. Я поспешил. Должно быть, Закон, на страже которого меня призвал стоять сам Гупан, говорил что-нибудь насчет того, как расспрашивать людей. В первый раз я испытал нечто похожее на любопытство к этому таинственному Закону.

Я снял с плеча карабин и с нарочитой небрежностью положил его на чурбаки, валявшиеся во дворе у входа в завялочную. Неподалеку сняли разноцветные глечики и макитры.

— Разве я веду? — спросил я. — Просто хотелось поговорить... Сядем?

Гончар послушно сел.

— Мне надо знать все о Горелом.

Он вздрогнул. Все-таки он был очень напуган, Семеренков.

— Я ничего не знаю, — промямлил он, глядя в землю.

Голос у него был басовитый и глухой. В кинофильмах такими голосами говорят отважные полярники или капитаны на мостиках океанских кораблей. Левая рука, подогнутая, как подбитое крыло, все дергалась, словно искала точку опоры, и наконец успокоилась, опершись локтем о край чурбака.

— Совершенно ничего?

— Ничего.

— Не может быть. Вы же работали на заводе, когда он отошел к Горелым.

— Да, — согласился он. — Ну и что?

Я решил подбодрить его откровенностью.

— Есть слухи, что Горелый скрывается неподалеку, — сказал я. — Это же опасно для людей. Нам надо знать все о Горелом, чтобы выловить его...

Тут он поднял глаза. Печально, как будто сожалел о моей юной, загубленной на нестоящее дело жизни, он оглядел меня. Ничего особенного, конечно, перед ним не сидело. Курносый Капелюх, сто семьдесят четыре сантиметра, весь вдоль и поперек разрезан и зашит.

— Как это — выловить? — спросил Семеренков недоуменно. — Кто — выловить?

— Мы, — сказал я. — И вы. Разве нас мало?

Он покачал головой. Это у него получилось как-то по-стариковски.

— С кем у него может быть связь? — спросил я.

— Не знаю.

Он снова устался в землю. Я был уверен, что он многое знает. Вовсе не надо было быть психологом, чтобы догадаться об этом. Просто Семеренков не умел лгать. Это было не по его части. Человек, который вкладывает всю душу в глечики, никогда не научится хитрить. Но он все-таки старался хитрить. Он чего-то боялся. Чтобы пересилить этот страх и заставить его говорить, я должен был внушить ему страх еще больший, чем тот, что заставлял его выкручиваться. Но разве я мог поступить так? По-полицейски?

— Как вы думаете, почему Горелый ходит вокруг Глухарки?

Семеренков осмотрелся по сторонам.

— Не знаю.

— Скажите, а куда?..

Я все-таки удержался от того, чтобы спросить его о старшей дочери. Я почувствовал, как напрягся Семеренков. Левая рука, которая, казалось, жила у него какой-то особой, независимой жизнью, соскользнула с чурбака и убралась еще глубже под мышку. Он ждал вопроса. Застыл и ждал.

— Ладно, — сказал я. — Ладно. Не буду вас мучить. Идите, лепите глечики.

Он тут же встал.

— Если меня или еще кого-нибудь повесят, как Штебленка, на пружинистом кабеле, можете не волноваться, — сказал я вслед. — Вы здесь ни при чем! Вы ведь все выложили, что знали!

Желание быть добрым и снисходительным перемешивалось во мне со злобой бессилия.

Семеренков сделал конвульсивное движение рукой, как будто моя последняя реплика толкнула его в спину. Вдруг остановился. Обернулся.

— В последний день Штебленок ходил к Кроту. Когда забивали кабанчика, — сказал он.

И исчез за дверью. Я пожал плечами. Это я и сам знал, что Штебленок ходил к Кроту.

Сентябрьское солнце окончательно расплывало последние островки тумана, прятаясь в карьерах за заводиком, и теперь грело во всю свою осеннюю силу. Красные жучки-солдатики выбежали на один из чурбаков принимать солнечные ванны. Поплыла паутина. Глечики и куманцы, собранные во дворе, засияли с особым блеском. Ладно, Семеренков! Попробуем разобраться без тебя. Славная у тебя дочка...

Но все-таки — с чего это он напомнил мне о том, что Штебленок, перед тем как отправиться в Ожин, был у Крота?

10

Я прошел к карьерам, где добывали глину-червинку. Здесь и в сорок первом, и в сорок третьем шли бои. Струг, которым скоблили глину, часто выщерблялся теперь из-за осколков. На краю одного из карьеров стояли два сожженных нашими ИЛами немецких бронетранспортера. Бронетранспортеры, наверно, хотели скрыться от «эрсов» * в карьерах, но не успели. До чего же приятно было видеть сожженные немецкие машины! Много боли накопилось в сердце в первые годы войны. При виде таких картин боль стихала.

Говорили, что вокруг машин валялись полусожженные бумаги и среди них попадались обгоревшие деньги. Наши, советские. Наверное, наворованные в наших банках. Фашисты зачем-то увозили кредитки, но налетели штурмовики, и все превратилось в золу.

И заводик горел в те дни, даже не один раз, но война не могла остановить его, потому что древнее гончарное дело не боялось бедствий: его питала сама земля. Вечное, загадочное и неистребимое это гончарное искусство, живучее оно, как весь род человеческий. Здесь,

* «Э р э с ы» — реактивные снаряды.

близ заводика, в ржавого цвета карьерах, глухарчане добывали червину, а если им надоедал алый цвет, они ездили к Ершову оврагу за побиллом и глём — белой и вишневой глиной, чтобы расцветить свои глечики. Война, разрушая все вокруг, давала гончарам все необходимое. Медь, которую перепаливали в печах, чтобы получить зеленую краску, содержалась в поясах артиллерийских снарядов; хром, желтак, вытравливали из деталей разбитых автомашин, и на глазурь материал был, и даже в избытке, — толченное стекло и свинец. За опысочной, черной траурной краской, что придает резкость глухарскому орнаменту, далеко ездить не приходилось. Опытку получают из кузнечной окалины, а в дни войны сельские кузнечные горны пылали вовсю. Крот у нас никогда не был без дела... Он небось и свинец плавил для заводика, и медные пояски пережигал, и окалину собирал. «Стоп! — остановил я себя. — Крот!..» У него был перед смертью Штебленок. И еще эта загадочная фраза Семеренкова... Крот! Откуда он берет сырье, чтобы снабжать заводик красками? Горки посуды во дворе исправно прибывают и убывают, коровьи рожки исправно выводят цветные смужечки и паски, и в округе не должно остаться ни одной пули, из которой можно было бы вытопить свинец, и ни одного снаряда с неснятым медным пояском уплотнения.

Лишь один район мог бы питать наш заводик — УР! Страшный, окруженный суевериями и мистическими историями. В подземных казематах, в блиндажах и окопах оставалось немало военных припасов. Но кто осмелился бы регулярно хаживать туда? Неужели Крот добыл себе «пропуск» в УР?

Кузня стояла чуть на отшибе от села, на Барском пепелище, густо поросшем ольховником, ивняком, чертополохом, всякой растительной дребеденью. В давние времена был здесь барский дом, его сожгли, а на местах разрушенных жилищ, как известно, не растет ничего путного. Глухарчане не любили, когда дети играли на Барском пепелище: там, объедаясь черными брызгучими ягодами паслена, они могли отведать и белены. Когда в Глухарке помирал своей смертью не старый еще мужик, бабы толковали: «Не иначе жинка на Барское

пепелище ходила». И вспоминали, конечно, песню про бедного Грыця.

На краю пепелища, на крепком, бутовом фундаменте одного из сгоревших флигельков и поставили кузню. До войны, детишками мы часто бегали к ее стенам, чтобы порыться в металлоломе, который свозили туда. Иногда удавалось найти дырчатое седло от сеялки, сидеть на котором было удобно, как на великаньей ладони, или штурвал от механического плуга.

Случалось, к восторгу и ужасу нашему, из кузни выскакивал черный, закопченный Крот. Мы считали его колдуном и дразили при каждом удобном случае; Крот был зол, жаден, боялся, что мы разворуем железяки, и швырял в нас кирпичные обломки.

И вот я снова подходил к кузне, ощущал знакомый запах бузины, чертополоха и горячей металлической окалины, за плечами у меня был карабин № 1624968. И Барское пепелище стало за эти годы меньше, и кузня съежилась.

Кряжистый, большеголовый Крот орудовал у накопальни, а помогала ему, раздувая мехи и придерживая клещами заготовки, жена, — чумазое и пришибленное, ничем не приметное существо. У кузнеца было двое сыновей-подростков, и они могли бы стать ему лучшими помощниками, чем жена но подались по наущению отца в мешочники. Сам Крот никогда не называл сыновей мешочниками, а говорил с важностью: «Чумаки».

Кузнец, увидев меня в дверях, продолжал стучать большим молотком, отбивая остывшую уже косу. Жена, согнувшись, хлопотала у горна. В кузне было полутемно. Светились лишь маленькое окошко под потолком да горн. Я подождал немного, но у меня не было желания церемониться с Кротом. Я хорошо помнил, как обломок кирпича, который он запустил, когда мы разбежались от свалки металлолома, ободрал мне ухо и сломал толстую ольховую ветку. Многие можно простить человеку, но, если он ненавидит детей, нечего искать в нем каких-то скрытых достоинств.

Он бы долго клепал свою косу, если бы я не подошел и не отодвинул ее прикладом карабина. Тогда он прервал работу.

— А, Капелюх, — сказал он мне. — У меня глаза

стали слабоваты от горячей работы... Устраивайся, — он указал на какой-то лемех, усесться на который мог бы только человек с железным задом.

— Спасибо, — я подвинул к себе табуреточку, стоявшую в углу кузни у небольшого стола. — Сам устраивайся.

Кузнец посмотрел на лемех.

— Выйдем, — сказал он. — Дымно!

Я обратил внимание, что среди всяких кузнечных принадлежностей: тяжелых топоров для рубки металла, зубил, прошивней, бородков — находятся и клепаные, самодельные тигли, и на одном из них видны были полосы припекшегося свинца.

— Чего надо? — спросил Крот, прислонясь к коновязи.

Как бы он встретил полиция, если бы тот вот так же, как и я, с винтовкой явился к нему, когда здесь хозяйничали гитлеровцы? Небось он, Крот, подумал бы о целостности собственных ребер. С властью, которая призвана защищать тебя, можно позволить себе грубость, она сойдет с рук. И я снова подумал о Законе, который диктовал мне свою волю. Я никак не мог позволить себе использовать преимущество, которое давало оружие и власть, чтобы подавить и унижить человека, даже если тот держался нагло.

Крот ждал. Черный жесткий брезентовый фартук прикрывал его, как щит. Не подступиться было к этому мужику.

— Ты поставляешь свинец и медь на гончарню? — спросил я.

— Я, — сказал Крот. — И окалину они берут.

— Из пуль льешь, из поясков?

Он кивнул. Из кузни доносились хрип и взвизгивание работающих мехов.

— Не раздувай, не раздувай зря, дура! — крикнул Крот, приоткрыв дверь. И сердито повернулся ко мне: — Еще чего?

— Где ты все это берешь?

— А кому какое дело? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

— Есть дело!

— «Ястребки» у нас долго не держатся, — сказал кузнец. — Я бы, Капелюх, на твоём месте отказался от

этой работы. Паек маленький, а риск большой. Можно посунуться, как собака с соломы.

Он хотел разозлить меня, чтоб я взвился, а он бы наблюдал из-за своего брезентового щита. Ведь я был тем мальчишкой, который со всех ног убегал с Барского пепелища, едва завидев прожженный фартук. И отчего это в книгах кузнецы всегда благородные люди?

— Слушай, Крот, — сказал я. — Я смогу тебе много неприятностей сделать. Ты мне поверь!

То, что он старался разозлить меня, настораживало.

Крот присматривался ко мне. Да, это я драпал с пепелища, но с тех пор прошло много времени, а главное, два с половиной последних года я провел на передовой, у Дубова. «Языки», которых мы притаскивали с той стороны, понимали Дубова без слов. Перед ним они почему-то всегда изливали душу, стоило ему только посмотреть. Увы, таких высот я не достиг. Но кое-чему научился. И теперь Крот размышлял.

— Пользоваться военным добром не запрещено, — сказал он. — Все равно сгниет.

— Откуда таскаешь?

— Мне таскать некогда.

— Кто же тогда? И откуда?

Он замаялся.

— Отвечай.

— Гнат таскает...

— Брось брехать.

— Собаки брешут!.. Гнат, говорю... Я его научил. Чего тут сложного. Тут и обезьяну выучишь.

Вот в чем было дело. Крот догадался, какую выгоду можно извлечь из деревенского дурачка. Гнат не понимал риска. Ему, наверно, даже нравилось отбивать зубилом желтые ободки со снарядных чушек. Он отыскивал снаряды, как грибы. Кусок хлеба или пара лукошек казались ему царским вознаграждением.

— И много надо для завода меди?

— Да нет... Пока фунта четыре в день.

Это значило, что Гнат отбивал ободки с полусотни снарядов. Взрывателей он, конечно, не отвинчивал. Действительно, дуракам везет!

— Пули он тоже приносит?

— Приносит. На глазировку идет до десяти фунтов. Он становился разговорчивее, Крот: опасался, что я могу отобрать у него Гната. Конечно же, дурачок приносил ему большую прибыль.

— Куда ходит Гнат? — спросил я.

— Мое какое дело, — кузнец пожал плечами.

— Куда ходит Гнат?

— Думаю, в УР ходит...

— Не боится?

— Чего ему бояться?

Итак, я узнал, кто регулярно бывает в УРе, но красивый план, что созрел, когда я шел к Кроту, рухнул. Гнат!.. Нет ничего удивительного, что бандиты не трогают этого человека: он для них совершенно неопасен. Он не может никому объяснить, где был и кого видел. Он все время смеется. Он смеется, когда в пору плакать. Возможно, весь мир кажется ему комнатой смеха.

— Это я ему такое задание дал, чтоб поддержать дурака, — объяснил Крот поспешно. — Надо же ему чем-то кормиться...

— Ну, ладно, — сказал я. — Все ясно с этим делом.

— Я тут своей старухе скажу, у меня «кровяночка», бутылка найдется, перекусим...

Он уже занесивал. Очень боялся, что потеряет дурачка Гната.

— Как у нас говорят, лучшая рыба — свиная колбаса! — сказал Крот.

Самое удивительное, что лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым и неподвижным. Он даже не делал попытки улыбнуться. Он просто манил меня пальцем из-за фартука, как из-за крепостной стены. Он обещал наслаждения. Но лицо его ясно говорило, что наилучшим решением была бы расплавленная смола.

— Слушай, Крот, — сказал я. — Ты когда кабанчика забил?

— А чего? Что я засмалил?.. Ну, то ерунда.

Тот, кто забивал кабанчика, должен был составить об этом акт, собрать щетину и сдать государству. Осматривание кабанчика считалось каким-то нарушением. Но это не касалось «ястребков».

— Ты Штебленка в гости звал? — спросил я.

— Да не в гости... Просил забойщику помочь. Кабан-

чик у меня пудов на пять был, так я забойщика позвал. А чего?

— Да так. Куда Штебленок ушел от тебя?

— А черт его знает... Чудной! Поздоровкался, а потом вдруг сорвался с места. Как скаженный!

— Что с ним случилось все-таки?

— Да ничего не случилось... Даже от чарки отказался!

И я пошел с Барского пепелища. До войны пепелище было темной и густой рощей, целым континентом. Оказалось, это крохотный клочок кустарника в ста метрах от села. На краю кустарника, как грибок, маленькая, невзрачная кузня, в кузне — Крот. Никакой не злой колдун, а просто жох и куркуль с некоторым индустриальным уклоном.

Вот все, что я узнал. Эх, Капелюх, разведчик!

11

Вечером я надел френч с накладными карманами, почти новый — только левый нагрудный карман, против сердца, был попорчен штыком. К счастью, русским четырехгранным штыком. Дырки от этого штыка на одежде, конечно, латаются легко, куда лучше, чем разрезы от немецких тесаков. Следа не остается. В Глухарке знали толк в немецкой военной одежде. Никто не видел ничего зазорного в том, чтобы раздеть мертвеца. Живые оккупанты не хотели платить за убытки, платили мертвые. Это была лишь слабая степень возмещения потерь. Бабка Серафима тоже раздобыла где-то френч, подшито пала дырочку и пришила красноармейские жестяные пуговицы со звездой вместо немецких дюралевых с шершавыми оспинными глазками.

Я бы никогда не надел этот пахнущий чужим френч, но моя гимнастерка, хлопчатка, трижды «бэ-у», протертая кое-где до марлевой белизны и прозрачности, не годилась для вечерних визитов.

Бабка сразу учуяла, что я собрался к Варваре, стоило мне лишь звякнуть медалями, которые я отцеплял от гимнастерки. Мне до смерти не хотелось идти к Варваре! Но было нужно. Я не сомневался, что Варвара скажет правду. Ведь не может женщина соврать мужчине, которого она провожала во втором часу ночи! Как

она может соврать, если была в одной лишь наброшенной на рубашку жакетке, если, открывая щеколду, говорила такие ласковые, такие жаркие слова? Пусть другие боятся и юлят, пусть другие отводят глаза, но эта женщина скажет правду и поможет... А мне очень была нужна ее помощь!..

Надевая френч с медалями, я чувствовал себя прохвостом, хитрым, бессовестным эксплуататором женской души, донжуаном! Ругая самого себя, я примерил перед обломком зеркала сержантскую, образца сорок первого года, фуражку с большим квадратным козырьком.

— Иди, иди, — сказала мне на прощание Серафима. — Иди, шелешпер! Бросаешь меня на Ивана-постного! Весь в матку, та тоже была гулящая, чертова пекотка!

12

...Хата была у Варвары — загляденье. Говорили, что майор, командир саперного батальона, строившего под Глухаркой гати во время военных действий, дал Варваре под ее команду целый взвод. Да, Варвара никогда не забывала о хозяйстве. И сколько бы ни пелось песен в ее доме, сколько бы ни пилося самогонки и кто бы ни пил, односельчане с уважением говорили, что Варвара «себя понимает».

И как только ты открывал дверь — не в горницу еще, а лишь в сени — сразу ощущал атмосферу чистоты, порядки и какой-то особой, ароматной свежести. И когда ты видел чистенькие рушники, развешанные по стенам, и довоенную скатерть с бахромой, и хорошо промытые цветы, с оранжерейной густотой заполнявшие горницу, и фотокарточки в свежеокрашенных рамках под стеклами, и снежной белизны печь, по которой, казалось, только что прошелся квачик, и, самое главное, хозяйку в подкрахмаленной полотняной блузочке и цветастой украинской плахте, — то понимал, откуда аромат свежести и чистоты.

Я постучал и, когда входил в горницу, низко нагнулся под притолокой, как будто мой рост не позволял войти иначе, а затем по-солдатски выпрямился, так что ме-

дали открылись все сразу и бодро звякнули. И тут же раздался счастливый смех: «Хе-хе-хе-хе!»

В углу комнаты, под вышитым рушником, подвернув под себя одну ногу в драном, перевязанном проволокой ботинке, сидел... Гнат. Он смотрел на мои медали и смеялся. Наверно, для него это были цапки, что-то вроде бубенчиков.

Он преследовал меня как злой рок, этот Гнат, наши пути то и дело пересекались! Рядом с дурачком стоял туго набитый грязный мешок. Видать, Гнат только что вернулся из УРа.

Я до того оторопел, что не сразу заметил хозяйку. Она сидела за столом, где горела самая настоящая керосиновая лампа-двенадцатилинейка. Всю горницу заливал свет. Богато жила Варвара. Но занималась она странным делом: зашивала драный, грязный ватник Гната.

— А я уж думала, вы ко мне и не заглянете, Иван Николаевич, — певуче сказала хозяйка. Она всегда разговаривала речитативом, который, чудилось, вот-вот мог перейти в арню от переполнявших Варвару чувств.

Вот женщина! Ничего, казалось, в ней не было властного, говорила она нараспев, двигалась плавно, вся была округла и мягка, глаза ее были нежны, подернуты поволокой, как изморозью, и даже чуть по-коровьи печальны, но, когда она посмотрела на меня, я, как и в тот вечер, почувствовал себя глиняной точанкой, которая брошена на круг перед гончаром, а он, гончар, решает, что из нее, точанки, сотворить — барильце или горшок. Планы мужского превосходства и донжуанской хитрости сразу улетучились.

— Где ж ваша рушница*, Иван Николаевич? — спросила Варвара, близко подходя ко мне. Она взяла из моих рук фуражку, бережно положила на этажерочку, на кружевное покрывальце.

— Зачем мне рушница? — спросил я.

— Ну и правильно, — сказала Варвара. — У меня в хате не стреляют. У меня мир. Ох, как я войны не люблю!

Прямо передо мной на стене висел раскрашенный фотопортрет супруга Варвары, товарища Деревянко,

* Рушница — ружье (укр.).

бывшего директора гончарного заводика, юного, цветущего мужчины. Убило директора при налете, когда он мылся в бане, и было ему шестьдесят пять лет.

— Хе-хе-хе-хе-хе, — некстати засмеялся Гнат. — Ой, хорошая ма-асковская сладкая девка, ой, грушадевка, хе-хе-хе...

Он влюбленно посмотрел на Варвару. Он был совершенно счастлив в этом доме.

— Хорош у меня жених? — спросила Варвара, указывая на Гната глазами. — Свадьбу сыграем — он и за попа сойдет, волосатый!

Гнат потрянул своей паклей и снова засмеялся. Он не сводил глаз с Варвары, в его позе было что-то собачье, словно он готовился вскочить и поймать кость на лету. Что ему было нужно здесь?

В Глухарке некоторые отчаявшиеся бабы пытались взять Гната в прыймы. Мужик он был на редкость сильный, бревна таскал не кряхтя, плуг мог волочить как конь. Несколько раз Гната мыли, стригли, одевали в чистое и вводили во вдовый дом. Но он не выдерживал испытания. «Как начнет баба приступать, так он хватает шапку и тикает», — рассказывала Серафима.

Нет-нет, любовные намерения исключались. Гната могли экзаменовать лишь вошедшие в возраст одинокие бабы, хозяйство которых было в упадке, без мужской руки.

— И приданого принес мешок, — продолжала Варвара. Она бросила Гнату его залатанный ватник. — Все, жених, иди домой... Жалко его, — пояснила она мне. — В Глухарке все любят обсуждать да осуждать, а добро сделать некому... Ну, давай, Гнат!

Он принялся поспешно застегивать ватник. Варвара сунула ему за пазуху ржаную горбушку, застегнула пуговицу.

— Постой-ка, — сказал я и подошел к мешку.

Крот не врал. Гнат действительно ходил в УР. По характерным выступам я догадался, что дурачок приволок целые снаряды. Наверно, ему не удалось сбить медные ободки в лесу.

Я вытряхнул из мешка молоток, зубило, дюжины две погнутых медных ободков и наконец докопался до трех семидесятишестимиллиметровых снарядов. Взрыватели



находились на месте, один из них даже не был прикрыт дюралевым колпачком, виднелась мембрана. Достаточно было блохе чихнуть на эту мембрану, чтобы рушники Варвары оказались на Барском пепелище. И как это Гнат донес мешок на спине? Положительно, везет дуракам!

— Дай-ка плоскогубцы, — сказал я Варваре.

Я осторожно вывернул боеголовку.

— Ты это кончай! — сказал я дурачку. — Кончай! Не носи их в мешке!

Он засмеялся. Может быть, снаряды казались ему поросятами, и он их пас в лесу, а самых послушных приносил домой, в свою избу-развалюху? Медные кольца — это были путы, он освобождал поросят, выпускал их на волю...

— Он ходит в УР. Стараются для Крота, поняла? — сказал я Варваре.

Она всплеснула руками.

— И не бойтся бандитов?

Гнат смеялся. В самом деле. Он носил на спине готовые вот-вот взорваться снаряды. Что ему бандиты?

— Слушай, Гнат, — спросил я с тайной надеждой. — Ты там, в лесу, встречал кого-нибудь? Ну, с автوماتами? Та-та-та-та!

— Та-та-та-та! — подхватил он с радостью. — Та-та-та-та! Вкусно! Хлеб! Сало! Ха-арошее, сладкое маасковское сало!

— Какое еще сало? — спросил я.

— Там, — он махнул рукой в сторону окна. — Хорошо!

— Ну, хватит! Пошел, дурак! — Варвара нахлобучила на путаную шевелюру Гната шапочку и вытолкнула его за дверь.

Она исчезла в спальне, отделенной от горницы ширмой, и вскоре появилась в городской крепдешинной кофточке и цветастой юбке.

— Ну? — спросила Варвара. — Хорошо?.. Я этого барахла наменяла — страсть! У городских! Они, как трудно, зубы на полку. А мы — трудящие, нас земля кормит.

Она сделала движение руками — и накрахмаленная белая скатерть как бы сама собой легла на стол.

И на столе возникло все, что должно возникнуть, когда женщина хочет накормить мужчину так, чтобы он это запомнил. Дубов с ребятами просто обалдели бы, глядя на это угощение...

— Я думала, ты не придешь, — сказала Варвара. — Никогда уже! Стесняешься? Чудак! Вояками вы нынче становитесь раньше, чем мужиками. Небось на войне не одного человека застрелил?

Я промолчал.

— Ну вот, видишь! — сказала Варвара. — А женщин опасаться! Эх...

Ее грудь рельефно обрисовывалась под крепдешинной кофточкой. Глаза приобрели темно-сливовый оттенок, который хорошо запомнился мне в тот вечер. О, черт, я снова думал о лесах, о том, как нежно светится озимь под сентябрьским солнцем, когда идешь по тропинке — свободный, не связанный ничем, ни воспоминаниями, от которых рождается чувство стыда, ни обязанностью любить... И смутный образ девушки в черном платке как символ свободы, легкости и естественной принадлежности лесам и полям промелькнул передо мной. Я понял теперь, откуда взялась та плавность и грациозность, с которой шла девушка с коромыслом. Природа создала ее цельно, как былинку, как росток озими, и когда она шла, то шла бедро к бедру, лодыжка к лодыжке...

Я сидел рядом с Варварой, но думал не о ней. Почему?.. Хотел уйти, убежать — хотя бы в воображении. Может, это было сопротивление мухи, которую заворачивают в кокон, а она все еще бьет полусвязанными крыльями и воображает себя в полете? Варвара продолжала пеленать меня взглядом.

Я решил разорвать свинцово-сладкий кокон.

— Сядь! — сказал я.

Она тут же села. Неназойливая, обволакивающая властность удивительно сочеталась в ней с готовностью повиноваться.

— Ты была с Горелым?

— Вот оно что... Дурачок, разве это важно?

— Важно! Я из-за этого пришел. Поняла?

— Ах так... — она сжала губы, задумалась.

— Горелый бродит где-то здесь, — сказал я. — Это он повесил Штебленка.

— Тебя он не повесит. Чего волнуешься?
— Откуда ты знаешь, что не повесит?
— Знаю. Да, я была с Горелым! — Она говорила, подавшись ко мне через стол, и грудь легла на скатерть, крепдешин сомкнулся с полотном, слился. — Он тебя не тронет, если ты будешь делать, как я говорю. Горелый сейчас не полезет на рожон, не то время! А придет зима, он вовсе уйдет!

Она разбиралась... Зимой, когда следы выдают и зверя и человека, Горелый не станет бродить возле села.

— До снега сколько он еще может натворить! — сказал я. — Ведь гад. Фашист, бандера!

— Тебе двадцать лет, Ваня. Побереги себя. Тебя еще девки любить будут!

— Что ты в нем нашла? — перебил я ее.

— А чего я должна находить? — сказала она снисходительно, как будто разговаривала с несмышленышем-почемучкой. — Нечего мне находить... Жениться хотел. Мужик он! Живой! Много ли таких в войну?

— Ты виделась с ним после того, как ушли немцы?

— Вот еще! Дурочка я тебе на это отвечать!

— Не ты ли его подкармливаешь, Горелого? Рубашечки отстирываешь?

— Я?.. — она рассмеялась. — Чтоб я на них стираю? Плохо ты меня знаешь...

— Честно говоришь?

— Вот те крест!

— Может Горелый прийти к тебе в село?

— Почему я знаю?

— А если ты его позовешь? Небось знаешь, кому шепнуть надо?

— А он сам не позовется. Он же с собой увел Нинку Семеренкову. Не меня, а Нинку! У него с ней серьезно, видать, получился!

Да, я был слишком самоуверен, когда надевал новый френч с медалями и воображал себя хитрым и ловким эксплуататором женской наивности. У Варвары не было никаких обязательств передо мной...

— Откуда тебе известно про Семеренкову? — спросил я.

— Ну, на этот счет мы, бабы, знаем, что нужно.

И чего вы это, Иван Николаевич, — она снова перешла на это кокетливое «вы», — допрашиваете? Вечер такой приягный! Или вы меня заарестуйте за Горелого, или не допрашивайте!

Она была так близко, что я ощущал теплоту ее дыхания на щеке. От нее туалетным мылом пахло, хотя какое могло быть туалетное мыло в Глухарке в одна тысяча девятьсот сорок четвертом году?

— Не буду я тебя арестовывать, — сказал я мрачно.

Ее зрачки были против моих. Казалось, я со страшной скоростью несусь ей навстречу, и мы вот-вот столкнемся, разлетимся вдребезги.

— Послушай! — взмолился я. — Ведь он тебя, наверно, любил. Он снова захочет увидеть тебя... Ты можешь помочь мне! Вызови его в село. А?

— Нет, — сказала она и отодвинулась. — Я себя... и тебя губить не хочу. Так делать не годится. Из-за чего себя жизни лишать?

— А что годится делать?

— Я скажу что, — она накрыла мою ладонь своею. Рука у нее была горячая, как хиппакет. Я осторожно высвободился. — Переезжай ко мне. Ну, в прыймы... Уж как хочешь! Тебе будет хорошо. Я заботиться буду... Ты ж раненый, тебе хорошая баба нужна, ласковая, заботливая... чтоб кормила, поила! Я верная тебе буду! Честно! Мы, бабы, ведь не от доброй жизни гуляем! Я тебя беречь буду!

— А Горелый? — спросил я.

— Что Горелый? Я ж тебя не спрашиваю про твою биографию.

— Как ему понравится это?

— Пусть бы сунулся, — сказала Варвара грозно. — А то взяли бы и уехали... Со мной бы ты не пропал и до мирной жизни дожил. Ты и так своей кровушки отдал досыта. О себе надо думать. Я хоть не такая грамотная, как ты, а все ж ум у меня расторопней. Я дело говорю, Ваня... Иван Николаевич!

Наверно, она дело говорила. Разумное предложение — дожить в тепле и сытости до мирных дней. Ребята там, на фронте, небось снова ползают на брюхе за передовую. И, как всегда, вернувшись, кого-то недосчитывают.

— Нет, Варвара, — сказал я. — Мне такая жизнь не личит. Если искренне говорила — спасибо...

— Не жалеешь меня? — спросила она.

Ох, как я боялся этого — жалости. Она была рядом, Варвара. Волосы, упавшие мне на лоб, колыхались от ее дыхания. Протяни руку, коснись — и пожалел, все решено. Один жест мог все решить. Прощай тогда воля, прощайте леса, поля, прощай тропа на чистой озими.

— Не до жалостей, — сказал я, не глядя на нее и чуть отодвигаясь. — Бандиты рядом. Тебя пожалеешь... себя пожалеешь, а других загубишь!

— Ох, дурак! — сказала Варвара. — Не знаешь, что у твоей жизни есть цена? И подороже, чем у других! Ну, почему не понимаешь? Да ты пойми, ты, хоть и воевал, ты против Горелого — морковка. Ты послушайся! Я тебе спастись предлагаю. Уберечься!

— Нет, Варвара. Не туда моя дорожка...

— И ты мне все пути срезаешь, — сказала она. — Ты мне ничего не оставляешь, Иван, кроме одного... — Она вдруг замолкла на секунду. — Я за тобой хочу укрыться, пойми. Ты меня спасешь, а я тебя. Мы квиты будем!

— Ну хорошо! — не выдержал я. — Хорошо! Помоги сначала с Горелым справиться. Скажи, как его взять!

— И себя загубить? Зачем же тогда стараться? Нет! — сказала Варвара твердо. — Ничего я не знаю, можешь заарестовывать, если хочешь!

— Ну, я пошел, — сказал я и встал. Бежать надо было отсюда, бежать!

— Пацан ты все-таки, — сказала она сдавленно. — Понавешали тебе отличий, а ты пацан! В герои хочешь? Вон их сколько, безруких да безногих, стало, героев. Кому они будут нужны? А те, что под холмиками?..

Тут в сених загремели, и в хату, не дожидаясь ответа на стук, вошел Попеленко. Ну и рад я ему был!

— Здравствуйте, хозяева, здравствуйте, гости! — сказал Попеленко.

Он мигом оценил обстановку, скользнул взглядом по столу — ничего еще не было тронуто. Попеленко засиял.

— А я тебя все шукаю! — обратился он ко мне. — Сегодня ж Иван-постный! Не годится начальника не поздравить!

И он, не тратя времени, разделся, поставил в угол свой карабин, снял ремень с подсумками. Мой подчиненный был не из стеснительных. Если что и смущало его, так это влажные и гневные глаза Варвары.

— Не горюй, серденько, — сказал он. — Сегодня у него именины, а завтра твои.

— Мои не скоро, — сказала Варвара и отвернулась к зеркалу.

— Ничего, ничего, серденько, — забалабонил безостановочно Попеленко, усаживаясь за стол и придвигая к себе тарелочки. Он очень спешил, понимая, что обстановка может измениться в любую минуту. — Главное — держать в себе присутствие духа...

Он положил на тарелку огурчик, налил из бутылки в стакан. Пальцы его работали ловко, точно на баяне играли. Энергично действовал «ястребок».

— Да! — сказал он, словно сейчас вспомнив. — Товарищ начальник! Тут в сельпо Яцко из Ожина приезжал... Заготовитель! Просил передать от товарища Абросимова, что тот выезжает... Для помощи в борьбе с бандитами. Так передал... На лошади. Он что, большой начальник?

Тут Попеленко опорожнил стакан и налил второй.

— Кто большой начальник? — спросил я.

— Товарищ Абросимов.

— Какой Абросимов?

— Я почем знаю? Передал: для помощи в борьбе с бандитами. Мол, у него свой план.

Тем временем Попеленко налил еще один стакан. Разговор у него сейчас играл роль прикрытия. Тарелочкиплыли к «ястребку», как на конвейере.

Варвара перестала разглядывать себя в зеркале и повернулась к нам. Глаза у нее были уже сухие. Крепкие, тугие, как свежие сливы, глаза.

— Знаете что, «ястребки», — сказала она. — Проваляйте. Надоела мне ваша война. Все вы строите из себя черт те что, а самогонку хлещете. Вот и пейте, только не здесь. А я повеселей найду гостей. Ну вас!

И она высказалась с такой украинской полнотой, что Попеленко крикнул:

— Ну, после такого слова и закуски не надо! Не слово, а перченый баклажан. Ох и баба ты! Женился б я на тебе... Ага!

Варвара молча подала ему карабин и шапку.

— Дурак, — шепнула она мне в сених. — Все испортил. Я ж хотела по-другому начать... По-другому! Я слышал знакомый скрип щеколды.

13

Мы постояли в центре села, прислушиваясь. Вызвездило, ночь обещала быть холодной. Белостенные мазанки казались огромными светляками, которые заползли в темноту лесов и расположились в два правильных ряда.

— Хорошо живет, — сказал Попеленко, оглядываясь. Окно Варвары было заполнено ярким светом двенадцатилинейки. — Понимает!

Над нами пролегал Чумацкий Шлях. В сентябре он обозначен резко — словно бы побелочным квачиком провели по всему небесному куполу. Я отыскал затерявшуюся в мерцании Шляха Кассиопею. У созвездий есть странность — их приходится разыскивать в звездной толчее долго и трудно, как знакомого на базаре, но, однажды найдя, недоумеваешь, отчего это ты сразу не заметил четкие и ясные очертания. Может, со временем я так же буду недоумевать, почему проглядел простой путь, ведущий к бандитскому гнезду. А может, я так и не смогу ничего поделывать. Буду тыкаться носом, как слепой щенок.

— Не могу понять, Попеленко, — признался я. — Бандиты наверняка имеют ход в село. Но к кому? Кто их поддерживает тут? Чего Горелый околачивается под Глухаркой?

— Ой, товарищ начальник, не надо искать кавунов на огуречной грядке, — сказал Попеленко. — Живем мы тихо, бандеры Глухарку не трогают, функцию, — он чуть приостановился, давая мне понять всю значимость этого трудного слова, — мы справляем. Тихо-то как, благодать!

Мы еще постояли. Тявкнул кобель во дворе у Кро-

та, прокричал петух у Семеренковых, провизжала обвисшая калитка у Малисов, два раза икнул Попеленко. Просветлел край неба над гончарным заводиком, выдлив трубы и бессонные дымки над ними: готовилась взойти луна.

Мне оставалось еще сходить к Семеренковым, спросить о старшей, Ниночке, той, что до войны завивала волосы в мелкие кудельки, и звонко хохотала, и кружила головы парням. Где она сейчас? Не с Горелым ли? Впрочем, какая разница? Что бы я ни узнал, все равно мне не обойтись без совета старшего, знакомого человека.

На фронте был противник. Взяв «языка», ты узнавал все, что нужно. Здесь же линии фронта не было, а были леса и несколько десятков хат, и в одной или в нескольких мог скрываться враг. Как его найти? Ни Попеленко, ни бабка Серафима, ни Глумский не годились в помощники, потому что знали не больше моего.

И я подумал о Сагайдачном. О старом, мудром Сагайдачном. Глаза его были подслеповаты, но зато умели смотреть в суть вещей, минуя всякие мелочи, которые только отвлекают и путают, как камуфляжная сеть. Глаз всегда останавливается на первом попавшем в поле зрения предмете. Например, на зеленой ветке, брошенной на камуфляжную сеть. И тогда расплывается и исчезает скрытая под сетью пушка. Вот и я, наверно, видел лишь незначительные детали и никак не мог изменить фокус, чтобы проникнуть в суть. Мне нужна была помощь такого человека, как Сагайдачный!

— Знаешь что, Попеленко, — сказал я. — Завтра я поеду в Грушевый хутор.

— А боже ж мой, — простонал «ястребок». — То ж возле самого УРА. Теперь вам туда никак нельзя. Что ж вы, не понимаете?

— Понимаю.

— Может, и мне с вами? — сказал Попеленко.

Он сказал это, и круглое лукавое лицо его стало непривычно задумчивым, как будто он сочинял надпись для собственного памятника. Красивая напрашивалась эпитафия: «Стой, путник! Здесь лежит Попеленко. Он оставил по себе девять крикливых сирот и одну молчаливую вдову, но не оставил плохой памяти. Он ценил

спирт и даже сивуху, но еще больше — мужскую дружбу...»

— Нет, — вздохнул наконец Попеленко, отказавшись от красивой эпитафии. — Семья будет сильно нервничать. Нельзя семейство обижать!

— Оставайся, — сказал я. — Следи за порядком. А мне дай Лебедку.

— Лебедку? — со стоном спросил мой подчиненный. — Я ж должен капусту вывезти.

— Так я же скоро вернусь.

— Ага! — сказал Попеленко с некоторым сомнением. — Может, вы попросите у Глумского жеребца? Лебедка — военный конь, раненый... Можно сказать, демобилизованный.

— Может, мне попросить жеребца у товарища Ворошилова? — спросил я. — На котором он принимает парад?

Довод произвел на «ястребка» впечатление.

— Ладно, — сказал он. — Под седло или запрячь?

— Запрячь. А до того как запрячь, ты пройдешь по селу и произведешь реквизицию.

— Самогон? — спросил Попеленко, оживившись.

— Нет. Оружие. Гранаты и прочее. Глумский подкажет. Сходи к нему. Пора нам наращивать огневую силу. Чтoб бандиты не сунулись в село.

— Ага!

— У ребятни много оружия припрятано.

— Ага, — сказал Попеленко, призадумавшись. — Вообще-то, у моего старшего валяется где-то миномет. На пятьдесят миллиметров. Без прицела, но мины найдем...

— Это слишком... Нам нужны пулемет, автоматы, гранаты. Чтoб было, понял? Хоть разбейся!

— Это мы сообразим, — сказал Попеленко. — По сараям пройдем, по погребам.

Было ясно, что любая реквизиция ему по вкусу.

— Больше юмора, Попеленко, — сказал я «ястребку».

— Ага, юмора и оружия, — серьезно подытожил он.

Когда я пришел, Серафимы дома не было. Луна поднялась уже высоко. Млечный Путь растаял в ее свете,

как полоска снега. Навозная куча у сарая сверкала, словно вся состояла из жемчужных зерен. Кабанчик Яшка визжал, требуя ужина. Я набросал в корыто холодной картошки, но у него были свои причуды, у Яшки, любимца Серафимы, — он ничего не ел без тюльки. Это был единственный продукт, которым кооперация снабжала глухарчан. Я с трудом отыскал тюльки, завернутые в листья лопуха. Мы честно разделили их с Яшкой.

— Такие дела, Яшка, — сказал я. — Плохи наши дела... Глупые мы с тобой... Одиноко тебе? Мне тоже... Какие мы с тобой вояки?.. Мелочь пузатая, вот мы кто... Тюльки мы с тобой!

Серафима пришла после двенадцати, когда я лежал на дощатой своей кровати, согреваясь под полушубком и рядом. Будильник, оставленный фронтовыми хирургами, уже прозвенел.

Серафима задела медную ендовку, что лежала на крышке кадки с колодезной водой, и она грохнулась о твердый глиняный пол с колокольным звоном.

— Подгуляла, бабка? — спросил я.

— Еще бы не подгулять, — ответила она весело. — Еще бы, когда после немцев первого приняла... Праздник! Ой, со смеху с ними, недотепами, подохнешь! Девке восемнадцать — дура душой, а бабки вокруг собрались, забыли, какое оно, дите. На похоронах научились плакать, а про робенков все начисто позабывали...

— Кто ж это постарался? — спросил я.

— Да Ермаченкова. Парашка! Ой, паразиты... Кривендиha кричит: «Батюшки, ребенок мертвый, синий весь!» Поднесли Парашке показать — а она обмерла. «Ой, — говорит, — у роте у него плесень, не жилец!» И реветь! Хорошо, я прибежала. «Эх, — говорю, — трясца твоей матери и всем родичам, что такую дуру вырастили. У них у всех так в роте, у ребенков... Разойдись, — говорю, — чего раскудахтались? «Синий, синий»!.. Раз синий, значит живой... Мертвый — белый был бы!» А он, как шел, пуповиной вокруг шеи обмотался. Чего страшного? Височки ему натерла, в уши и носик подула — он дыхнул, да как заорет. «Быть ему, — говорю, — начальником, глотка здоровая».

— Отец-то кто?

— А кто ж теперь знает? По времени получается — освободитель... Проходящий военный... От радости, словом. Да пусть! Население произрастать должно! Земля пустует...

— Назвали как?

— Сдурел? Сегодня Иван-постный. Одним Ванькой больше стало. Тезка тебе.

— Подойди-ка сюда, Серафима, — сказал я.

Она подошла. Луна ярко светила в окна. Ну и страшнюга она у меня была, Серафима. Мартышка в платочке.

— Наклонись.

Я поцеловал ее в морщинистую щеку. Жесткую, иссушенную гончарной печью щеку.

— Это тебе как медаль. За спасение человека.

— Ну вот еще, — сказала Серафима, всхлипнув. — Тоже еще. Трясця... Лежи... Я б вот хотела твоего принять. Правнука дожидаться!

— Дождешься! — сказал я, а сам подумал: если Горелый позволит. Чем энергичнее я буду действовать, тем быстрее обращу на себя внимание Горелого. Бандитам не нужны активные «ястребки». Штебленок, видать, их тоже чем-то испугал.

— Я завтра уеду, — сказал я Серафиме. — Ты не очень волнуйся, если не сразу вернусь.

И подумал: а все-таки, что бы ни случилось, в Глухарке еще один Ванька объявился. И это совсем неплохо.

14

— Ну, Лебедка, ну! — говорил Попеленко. Он без конца поправлял сбрую. Лебедка роняла слюну. Лошадь она была смиренная, коротконогая, нескладная, но с придурью. Ее выбраковали из воинской части по ранению, а раненые лошади часто страдают психическими отклонениями. Должно быть, силятся понять, зачем нужно стрелять в лошадей, вот у них и происходит завихрение мозгов. Человек, тот легко примиряется с тем, что ему, венцу природы, приходится бывать в роли мишени.

Попеленко снова принялся гладить Лебедку по плетивым бокам.

— Может, ты и со мной попрощаешься? — спросил я.

— До свиданья, товарищ Капелюх, — сказал Попеленко, глядя на Лебедку. — Смотрите, там, у Грушевого хутора, старое клеверище, так вы ее не пускайте. Не дай бог росного клевера объестся. Керосину, чтоб отпоить, днем с огнем не найдешь, разве что у Варвары...

— Будь здоров, Попеленко, — сказал я.

И Лебедка потащила телегу. Я мог бы достать легкую подрессоренную бричку, но предпочел самую обычную сноповозку. На бричках ездит начальство. Гремящая и стучащая телега не привлечет такого внимания, как бричка. Тем более такая сноповозка, как у Попеленко, — с переломанной «лисицей», которая, словно в шины, была схвачена с трех сторон слегами. Артиллерийский дивизион, спешно меняющий огневую, издавал бы меньше шума, чем этот рыдван.

Свернув на старый Мишкольский шлях, я проехал у Барского пепелища, у кузни, где Крот гремел железом, миновал кукурузное поле с торчащими из земли срезами толстых стеблей, затем ржаной клин, выбранный так чисто, что ни одного брошенного колоска не виднелось на песчаной серой земле среди низкой стерни, проехал капустные гряды, под которые было отведено сырое Семеново урочище, окаймленное орешником, и въехал в лес. В лес! Сразу стало сумеречно и прохладно, запахло опятами, гнилыми пнями, мхом. Мишкольский шлях входил в чащобу, где было много густого грабовника вперемежку с дубами, ольховником, густым ореховым подростом и вязом. Солнце грело полетнему сильно, но ночной холод уже не выветривался отсюда, косые лучи, падающие сквозь пожухлую листву, только подчеркивали сумрачность и гнилую духовитость пущи.

Передо мной, под рогожкой, на мягком сене, лежал немецкий МГ с дырчатым кожухом и небольшим круглым боковым диском для ленты.

Попеленко проявил себя гением реквизиции. Он обнаружил МГ без затвора в сарае у Крота. Затвор был найден у двенадцатилетнего братца Парашки Ермаченковой, который колол им орехи, а ленты и круглые диски предоставил нам, хотя и с плачем, Колька Брык, известный в селе тем, что из ракетницы поджег соб-

ственную избу. Сделал он это без злого умысла — ведь Брыку было четырнадцать.

Еще Попеленко раздобыл два «шмайсера» — один, правда, с «зайканьем» из-за плохого выбрасывателя, — несколько гранат, два противогАЗа и прицел танковой пушки. Но главным трофеем, конечно же, был МГ образца тысяча девятьсот сорок второго года!.. Неплохой пулеметик придумали фрицы, надо было отдать им должное. Нетяжелый, универсал — он и ручняк, и станкач, если поставить треногу. Дубов всегда брал для разведгруппы один МГ, объясняя это тем, что в тылу у немцев всегда можно раздобыть нужные патроны. Но «шмайсеров» Дубов не брал. Наши автоматы были надежнее и удобнее в рукопашной.

Война научила нас любить оружие, ценить в нем изящество линий, всякие там загадочные, не поддающиеся анализу качества вроде «ухватистости» и «приладистости», мы умели находить душу и характер в каждом виде военной техники, и вот сейчас меня радовал МГ, единственный, если не считать Лебедки, мой друг в этом лесном путешествии, он казался добродушно настроенным аккуратистом немцем, безотказным и молчаливым, классовым другом и союзником, сознательно перешедшим на нашу, правую сторону. Только на него мог я надеяться сейчас...

«Наверно, — подумал я, — когда настанут мирные дни и оружие исчезнет из повседневной жизни, трудно будет объяснить свою любовь и нежность к этому куску металла с темно-вишневым прикладом и рукоятью, которая сама просится в ладонь...»

Дорога шла меж деревьев, как в ущелье, изредка пересекая поляны или проредь. Колеса то и дело скакали по корням, которые тянулись через колеи, и длинная сноповозка кряхтела, визжала и, казалось, вот-вот была готова рассыпаться.

Все более мрачным становился лес, а колеи прямо на глазах прорастали подорожником, ромашкой, конским щавелем, кое-где по сторонам попадались брошенные автомобили, полуобгоревшие или разобранные на части, и чувствовалось, лес уже подбирается к этим чуждым ему железкам, чтобы поглотить их; пока еще лишь крапива, мятлик, да белоус, да кое-где стебельки пижмы опутывали ржавые борта машин, но это была

только лесная разведка, только примерка; просто лес, обладая уверенностью в конечной победе, не спешил.

Мне приходилось уже ходить этой дорогой на хутор к мировому посреднику Сагайдачному, но теперь, казалось, передо мной была другая дорога, незнакомая, заполненная подозрительной тенью, маскировочной, нарочито пестрой игрой света в листве и ветвях, созданной для того, чтобы скрыть человеческие фигуры. Когда я ходил к Сагайдачному вольным казаком, посвистывая и помахивая прутиком, сшибая выбежавшие на дорогу мухоморы, наступая на перезревшие пороховницы, которые разрывались, как петарды, и сыпали на сапоги рыжую пыль, лес радовал меня, я не различал ни деревьев, ни огоньков рыжих осенних папоротников, ни к чему не присматривался, а просто наслаждался лесом в его цельном, неразделенном на части облике, потому что на фронте изрядно надоело присматриваться и прислушиваться...

Но сейчас лес был снова, как во времена глубоких разведпоисков, расслоен на сотни деталей, и каждую надо было просеять сквозь все органы чувств, осмотреть, прослушать, отсортировать, взвесить.

Вересковая поляна... Хрусткие густые кустики с фиолетовыми соцветьями. Бывало, ляжешь в них в пятнистой трофейной куртке — и ты исчез, и ястреб кружит над тобой как ни в чем не бывало, высматривая мышь или слабыша птенца, а ты для него часть верескового ковра, часть леса, которая не вселяет никакой тревоги. Но тот, кто умеет присматриваться и понимать лес, знает, что прежде, чем лечь в серый хрустящий ковер, ты оставишь на нем следы, примнешь негибкие веточки вереска, и они долго еще будут вздрагивать, выпрямляясь, и легкое волнение, особенно заметное в тихую, безветренную погоду, будет пробегать по фиолетовым соцветьям там, где прошел человек. Сейчас вереск спокоен...

Сосновый бор. Прямые красные стволы, уходящие в головокружительную высоту. Следы довоенной подсосочки на коре как морские шевроны. Кое-где еще сохранились жестяные вороночки. Они давно уже переполнились смолой. Сосны необъятны, за каждой может укрыться человек. Но в бор, где хвоя вознесена на ше-

стиэтажную высоту, свободно проникает косое сентябрьское солнце. И тени стволов лежат на ровной, словно утрамбованной, лишенной травы земле. Человек, если бы он вздумал встать за сосну, уложил бы свой четкий отпечаток на рыжую землю, как на экран, и я бы успел скинуть попонку с МГ, повернуть дуло к бору, предупредить движение, окрик или выстрел.

Березняк... Пестрое мельканье стволов. Кажется, ничего не разглядишь в этой бело-черной рощице, и листья, кружась в воздухе, еще более усиливают мельтешню. Мягкий слой свежеепавших листьев заглушит любые шаги, можно припасть к земле, улечься в сухую промоину, оставленную вешним ручьем, и затаиться в нескольких шагах от дороги. Но не спрятаться от сорочьего глаза. Вот она, длиннохвостая дуреха, прыгает с березы на березу, лениво стрекочет. Движение телеги не тревожит ее, трещит она просто так, по птичьей дурости; но вот человек, по-охотничьи затаившийся в березнячке, заставил бы сороку поволноваться по-настоящему: на сотни метров вокруг разнесся бы ее предупредительный сигнал.

Пуста березовая роща, пуст лес, можно ехать дальше.

Я вздохнул свободно, когда лес посветлел, поредел, и заросшая травой дорога выбралась на обширное, открытое пространство, которое было когда-то хлебородной пашней, приписанной к Грушевому хутору, а сейчас превратилось в поросшее сурепкой, васильками, конским щавелем и белоусом дикое поле. Вдали, на возвышенности, на гребне этого поля, стояли три яблони-кислицы. Стоило подняться к этим кислицам, и оттуда открывался вид на хутор — десяток хат, стоявших у запущенного ставка с глинистой, желтой водой.

— Ну, давай, Лебедка! — прикрикнул я и хлопнул по спине лошади концом длинных вожжей.

Но Лебедка только отмахнулась хвостом. Мы въехали в Грушевый хутор без всякого шика, с тарактеньем обычной крестьянской телеги. За тыном крайней мазанки я увидел наголо обриту голову товарища Сагайдачного. Он стоял среди подсолнухов, и пенсне его светило на солнце.

Товарищ Сагайдачный не спешил выйти мне навстречу. Ему не полагалось спешить.

Товарищ Сагайдачный, который не занимал никаких официальных постов, тем не менее был человеком известным. Товарища Сагайдачного даже навещали официальные гости из области. А в годы войны — засвидетельствованный факт — к Сагайдачному приезжал посланник самого гаулейтера Коха. Кох — не шутка, палач мирового масштаба, от одного имени мороз по коже. Хуторяне и солдаты из взвода охраны толкали застрявший в песке «опель-адмирал», а Сагайдачный спокойно стоял среди подсолнухов, и пенсне его блестело на солнце. Он и не собирался выйти навстречу. Вот он каков был, товарищ мировой посредник...

15

Я сам отворил ворота, выдернув запорную слегу, и въехал во двор. Цыплята врассыпную бросились от телеги. Жена Сагайдачного, женщина лет тридцати, а может, пятидесяти — бывает ведь так, — толкла в ступе просо и не обратила на меня никакого внимания. Говорят, супруги со временем приобретают духовное и даже внешнее сходство. Философское, осмысленное спокойствие Сагайдачного, передавшись его жене, стало не чем иным, как безразличием.

Хозяйка кивнула в ответ на мое приветствие и продолжала толочь просо. Зато с Лебедкой поздоровались более любезно: из сарая раздалось похожее на старческий кашель ржанье. Это откликнулась седогривая лошадь Лысуха, которая, по словам мирового посредника, была изгнана на хутор за то, что в молодости служила в одном из куреней жовтоблакитного войска Петлюры. В доме Сагайдачного все было необычным.

Я взял из-под попоны МГ и отправился к окруженному подсолнухами крыльцу, где ожидал меня Сагайдачный. Сквозь сползшее на нос пенсне он с неодобрением рассматривал пулемет. Такой человек, как Сагайдачный, не мог любить оружие.

— Здравствуйте, Мирон Олегович, — сказал я.

Он не сразу ответил. Худенький, тошенький старикашка был Сагайдачный, обрита «под ноль» его голова словно бы росла на стебле, как тыква.

— Ну здравствуй, — сказал он. Я не услышал в его голосе радости или хотя бы дружелюбия. — На государственную службу поступил?

— Откуда вы знаете?

— Наши тамтамы хоть и негромки, но надежны. Ну, заходи, заходи... коль уж приехал.

И мы вошли в хату, которая снаружи была обычной мазанкой, с подслеповатыми окошечками и завалинкой, утепленной стеблями кукурузы и соломы, а внутри представляла таинственное жилище капитана Немо. Белые стены прикрывали полки с книгами и всякой помещичьей утварью, которую Сагайдачный умудрился сохранить, несмотря на то, что через Грушевый валами прокатывались огненные, запомнившиеся Полесью годы, от семнадцатого до сорок четвертого их насчитывалось до десятка; одно восстание кулака Штопа чего стоило — избы вспыхивали легче спичек, спички-то были никудышные.

Собранные в тесную мазанку, поставленные на книжные, из грубых досок полки, на узкие подоконники, развешанные по беленым стенам все эти бра, складни, вазочки, статуэтки, ножи для разрезания бумаг, барометры, ножницы для свечного нагара, бронзовые будды, длинногорлые бутылки производили сильное впечатление на новичка, и многие мужики и бабы, впервые попав к Сагайдачному, начинали креститься: все вокруг блестело и сверкало, как в храме. Старорежимная эта утварь в деревенской жизни была совершенно бесполезной — цацки, как говорили соседи Сагайдачного. Но хозяин берег свое добро, очевидно, оно было дорого ему как память об иных временах.

Я поставил пулемет неподалеку от окна, из которого хорошо просматривалась улица, снял шинель, утяжеленную парой гранат, и уселся, следуя жесту Сагайдачного, в драное кресло с высокой спинкой.

— Ну-с, так что у тебя, Иван Николаевич? — спросил Сагайдачный. — Ведь ты на этот раз по делу?

— Почему вы так думаете?

Сагайдачный хмыкнул и принялся прикуривать от «катюши»... Было как-то странно видеть в этой хате солдатское зажигательное устройство с кремнем, трутом и куском напильника.

— Потому что, милый друг, — сказал он, — те-

перь ты не придешь для душевной беседы, ты на службе!

Он наконец разжег свою самодельную тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Можно было подумать, что он курит не жутчайшую крестьянскую махру, а какую-нибудь там «Герцеговину-Флор».

Мне нравился Сагайдачный. Мы были классово чуждыми людьми. Мой дед, трудовой крестьянин, занимался извозом, корчевал леса под Глухаркой, а Сагайдачный принадлежал к «бывшим». «Бывших» я привык презирать еще со школьной скамьи, а точнее, еще раньше, с голоштанного детства. Но к Сагайдачному это не относилось. И как хорошо было сидеть в высоком драном кресле, среди книг и всякой феодально-помещичьей дребедени и слушать чуть дребезжащий голос хозяина дома! Здесь забывались все тяжелые хозяйственные заботы, все мелочи.

Но сегодняшняя наша встреча, я чувствовал, пойдет вкривь и вкось...

— Человеку моего возраста приятно, даже необходимо проецировать свои знания и свой опыт на чистый и восприимчивый экран, — сказал Сагайдачный. — Но теперь... ты стал чем-то вроде милиционера, да? Страж порядка?

— Да, — сказал я, вздохнув и почему-то почувствовав себя виноватым. — Выходит, так.

Я посмотрел на фотографию за спиной Сагайдачного. Там была изображена красивая молодая женщина в соломенной буржуазной шляпке. Он давно уже стал стариком, Сагайдачный, и череп его был гол, а она улыбалась там, на фотографии, вечно молодая. Она оставалась моей сверстницей. «Интересно, — подумал вдруг я, — если бы она неожиданно ожила, о чем бы они говорили?»

— А знаешь, чем ты мне нравился всегда? — спросил Сагайдачный. — Способностью не склоняться к стереотипам. Ведь я, человек в пенсне, для вашего поколения странная, даже подозрительная личность, не правда ли? Но ты не веришь внешности, ты хочешь заглянуть вглубь. В принципе это черта исследователя. И я подумал: вот сын деревни, на которого стоит обратить внимание! Извилины его пока еще заполнены самыми

первичными сведениями, но они извилины, а не прямые линии, как у многих. Может быть, из этого пария получится толк. Но теперь ты на службе, ты страж порядка. Ты выбрал не лучшую из дорог... Обидно!

— Ничего не обидно! — рассердился я. — Так надо было.

— Надо, — усмехнулся Сагайдачный. — Какое великолепное словечко.

Он осторожно затянулся, опасаясь сжечь тоненькую папироску одним вдохом.

— «Старайся иметь досуг, чтобы научиться чему-либо хорошему, и перестань блуждать без цели», — процитировал Сагайдачный. — А ты блуждаешь. Ты спешишь поработить себя низменной службой.

— Это что, Ренар? — спросил я.

— Марк Аврелий, — ответил он. — Тебе следовало бы прислушаться к этим словам.

— Сейчас некогда, — сказал я.

— Ну ладно... — он вздохнул. — Служи. Старайся. Но ты так и останешься полуобразованным человеком. Стандартным произведением своего века. Это страшно. Лучше думать, что не знаешь ничего, чем полагать, что знаешь много. От полужнания рождаются всякие неприятности, — он усмехнулся. — Барбароссу можно спутать с бабirusсой, а это совершенно разные вещи, потому что Барбаросса — император, а бабirusса — свинья с острова Целебес... Может быть, ты всерьез решил, что десятилетки, которая позволила тебе немного оторваться от села, вполне достаточно. Ну ладно...

Он положил окурок в медный, позеленевший цветок лотоса. Окурок был не больше пульки от малокалиберки.

— Рассказывай, зачем приехал!

Я подумал: сколько человек до меня сидели вот в этом кресле и изливали перед Сагайдачным душу? Они приходили сюда как в нейтральную страну, чтобы выслушать мнение человека, свободного от страстей и мелких дел, засоряющих ум. До войны были слухи, сюда наведывался сам грозный Пентух, председатель райсовета...

Говорили, что Сагайдачный появился в нашей глухомани вскоре после гражданской войны. Что привез он на нескольких больших, запряженных волами возах

книги и имущество, а до того был мировым посредником где-то в более обжитых местах, в Кролевце, что ли... Мировой посредник, как мне объяснили, в давние времена занимался улаживанием всяких земельных споров, которые можно было не доводить до суда.

Домишко Сагайдачного в Кролевце во время гражданской сожгли, а молодая его жена, из какого-то старинного, знатного рода, не перенесла голодухи и тифа. Вот он и приехал к нам в леса искать тишины и одиночества и поселился на хуторе Грушевом, как на острове.

Нашим полешанам Сагайдачный пришелся по душе. Стали ездить к бывшему посреднику за советами. Просили рассудить, разъяснить. Если надо было растолковать, законно ли «прирезали» соседу четыре сотки на огородах, или написать кассационную жалобу, или выяснить, кто такой Черчилль, и правда ли, что он незаконный сын кайзера Вильгельма и поэтому не хочет открывать второй фронт, шли к Сагайдачному. Установили свою таксу на прошения, заявления и советы, платили натуральным продуктом — салом, яйцами, мукой. Сам Сагайдачный ничего не требовал за помощь, но мужики, народ трезвый, понимали, что жить-то человеку надо.

Звали Сагайдачного по-старому мировым посредником. Это стало чем-то вроде деревенской клички. Постепенно Сагайдачный заслужил репутацию праведника. Его отшельническая жизнь и дельные, спокойные советы привлекали людей. А главное, он умел слушать. Казалось бы, чего особенного — сиди, наставив уши, и молчи, когда другой говорит. Но тот, другой, он сразу ощутит, слушаешь ты или нет. Тут дело не в ушах. Тут нутром надо слушать, воспринимать чужую жизнь как свою. Любить и уважать надо человека, а его не всегда хочется любить и уважать.

Сагайдачному несколько раз предлагали поступить на службу, но он отказывался. Он предпочитал отшельническую жизнь и славу праведника, беспристрастного судьи. Между приглашениями его несколько раз арестовывали для проверки, тут, конечно, бритая наголо голова и пенсне играли свою роль: уж больно странный для наших мест облик. Увозили Сагайдачного на телеге, а возвращался он пешком, исхудавший. Кончилось это неожиданным решением райисполкома, разрешавшим

гражданину Сагайдачному содержать для личных нужд лошадей.

О себе Сагайдачный говорил, что он стоик. Я думал когда-то, что стоик — это тот, кто твердо стоит на ногах, когда его бьют. Крепкий духом и телом человек. Физически под это определение Сагайдачный не подходил, но дух его был закален.

Говорили, когда в лесах хозяйничала кулацкая банда Штопа, сам главарь предлагал Сагайдачному почетную должность при себе. Вроде идейного вождя. Сагайдачный отказался, и его побили. Здорово побили. Вот тут-то он и показал себя стоиком и в физическом смысле: выжил. Затем какие-то загадочные сторонники Пилсудского, желающие распространиться «от моря до моря», предлагали бывшему мировому посреднику переехать в панскую Польшу и там возглавить какое-то движение. И опять Сагайдачный показал себя стоиком. Наконец, гаулейтеру Коху доложили о Сагайдачном, популярной личности, якобы тяжело пострадавшей от Советской власти. На Грушевый хутор, преодолев с помощью полицейского батальона все гати и броды, прибыл «опель-адмирал». Посланник гаулейтера вел с Сагайдачным беседу на немецком языке. Старика предлагали высокий пост. Когда «опель» уехал, полиция избил Сагайдачного. И опять-таки он выказал себя стоиком.

После случая с Кохом слава Сагайдачного как страстотерпца, неподкупного и беспристрастного человека распространилась на все Полесье.

Так вот и жил мировой посредник на хуторе Грушевом со своей Марией Тихоновной, которую многие помнили красавицей Марусей. Она пришла к Сагайдачному, когда ей было девятнадцать, а Сагайдачному — за пятьдесят. Пришла якобы в ожидании несметного богатства, которое откроется ей после смерти мужа. В ту пору ходили слухи, что Сагайдачный хранит где-то клад, фамильные драгоценности.

Но Маруся ошиблась. Хилый Сагайдачный и не думал умирать. Не оказалось и клада. Книжки да безделушки — вот и все были сокровища у мирового посредника. И Маруся состарилась вместе со своим старым мужем, потеряла молодость и красоту и смиренно вела домашнее хозяйство.

Я обо всем рассказал Сагайдачному. Об убитой козуле, о Штебленке, о Малясах, которые о чем-то умалчивали, и о Семеренкове, разговаривавшем так, словно я держал его под прицелом, и об Антонине в ее неизменном черном платке, и о Горелом, бывшем ветеринарном фельдшере, что любил вешать людей на пружинящем кабеле, и о Варваре, «понимающей себя».

Я рассказывал Сагайдачному обо всех событиях, начиная с того дня, когда мне вручили карабин № 1624968, и старик слушал внимательно, экономя вторую тоненькую папироску на затычках, а глаза мои были беспокойны: я видел то Будду, который сидел, скрестив ноги и заслонив корешок книги с каким-то длинным французским названием, то печальные очи богоматери в тройном складне, то глиняную статуэтку католического, польского Христа с терновым венцом на голове, где тернии торчали, как штыки, и деревяного идола в углу — бесформенное лицо его пересекала глубокая трещина, наверно, это был какой-нибудь Дажь-бог или Перун, то гравюру с богом солнца Ра, крайне мне несимпатичным из-за сходства с фашистским орлом... Почему-то это обилие богов, словно слетевшихся в Грушевый на какое-то свое собрание, смущало меня и сбивало с толку, мешало говорить.

Так что же мне делать, спросил я Сагайдачного. Бандиты рядом, люди боятся их, и кто-то кормит этих бандитов, приветит их, а я ничего не могу придумать. Где искать ход к Горелому? Через кого и как? Я честно признался в своей бессилии.

— Плохо, — сказал Сагайдачный.

— Плохо, — согласился я.

— И ты хочешь, чтобы я принял твою сторону, то есть сторону одной из сторон — извини за тавтологию.

— Пожалуйста, — сказал я. Я совершенно забыл, что значит тавтология, но готов был извинить Сагайдачного за что угодно, если бы он решился принять мою сторону.

— И с этой минуты я должен перестать быть Сагайдачным. И стать верным помощником власти.

— Да, — сказал я. Я уже понимал, куда он клонит.

— Ты ошибся, — сказал он. — Ты, видимо, не понимаешь, почему я приехал сюда, на Грушевый хутор. Чтобы обрести свободу! Независимость! Почему-то моя свобода не нравилась. Ее пытались отобрать. Мне угрожали, сулили блага, льстили и даже... э... воздействовали. Никто еще не сумел меня уговорить. Иным мне было легко отказывать, иным тяжело. Тебе — тяжело.

— Я прошу только совета.

— Потеря независимости всегда начинается с малого. Милый Иван Николаевич... Думаешь, они мне симпатичны, твои бандиты? Но... Ты молод, и тебе кажется, что страшнее кошки зверя нет. Да я не таких бандитов знаю! Из прошлого и из настоящего. Они не на единицы ведут счет жертвам — на сотни тысяч. На миллионы... Ты и не подозреваешь, какие существуют преступники! От Суллы до наших дней... Что ж мне, на старости лет изменять всю свою жизнь из-за какого-то ничтожного Горелого? Комар, муха!

— Это все сложно и общо, — сказал я. — Передо мной явные, живые бандиты. И что могу, я должен сделать.

— Н-да, — промычал старик. — «Узнаю коней ретивых»... Прошу тебя, Иван Николаевич, не надо меня мобилизовывать. Приобщать! Мне так хорошо жилось до этого! Я слабый, немолодой человек, во мне нет твоей энергии... и убежденности. Ты служишь одному богу, я многим и никому. Эти божества, которых ты рассматривал, исключают друг друга. Но у меня они все собрались. Никому не хочу отдавать предпочтения. По мне — все достаточно плохи и достаточно хороши. Служа этим добрым богам, люди сделали столько зла!.. У тех, кто с Горелым, кстати, тоже есть свои боги. Они отнюдь не считают себя бандитами.

Теперь я понял, почему меня смущало обилие богов. Ведь бог — это для кого-то символ, главная идея, может быть, смысл жизни. И здесь, среди исключających друг друга идей, ни я, ни кто-либо другой не мог чувствовать себя уверенно. Все становилось зыбким, расплывчатым, а то, что еще недавно казалось единственно важным, вдруг словно иссушалось: ты входил сюда с живой страстью, а она вдруг превращалась в чучело с глазками из стекла.



— Эх, ты должен был ехать в университет! — сказал старик. — Хватит с тебя. Навоевался... Побереги себя!

«Он совершенно не похож на Варвару, но рассуждает так же, — подумал я. — Только Варвара — она от «зем-ли» смотрит, а Сагайдачный — с высоты всех этих Кришн и Зевсов, с высоты богов. Как же объяснить ему все?»

— Знаешь, почему я не люблю железные дороги? — спросил Сагайдачный. — Из-за надписи «вагон оборудован принудительной вентиляцией». Слово «принудительный» всегда вызывает у меня дрожь. Люди хотят принудить друг друга к чему-то. И все начинается с малого...

Он усмехнулся. Не хотел заканчивать разговор строгим отказом. Губы его вытянулись в две тонкие ниточки, и к маленьким стеклышкам пенсне стянулись тонкие морщинки. Я понял, что за время наших прежних бесед успел привязаться к этому человеку, к Кашею с тыквообразной головой. То, что я испытывал сейчас, было не просто разочарованием от очередной неудачи, а болью. Слово от измены близкого друга. Эх, Дубов, встречу ли я еще таких людей, как ты?

— Ты знаешь заповедь, позаимствованную у Марка Аврелия: «Нигде человек не чувствует себя спокойнее и беззаботнее, чем в своей душе...»? — сказал Сагайдачный. — Так оставь мне душу. Оставь спокойствие.

В его голосе звучала искренняя просьба, даже мольба. Он опасался моей настойчивости. «Ладно, — подумал я. — Будем справляться сами. Что ж делать... Он явно что-то знал, старик. Все что-то знают, но молчат. Одни — из трусости, другие — из принципиальных соображений».

— Не старайся переделать мир, Иван Николаевич, — вздохнул Сагайдачный. Стеклышки его пенсне сияли, как две ледышки. — Где-то латаешь, а где-то рвется. Те, что задумали великое переустройство мира, хотели добра людям... Но в больницах не стало лекарств, а связь с городом оборвалась, поезда перестали ходить. И я не успел довести ее до больницы. За что же она оказалась в ответе? За что? А?

Он не поворачивался, он смотрел прямо на меня, но я видел за его спиной пожелтевшую фотографию.

Сколько ей было лет, двадцать? Какие широкополые шляпки носили тогда!

— Я поеду, — сказал я.

— Будь осторожен, — сказал Сагайдачный. — Здесь места злые.

Я взял пулемет и выглянул в окно. Улица была пуста, но, перед тем как выйти во двор, я взвел затвор и поставил его на предохранитель. Дубов учил: «Самое главное для разведчика — это умение войти и выйти из дома...»

Я рывком распахнул дверь и выскочил на крыльцо, удерживая тяжелый МГ в горизонтальном положении.

Мария Тихоновна оторвалась от ступки, взглянула на меня, на пулеметный ствол и снова взялась за толкачик.

Я уложил пулемет под попону и взнуздal Лебедку, которая все еще дожевывала клок сена. Сагайдачный вышел на крыльцо.

— Бандюги могут дознаться, что я к вам заезжал, — сказал я. — Так вы скажите, что я расспрашивал, а вы промолчали. Оно и верно... Поверили бы только!

Сагайдачный улыбнулся. Он снял пенсне осторожно, как стрекозу с ветки, и потер сухим, острым пальцем две красные ямочки на переносице.

— Они поверят, — сказал он. — За двадцать пять лет, что я в Грушевом, я еще никому не солгал, и это все знают, даже бандиты. За меня можешь не волноваться.

Он проводил меня, идя рядом с телегой, к крайней хате, окна которой были крест-накрест забиты жердями. Я знал, что Сагайдачный еще никого не провожал к околице.

— Уезжай, Ваня, — сказал он на прощанье. — Сошлись на здоровье. Я дам тебе письмо к профессору Чудинскому в Киев. Мы переписывались по поводу его предисловия к Древсу. Тебя примут на исторический. Поверь, у тебя есть будущее. Станешь ученым, поднимешься над всей этой злой, ненужной суетой!

«Если я вот так буду без толку метаться, бандиты меня, в конце концов, пристукнут, — подумал я. — Историческая наука осиротеет, а история ничем не обогатится».

Я поудобнее положил пулемет, так, чтобы можно было повернуть его в любую сторону. И нащупал гранаты в карманах. Далеко, где заброшенная пашня сходилась с небом, стояли круглые яблони-дички, а там уж и лес...

Пока я подъезжал к дичкам, я видел сверкающую под сентябрьским солнцем голову. Пенсне тоже блестяло. Сагайдачного никак нельзя было брать с собой в разведку. За полторы версты его выдавал этот двойной блеск.

— Ну, пошла! — крикнул я Лебедке, когда мы переправились за яблоневые деревья и хутор скрылся. — Хватит разговоров!

17

Лебедка недаром считалась кобылой с придурью. Она рванула сноповозку так, что пыль взметнулась за острием «лисицы», которая торчала из задка телеги, словно пушка. Я ухватился одной рукой за тележную грядку, а другой пытался одновременно удерживать и вожжи, и пулемет, который подпрыгивал на сене.

— Давай-давай! — кричал я.

После тихой хаты Сагайдачного, после немой беседы со спокойными, сдружившимися в Грушевом хуторе богами и пережитого разочарования мною овладела жажда деятельности, движения, и Лебедка, казалось, поняла это.

Березняк с его камуфляжной пестротой, и алый сосновый бор, и фиолетовая пена вереска — все пролетит, прогрохочет у вихляющих колес. Давай, фронтовая лошадь, жми! Рядом со мной МГ, и круглый толстый, как бочонок, диск приставлен к нему, и две гранаты в карманах шинели. Пусть бы они вышли навстречу, пусть!.. Все бы тогда разрешилось, не осталось бы ничего невыясненного. Драться так драться!.. Возможно, нигде человек не чувствует себя спокойнее, чем в своей душе. Возможно! Но все-таки в душе не укроешься, как в блиндаже. Нет, есть высшее спокойствие — злое, стреляющее, грохочущее спокойствие боя. Когда все определено, все четко: враг и ты, и больше никого. Знает ли старик о таком спокойствии?

— Давай-давай, Лебедка! Жми! — И лошадь, ста-

раясь, неуклюже, но резво била копытами в полотно лесной заброшенной дороги. Я нагнулся на миг, чтобы поправить пулемет, и, подняв голову, увидел впереди человека. Он брел как будто в задумчивости, ничего не слышал и не замечал. Я видел мешок на его спине. Это что, живая баррикада? Не буду же я стрелять в спину незнакомого мне человека! Мне придется придержать коня. Остановиться... Может быть, они построили ловушку?

Лебедка нагоняла его.

— Э-эй! — закричал я пешеходу. — Эй, ты! Обернись! Пентюх!

Я многому, оказывается, научился у бабки Серафимы. Я обзывал этого бредущего по колее человека так, что он должен был взвыть от оскорбленного самолюбия. Но все безрезультатно.

В трех шагах от человека Лебедка остановилась. Она не решилась его сшибить. И тут я облегченно вздохнул и разжал пальцы, вцепившиеся в рукоять МГ. Над мешком возвышалась знакомая рваная солдатская шапчонка и густая шевелюра, похожая на ком свалявшейся пакли.

— Гнат! — крикнул я. — Ты опять на моей дороге? Он обернулся и, увидев меня, засмеялся, пропел:

Они свадьбу сыграли, и было там чего пить,
Они ночью переспали и почали добре жить.

— Садись! — сказал я ему. — В дороге допоешь. Хотя нет, погоди!

Я осмотрел его мешок и достал оттуда два снаряда. Отнес их в сторону. К сожалению, мне нечем было их подорвать, чтобы показать Гнату, какой голосок у его связанных медными путами поросят.

— Поехали!

Я положил пулемет на колени к Гнату, велел сидеть смирно, встал и потянул вожжи. Лебедка дернулась, но при этом как-то нервно застригла ушами. Она пошла чуть боком, косясь в сторону и всхрапывая. Я посмотрел направо и увидел их.

Их было четверо, они стояли в кустах ольховника, так что только лица смутно белели в тени. На одном была желтая кожаная куртка. Какое-то неясное воспоминание мелькнуло в моей голове при виде этой куртки,

но оно тут же исчезло, так и не успев проявиться: не до воспоминаний было.

Пулемет по-прежнему лежал на коленях у Гната. Но дурачок успел привалить его сверху тяжелым мешком. Впрочем, я все равно не успел бы поднять МГ и прицелиться. У всех четверых наверняка были наготове автоматы. Я не видел оружия из-за листвы, но стволы, конечно, были направлены в мою сторону. До этих, четверых, в ольховнике, было метров пятьдесят. Они стояли и как будто выжидали. Чего?

— Но. Лебедка! — сказал я как можно более спокойным голосом и дернул вожжи. Четыре белых пятна светились в ольховнике. Они постепенно отплывали назад. Теперь Гнат прикрыл меня телом. «Если они начнут стрелять, то неминуемо срежут его», — подумал я. Вот уж кто ни при чем! У меня мелькнула мысль прилечь на сноповозке и, таким образом, оказаться за широкой спиной Гната, как за баррикадным кулем с песком. Удобно было бы стрелять. Пожалуй, я успел бы достать МГ, хорошо уложить и подстрелить всех четверых на такой дистанции. Да, успел бы, факт. И они ничего не могли бы поделаться со мной, Гнат укрыв бы...

Но я продолжал стоять на сноповозке, Гнат улыбался, напевая что-то себе под нос. У меня было такое ощущение, будто на спину кто-то повесил мишень с большущим черным кругом — «десяткой». Еще пяток метров, еще.. Ну, теперь они уже не будут стрелять. Поздно. На такой дистанции из автомата уже не попасть.

Фу ты, черт. Я сел наконец на тележную грядку. — «Она вышла у садочок, у садочок груши рвать», — пел Гнат.

— Везет тебе, — сказал я. — И при немцах ты уцелел, и со снарядами тебе везло, и сейчас тоже... Вот черт. А ведь я мог бы их подцелить, Гнат! Ух ты, куль с песком!

— Хе-хе-хе-хе! — рассмеялся он.

Я хлопнул его по плечу. После всего пережитого на меня напал приступ общительности и дружелюбия.

— Ну, живы, Гнат? Сдрейфили они, а? Сдрейфили! Ух ты, куль с песком.

Он смеялся, открыв редкие крупные зубы.

Я достал хлеб, головку чеснока, сало.

— На! — сказал я Гнату, переламывая горбуху.

Но Гнат отрицательно помотал головой. Он даже не смотрел на сало. Он был сыт...

— «Она жито добре жала, девка справная была», — пел Гнат.

— Ну и ну, — сказал я. — Тебя что, накормили в лесу? Или кореньями питаешься?

— Хе-хе-хе! — рассмеялся Гнат.

— Дурак чертов! Ешь!

Он лениво взял половину горбухи.

— «Девка справная была!» — Гнат, с набитым ртом, промывал этот куплет и, как испорченная пластинка, повторил: — «Девка справная была!..»

— Чего они не стреляли? — спросил я у Гната. — Чего они вообще торчали в этих кустах? Не вышли навстречу?.. Запросто они могли бы уложить нас на этой сноповозке и отправить с Лебедкой в село...

— Хе-хе! — ответил Гнат. — «Воны свадебку сыграли...»

Его мысль текла по неизвестному мне руслу, вдали от этой лесной дороги, от бандюг. Он пел с набитым ртом. Он был сытым и счастливым человеком в этом голодном, неустроенном мире. А я никак не мог насытиться. Перебитые осколками нервы в глубине тела, должно быть, все еще мелко дрожали. И я подбрасывал им куски ржаного хлеба, едва успевая прожевать, как приманку.

От Семенова урочища, засаженного капустой, открылась Глухарка. Дымил гончарный заводик, и трубы его перечеркивали красное заходящее солнце. Деревенка медленно плыла за своим буксиром к закату небу. Сизые капустные гряды, похожие на волнуемое море, еще более усиливали картину. Я почувствовал волнение, как будто вернулся из бог весть какого дальнего путешествия.

Фигурка человека, бегущего навстречу через кукурузное поле, где торчали огрызки стеблей, поначалу показалась мне смешной. Человечек спотыкался и подпрыгивал на неровностях. Через минуту я узнал Попеленко. В руке у моего приятеля «ястребка» был кара-

бин. Я всполошился. Человек с оружием в руке может бежать только по двум причинам: либо он отступает, либо наступает. Наступать на сноповозку Попеленко было ни к чему. Значит, он спасался бегством. Я решил, что на Глухарку напала вторая группа бандитов. Хороший получался денек...

— Ну, чего там? — крикнул я Попеленко.

Он отдышался.

— А я уж хотел на хутор бежать, — наконец выдохнул он. — За вами, товарищ Капелюх!

— Да что случилось?

— Ой, ну и дела! — жалобно сказал Попеленко. — Попадет небось от начальства! Это ж надо, надо — и как раз под Глухаркой. Нет чтобы под другим каким селом — шлях-то чималый! *

У меня отлегло от сердца. Бандитов в селе не было. Иначе мой подчиненный не думал бы о начальстве. Когда бежишь от пуль, страх перед начальством — дело десятое.

— Попеленко! — крикнул я. — Выплюнь галушку изо рта!

— У меня нет галушки! — удивился «ястребок».

— Тогда ясным и четким языком доложи обстановку!

— Коняка в Глухарку прибежала, — сказал Попеленко. — Притащила бричку. А в бричке товарищ Абросимов. Убитый да замордованный. Бандерами, гадами! И надо ж — чтоб в наше село...

— Какой Абросимов? — спросил я.

— Да тот, что хотел приехать с планом. Насчет борьбы с бандитами. А плана-то при нем нету! Что ж теперь делать, а?

И тут я вспомнил Абросимова. Его беленький воротничок навывпуск, пиджак с ватными широкими плечами и кожаную желтую курточку с белой проплешиной от ружейного ремня на правом плече. Как же это?.. «Замордованный». Ведь он же совсем мальчишка, неумышлениш.

— Садись! — крикнул я Попеленко, и он ввалился в телегу через грядку, как сноп. — И-но, Лебедка!

Я хлопнул вожжами, дернул, но на лошадь словно столбняк напал.

— Да разве ж она без кнута когда бегала? — спросил Попеленко все еще срывающимся голосом.

— А ты мне дал кнут? — крикнул я на него. — Ты же ее пожалел!

Я кинул ему вожжи и, приподняв пулемет, дал над головой Лебедки очередь. Меня тут же от рывка телеги отбросило назад, на Гната, так что железки в его мешке вонзились в спину, и мы понеслись. Стрельба возродила в Лебедке какие-то уснувшие страхи. Она как будто сбесилась.

Абросимов!.. Мальчишка в отцовской курточке... Так вот почему бандиты оказались на Мишкольском шляхе. Они возвращались с Ожинского шляха прямоком, через лес. Подстерегли Абросимова, сделали свое дело и возвращались к УРу через старую Мишкольскую дорогу. Ох, если б я знал, чья кожаная курточка желтела сквозь ольховник, я бы все-таки взялся за МГ! Меня мотало на сноповозке из стороны в сторону, Гнат смеялся, полагая, что мы с Попеленко затеяли скачку, чтобы повеселиться.

* Чималый — немалый (укр.).

3

глава



1

Мы влетели в Глухарку с таким грохотом, что толпа, собравшаяся в центре села, у брички с убитым Абросимовым, расступилась, едва увидев сноповозку. Попеленко откинулся назад, натягивая вожжи, но тут, к счастью, у нашей телеги лопнула аварийная «лисица», обломок ее ткнулся в землю, задняя «подушка» вместе с колесами отскочила, сноповозка осела на кузов, и мы лихо затормозили в двух метрах от брички.

Я бросился к Абросимову. Он словно бы придремал на мягком сиденье коляски, склонив голову к плечу. Я видел только угловатый, стриженный под полубок затылок. «Ох, зачем он взял эту подрессоренную райкомовскую бричку, — подумал я, — лучше бы ехал на телеге и, кто знает, проскочил бы; ведь ездят же по этой дороге мужики. Но бричкой он сразу выдал себя — бричкой и кожаной курточкой».

Я обошел с другой стороны коляску и чуть отклонил голову Абросимова. Белый воротничок, выпущенный поверх пиджака с широкими ватными плечами, был весь в крови. И на лбу Абросимова была огромная рана с запекшейся уже, порывшейся кровью. Я вначале при-



глава

3

нял эту рану за выходное отверстие, но потом догадался, что это за рана.

Рука Абросимова была уже холодной, совсем холодной, и на ладони темнел порез. Я отвернулся и посмотрел на крестьян, столпившихся вокруг. У баб, как это всегда бывает в таких случаях, на лицах застыло выражение немого плача. Казалось, достаточно одного слова, жалостливого слова, и раздадутся причитания и вопли в голос. Но все молчали. Мужики смотрели угрюмо, исподлобья.

Я заставил себя взглянуть на порезанную ладонь Абросимова. Да, значит, он был еще жив, когда они высекали ему звезду на лбу. Он пытался ухватиться за финку. Интересно, гоготали они или делали свое дело молча? Вот сволочи. Палачи. Фашисты и прислужники фашистов... Носили полицейскую форму. Лебезили перед всеми этими гаулейтерами, гебитс-комиссарами, комендантами... Теперь толкуют о «вольной Украине»! Ведь ни один палач не назовет себя палачом или садистом. Ему хочется стать под знамя. Знамя оправдывает. Все, мол, прощается человеку под знаменем. Теперь

они — националисты, борцы за «самостоятельность», «вольность». Но по натуре своей они уголовники. Мародеры, садисты. Вот он, национализм. Самый настоящий фашистский национализм. Полюбуйтесь на лоб этого мальчишки!..

— Пистолет лежал в бричке, — сказал Глухский.

Он протянул мне ТТ. Губа у него дергалась, открывая крупные, выдающиеся вперед зубы.

— Сколько ему было? — спросил он. — Шестнадцать?

Значит, пистолет они оставили. Хотели показать, что им не нужен этот старый ТТ. Берите, мол, стреляйте. В дуле не было нагара. Я извлек из рукоятки обойму — в ней желтели патроны. Абросимов ни разу не успел выстрелить. Наверно, они подскочили неожиданно, ловкие ведь были ребята, поднаторевшие в лесном разбое. А может, он не сумел заставить себя выстрелить? Ведь у них были простые человеческие лица... Может, просто испугался? Ничего удивительного. В своем первом бою, когда я увидел фашистов, настоящих, живых, разгоряченных, в расстегнутых кителях, с разинутыми ртами — зубы блестели от слюны, — я тоже испугался. Но рядом были ребята. Они выручили. Поддержали. А этот мальчишка оказался один в самую трудную минуту жизни.

И тут я понял, почему Абросимов рвался в Глухарку со своим этим «планом помощи в работе» и «обобщенным опытом». Он напрашивался в друзья! Как это я сразу не догадался? Я был ему гораздо ближе, чем пятидесятилетний Гупан или молчаливый, бессонноглазый капитан-особист, который со всеми держал себя так, что чувствовалась дистанция. Я был его поколения, всего на четыре года старше, но зато успел повоевать, и в анкете у меня были перечислены всякие военные заслуги и медали и работа в разведке... Вот Абросимов и придумал «план помощи» и поездку в Глухарку: ему надо было встать вровень со мной, чтобы заслужить право на дружбу. Дурак я, ничего не понял. Я отнесся к нему легкомысленно, с пренебрежительностью старшего. Дурак я, эх, дурак! Мне бы ответить ему — не приезжай, не надо, лучше я сам прикачу... А что я сказал? Кажется, «валяй» или что-то в этом роде.

Наверняка он обиделся и решил доказать, что я зря отнесся к нему свысока.

— Плана-то, плана-то нигде нету! — сказал Попеленко. — Забрали. Что ж будет-то, а?

Он очень беспокоился, что теперь бандюгам станут известны тайны нашей стратегии. Какие Абросимов мог знать тайны?

Все молча смотрели на бричку. Как будто ждали чего-то. Если бы Абросимов был местный, давно бы уже бабы орали в голос. Но он приехал из райцентра, на начальственной поддрессоренной коляске, это отдаляло его от Глухарки.

Толпа состояла из серых и темных бабьих платков. Немногочисленные мужики растворились в этом фоне. Лишь белые головы семидесятилетних «близнюков» Голенух светились среди темно-серого, как свечи. Надо же — оба ровненько родились и ровненько догорели до старости. В наш-то век...

Я почему-то разозлился на молчащих глухарчан.

— Ну, чего гляделки вылупили? — крикнул я. — Не видели бандитской работы? Они катуют, бандюги, а мы все молчим... Ему шестнадцать лет всего было, мать учительница! И сестренка маленькая... Он из-за вас выехал, чтоб от бандитов защищать... Мальчишка, а не побоялся!

Первой всхлинула Серафима, как спичку кинула в порох, — бабы враз заголосили, а мужики еще крепче сжали зубы и пригнули головы. И мне как будто глотку стиснули, воздуху стало не хватать, глаза защипало. Бабы орали свое извечное: «Ой боже ж ты, боже, да на кого ж он матку покинул, да как теперь старой сыночка в последнюю дорогу провожать... да только вербочка теперь будет над ним хилиться * весь век...» Я вспомнил худенькую учительницу-мать. Она, наверно, и плакать не будет. Закаменеет — и все.

— Ты вот что, Попеленко, — сказал я своему подчиненному. — Надо немедленно сообщить Гупану, в район.

Попеленко засопел и оглянулся. Там, в толпе, все его семейство образовывало плотно сбитое ядро: от трехлетнего Мишки до Васьки Шмаркатого, владельца бес-

* Хилиться — клониться (укр.).

прицельной минометной трубы, все пришли. «Ястребок» почесал затылок.

— Сегодня Яцко из райкооперации едет в район, — сказал он. — Можно с ним передать?

— Можно...

Попеленко взглянул на окровавленный лоб Абросимова и облегченно вздохнул.

— Перенесем? — спросил я у Глумского.

Он молча кивнул. Мы подняли тело Абросимова с брички и понесли к моему двору. Кровь уже не текла. На простреленном пиджаке я заметил пятна копоти. Стреляли, видно, из «шмайсера», вплотную, и пороховые газы прожгли пиджак. Это уж они добились. «Смилостивились» под конец...

— Глумский! — сказал я, когда мы уложили Абросимова на выбитую землю во дворе. — Пойдешь с нами в УР на бандитов?

Он вытер потный лоб огромной своей темной ладонью. Подумал. От неправильного, бульдожьего прикуса, едва он начинал говорить, выдающаяся челюсть проделывала какие-то вращательные движения. Вообще-то он мог послать меня к черту. Он ведь был председателем колхоза и не отвечал за УР. Но я знал, что не Абросимова он видел сейчас перед собой, а сына Тараса.

— Пойду, — сказал Глумский.

«Такой если вцепится — не оторвешь», — подумал я, глядя на его челюсть.

— Пойду, — повторил он. — Винтовкой владею вполне.

Кого еще я мог взять с собой? Голенух? Маляса? Увечного Семеренкова?

Наконец-то я увидел Семеренкова, его длинную макушку.

Антонина стояла рядом с отцом, прижавшись к нему, придерживая за руку и как будто успокаивая. Она смотрела в землю, и край платка, нависая над лбом, как козырек, скрывал глаза. Семеренков казался очень напуганным.

Да, кроме Глумского, здесь не было ни одного человека, на которого я мог положиться. Я имел в виду мужиков. Женщин с решительным характером в Глухарке хватало. Варвара, к примеру, стояла десяти Ма-

лясов. Она стояла, подбоченясь, и глаза ее были сухими. Она не принимала участия в бабьем причитающем хоре.

«План помощи» в поимке бандитов я нашел через час в бричке. В последнюю минуту Абросимов сунул этот листок под сиденье. Он хотел спасти его. Листок сохранил рыжие отпечатки пальцев. Кровь на бумаге быстро рыжеет. Как я и ожидал, в плане не было ни одного точного указания. Абросимов излагал свои мысли по поводу того, как следует сплотить молодежь в Глухарке и окрестных селах: провести активную воспитательную работу, разоблачить вредную сущность националистов и в конечном счете добиться того, чтобы «земля горела под ногами бандитов». Был в записке и намек на то, что комсомольцев следует вооружить. Интересно, считал ли он себя вооруженным, Абросимов, имея в кобуре ТТ образца 1930 года? И кого я должен был вооружать — девок, подростков? Хороший он был парень, Абросимов, мечтатель. Мне тогда, в Ожиге, не понравился в нем избыток усердия. Ничего, жизнь его пообтерла бы, вставила бы нужные стекла в очки, научила соразмерять силы. Главное, из таких ребят не вырастают равнодушные люди.

Теперь никто никогда не узнает, что получилось бы из Абросимова. Мама, конечно, возлагала на него большие надежды. Хорошая у него мать, у Абросимова. Спокойная, умная. Как она мило, ободряюще улыбнулась, когда я просыпал за ужином сахарин. Можно подумать, этот порошок у них пудами лежал в погребе. Небось они по случаю гостя достали облатки, обычно же пили чай с маслянистым свекольным соком...

Я читал письмо Абросимова, сидя в бричке, а он лежал во дворе на подстилке из сена. Интересно, почему покойникам стараются подостлать что-нибудь, ведь им все равно — жестко или нет? Все уже разошлись, даже бабка Серафима ушла, грохотала в сарае и ругала Яшку на чем свет стоит. Во взбудораженном селе постепенно налаживалась обычная жизнь.

«Черт возьми, зачем столько было мучений и хлопот, — подумал я, слушая ругань Серафимы. — Ведь кто-то перевязывал этому Абросимову пуповину, тер височ-

ки, в ушки дул, кто-то его принял в этом мире, раздуывал, какое дать имя... Уйму стараний и любви вложили в парня, как и во всякого другого человека вкладывают; и вот теперь все разошлись по своим делам, смирились, а ведь в колокола надо было бы бить по всей земле, гудеть во все заводские гудки: не может быть большей несправедливости, большей дикости на земле, чем убийство мальчишки. Восторженного, наивного, полного любви к людям мальчишки».

И тут я почувствовал, что кто-то стоит рядом с бричкой, тихо-тихо стоит, так, что дыхание едва ощутимо. Синица — и та, наверно, сильнее дышит. Я оглянулся и увидел Антонину Семеренкову. Она прислонилась к бричке и не сводила взгляда с Абросимова, и лицо ее было бледным-бледным под черным грубым платком. Все ушли по делам, но Антонина осталась, и, занятый своими мыслями, я долго не замечал ее. Теперь она почувствовала, что я смотрю на нее, и повернулась ко мне. Она не спрятала по обыкновению глаза и не надернула платок на лицо: слишком уж была потрясена этой смертью. И мы смотрели друг на друга, мы ничуть не смущались, потому что думали не о себе, а о другом человеке, о том, который лежал рядом, у брички, на лбу которого была вырезана финкой красная звезда.

Мне показалось, мысли наши текли одна в одну, совпадая от слова к слову, и даже запятые сходились в этих мыслях... Я потянул руку и коснулся ее ладони, длинных, тонких пальцев. Ей было, наверно, тяжелее, чем мне. Она не умела мириться со смертью. Словно ребенок, она ждала чуда — вдруг все изменится, как в страшном сне, мальчишка с изрезанным лбом встанет, проведет ладонью по лицу, раны исчезнут, кровь смоется, как под ливнем.

Прежде мне страшно было смотреть на нее, на черный платок, я как будто чего-то боялся и стыдился, держался на расстоянии, но вот теперь руки были вместе, мы шагнули навстречу друг другу, мысли наши текли в строгом ладу. Мы остались одни в пустом, вытоптанном дворе, если не считать Абросимова. Он приехал, чтобы помочь мне, и он помог.

— Я пойду туда, в лес, — сказал я Антонине. — Недолго им хозяйничать!

Она ничего не ответила. Может, она и в самом деле была немая, как утверждали в селе? Но слышать-то она меня слышала. Она покачала головой отрицательно, как бы призывая меня не делать этого, и ее глаза стали еще шире от испуга. И я, следуя странному единственному току наших мыслей, вдруг понял: она знает о бандитах больше моего, она знает и боится.

Не отвлеченный страх был у нее в глазах. Она как будто вспомнила что-то, предупреждала. Что она могла знать? Где могла повстречаться с ними? Ухнуло у меня что-то внутри, упало вниз, как мина, которую бросаешь в черный минометный ствол, и жутко стало от предчувствия. А вдруг она, дуреха, однажды забрела в лес в поисках черники или ожины и там наткнулась на них, тех, что недавно смотрели на дорогу сквозь ольховник, белели плоскими лицами в разномполосице теней и света? У меня даже руки затряслись, когда я представил, что могло случиться в лесу.

Но пальцы ее, сильные, тонкие пальцы, что привыкли мять глину и работать с ангобами, сжали мою ладонь, чтобы она не дрожала, чтобы я не думал больше о том, что могло случиться в лесу на какой-нибудь черничной поляне. Потом она отпустила мою ладонь и пошла со двора не оглядываясь, медленно и строго пошла, и такая она была тонкая, незащитная и словно бы не здешняя, не глухарская, и такая грустная, что у меня все внутри перевернулось от любви и жалости.

«Вот ведь как бывает, — подумал я и посмотрел на свою ладонь, которую только что держали ее пальцы. — Вот ведь как бывает — рядом с тобой смерть и кровь, и впереди тоже, кажется, хорошего мало, а к тебе вдруг, как приступ боли, приходит внезапная любовь. Наверно, это потому, что война спрессовала нашу жизнь: час как год, и год как век. И любовь, если придет, то разом — не жидкой водицей по капельке.

И откуда она взялась, Антонина, чудо мое?»

2

— Ни в какой УР я тебе идти не разрешаю, — сказал мне Гупан.

Мы сидели в нашей хате, в жарко натопленной кухне, ели яичницу, а Абросимов лежал в сених на холод-

ке. Было это вроде поминок. Гупан и двое его милиционеров-автоматчиков выпили, лица их покраснелись. Начальник райотдела гнул алюминиевую самодельную ложку, он уже третью ложку доламывал, но бабка Серафима ему ничего не говорила. Да и черт с ними, с ложками, мы их сотнями отливали из немецких ящиков из-под мин... Гупан был здоровый мужик, он мог бы и кочергу сломать. С его приходом в хате стало тесно — как будто несгораемый шкаф внесли.

— Ни в какой УР я тебе идти не разрешаю, — повторил начальник райотдела. — С меня хватит Абросимова. Хватит самовольных геройств!

— Я не один пойду, — сказал я. — Со мной будут Глумский и Попеленко. Оружие у нас есть.

— Какое оружие?

— Такое, сами знаете. Подходящее. После войны сдадим.

— Не отпускаю я тебя в УР, — повторил Гупан. — Хватит с меня!

— Ну тогда дайте десяток «ястребков», — сказал я. — Ну хоть пяток. Только опытных. Бандитов там немного. Мы их выловим.

— Я знаю, сколько там бандитов, — сказал Гупан. — Человек десять во главе с Горелым. Думаешь, мы такие темные? Там, где надо, каждый бандит учтен на карточке.

— Так чего ж вы их не выловите? Или карточки легче составлять?

Гупан крикнул только, искоса поглядев на меня. Быть может, я для него был таким же неопытным, ретивым подростком, как для меня Абросимов?

Милиционеры безучастно слушали. Один из них ковырялся в круглом диске своего ППШ. У него, видно, заедала пружина. «Надо будет дать ему несколько рожков», — подумал я. — Зачем он носит с собой тяжелые кругляши? * В карман их не положишь, за голенище не сунешь».

— Он любопытная фигура, Горелый, — сказал Гупан, как будто между прочим. — Головастый! Это он предложил абверу создать отряд «под парти-

зан». Он и сам состоял в списках абвера... Хотя и вступил в отряды УПА *. Это, брат, стреляный воробей. Фашисты ему, Горелому, доверяли. Доверили ему с боевиками даже охрану транспортеров... Тех, что перевозили деньги... Да, видать, зря доверили.

— Какие деньги?

— Наши, советские. У абвера в УРе были тайные склады. Школа была для диверсантов. И деньги хранились. Наверно, для обеспечения агентуры. Или еще для каких-либо операций. По нашим сведениям, не один миллион они держали на складе. Горелый со своими подручными сопровождал последние бронетранспортеры. Наши самолеты их подожгли. Здесь, на окраине Глухарки. А Горелый уцелел!

Гупан развернулся ко мне всем корпусом, так что табуретка закричала. Глаз начальника райотдела НКВД хитро блеснул.

— Есть сведения, что он обгорел при этом. Так что кличка его вполне оправдалась под конец... А если учесть, что после ранения в горло в бою с партизанами у него голосок стал писклявый, то никуда он от нас не денется с такими отметинами! При всей своей хитрости. Не уйдет он! Так что ты пока зря не рискуй!

— А вы не рискуете разве? — спросил я. — Два человека в охране — это что, надежно, да? И кругляш заедает. Пулемета не нашлось в районе?

— Не зарывайся, — сказал Гупан. — Дерзишь.

— А я в «ястребки» не напрашивался. Уж если вы меня взяли, дайте повоевать.

— Дам, — сказал Гупан. Он обернулся к Серафиме. — Бабка, — сказал он, — в кого у тебя этот байстрюк?

Не знал он бабки. Стоило ее только подначить. Она едва успела поставить на стол вторую сковородку яичницы со шкварками — милиционеры оживились, — как ее прорвало.

— Он байстрюк? — спросила Серафима. — Он не байстрюк... Он чертово отродье. Он же меня всю нервную сделал. Воевать он хочет! Чтob он свой пулемет проглотил, как мне эта война нужна! И вы тоже его

* Рожок — изогнутая обойма для автоматов ППШ, ППС. Кругляш — автоматный диск (разг.).

* УПА — так называемая «Украинская повстанческая армия», националистические вооруженные банды.

не лучше, — неожиданно закончила бабка. — Вы его взяли, как голубка, лаской, а придет время, погоните, как голубя, со свистом. Только в вас и толку, что галифе широченные, на три... хватит.

— Да, — сказал Гупан. — Теперь я понимаю, в кого этот байстрюк.

— В матку, — отрезала Серафима. — Весь в Изабелку! Та тоже была ветер в голове.

— Надоела людям война, — сказал один из милиционеров, чтобы смягчить впечатление, произведенное яростными нападками на начальника райотдела НКВД. Галифе у Гупана действительно были широки.

Но Гупан не обиделся.

— Узнаю Глухарку, — сказал он. — Сюда милиция и до войны не ездила. Боялась баб языкатых. А уж депутату каково было здесь отчитываться!.. Некоторые поседели от переживаний. Ты меня пойми, — повернулся он ко мне. — Ты что думаешь, я из хвастовства взял с собой только двух человек? Из геройства? Нет у меня людей! Все люди и все пулеметы остались в Ожине. Потому что — не для огласки будь сказано — банда Шмученки прорывается на запад. Двести восемьдесят человек, все обученные, и терять им нечего, понял? Мелкие села их не прокормят, так что есть опасения, что решат порастрасти Ожин с его магазинами... А людей у меня... В общем, немного у меня людей. И до твоего Горелого руки у меня не доходят. И чего он сидит в УРе, Горелый? — спросил он у самого себя, задумавшись. — Чего он ждет?

— Пока Советская власть рухнет, — рассмеялся милиционер. — От фашистов не рухнула, может, от Горелого не устоит.

— Какие-то у него есть соображения, — продолжал Гупан. — Горелый не дурак. Он бы мог влиться в банду Шмученки и постараться пробыть в Западное Полестье. Там бандеровцам вольнее. Но ждет чего-то...

— Может, зазноба держит? — спросил смешливый милиционер.

— Нет... В его положении не до зазнобы. Хитрый финик этот Горелый. — Гупан повернулся ко мне, сказал доверительно, полушепотом: — Есть у меня думка, что не случайно экипажи бронетранспортеров погибли, а Горелый уцелел. Видишь ли, националисты, бандюги

эти, хоть с фашистами дружбу водили, но тоже были себе на уме. И решили они, раз те уходят, прибрать денежки к рукам, для снабжения своих банд и агентов, которых пооставляли здесь... Похоже, что так... Очень даже возможно, что денежки у Горелого. Но почему он тогда засел возле Глухарки, ума не приложу. Может, после ожогов не поправился... Ведет он себя подозрительно тихо, в драку не лезет. Бережется!

— Да, тихо себя ведет, — я кивнул в сторону сеней, где лежал Абросимов.

— Ну, такого удобного случая бандиты упустить не могли, — сказал Гупан, помрачнев. — Против Абросимова они ничем не рисковали. Поиздеваться над комсомольским активистом — это для Горелого... Но в настоящий бой этот гад ввязываться не хочет, ты заметь! Иначе давно бы он навестил Глухарку... Видишь, даже два «ястребка» его пугают — не хочет получить пулю. Такое впечатление, что у него какое-то важное задание... — Он задумался. Добавил: — В общем, Иван, сиди в селе. Наладь как следует охрану и держись. Освободимся немного — от твоего Горелого рожки-ножки останутся. Он обречен. И исторически и фактически, это точно!

— Я вот был вчера у Сагайдачного, — сказал я. — Он тоже мыслит широкими масштабами. Вдаль глядит. А Абросимова убили.

— Знаю, что убили, — сказал Гупан резко. Ложку он все-таки доломал: в одной руке остался черенок, в другой коковка. — И мне, а не тебе к его матери идти, понял? Да что идти! Мне ее вызывать на опознание трупа...

— Чего там опознавать, зачем? — сказал я.

Милиционеры переглянулись. Видно, я задал дурацкий вопрос.

— Закон такой! — сказал Гупан. — А зачем мы столько бумаги исписали? Счет будем предъявлять... Как положено.

Я пожал плечами. На фронте мы никогда никакого опознавания не проводили. Кому счет-то предъявлять?

— Дай-ка, — сказал я одному из законников, тому, что все еще возился с пружиной. Я высыпал патроны из диска и, нагнувшись, достал из-за печки два рожка. — Возьми!

— Неплохо у вас с боеснабжением, — сказал Гупан.
— В наших лесах этого добра достаточно...
— У вас всего в лесах достаточно, — заметил милиционер. — В ваших лесах шесть глаз надо иметь. Пара наперед, пара набок, пара назад...

3

Ночью Гупан долго не мог уснуть, кашлял и ворочался, топчан мой скрипел под его тяжелым телом. Я тоже не спал. Мы с охранником улеглись на полу, где блохи устраивали дикие скачки и атаки. Охранник чесался, время от времени тыкал меня в живот и кричал: «Заходи слева!» Хорошо еще, что второму выпало стоять во дворе, на часах, а то бы, чего доброго, они стали командовать в два голоса. Милиционеры народ нервный: работа такая.

— Товарищ начальник, — сказал я Гупану, — все равно вы не спите. Ответьте мне на один вопрос.

Он ничего не сказал, только потянулся к кителю, висевшему рядом с топчаном. Звякнула о пистолет зажималка, вспыхнул огонек.

— Вот Горелый... и все они там, — продолжал я. — Что их породило? Я Горелого плохо знаю. Говорят, был он фельдшером, кастрировал кабанчиков... Ну хорошо, может, он какую-то злобу таил. А второй «наш» фашистский прихвостень — Крамченко — на ферме возил корма. Никто его не обижал. Дети в школу ходили... Все как у людей... Почему Горелый стал Горелым и его боятся и ненавидят? Неужели, если бы войны не было, он оставался бы фельдшером и я бы сейчас с ним раскланивался, может, встречались бы на свадьбе или крестинах, песни пели на пару. Не могу понять!

— Фашизм! — сказал Гупан.

Он был весь окутан дымом, как подожженный пароход. Могучие легкие с хрипом и свистом гоняли воздух. Это была машина, давно работавшая на износ. Ни сна ни отдыха у начальника районного НКВД, это уж точно. Охранник-милиционер, тот хоть беспокойно, с криками, но спал. И сон ему снился ясный, конкретный: гремел бой, надо было заходить слева.

— Фашизм? — переспросил я. Есть люди, которые обо всем имеют настолько краткие и ясные суждения,

что им достаточно слов-бирочек. Скажут — как гвоздь вобьют. Неужели Гупан из их числа? — Ну, ясно, фашизм. О чем тут толковать... Блохи вас не очень беспокоят? У нас жутко наглые блохи.

Он хмыкнул.

— Фашизм — явление сложное, — сказал он. — Я не какой-нибудь там философ, я не могу взять во всем объеме... У меня милицейская подготовка, ты уж извини.

Он повернулся ко мне — заскрипел рассохшийся топчан.

— Фашизм... Ты знаешь, конечно, что это самая мерзкая, лютая диктатура буржуазии... Без такой диктатуры с рабочим классом, с революцией империалистам не справиться! Вот они и хватаются за плетень. За топор! Давят всей силой, творят беззаконие. Расстреливают, вешают, бросают в концлагеря.

— При чем здесь Горелый? — спросил я. — Что он, империалист? Он коновал, сукин сын!

— Ладно, — буркнул Гупан. — Попробую растолковать. Тебе это нужно. Может, ты еще в милицию пойдешь служить — когда в «ястребках» нужды не будет.

Я хмыкнул. Представил себя в милицейской форме.

— Конечно, Горелому теория фашизма ни к чему, — сказал Гупан. — Она ему как козе энциклопедия. Но заметь одну штуку. Кто составлял опору Гитлеру, когда он рвался к власти? Штурмовики, всякий темный элемент. Почему? А им было выгодно примазаться к силе. К силе, которая не знает никаких ограничений. Взлететь на этой мутной волне. Тут перед ними, видишь ли, большущие горизонты открываются. Можно грабить и, видишь ли, быть под охраной этого беззаконного бандитского государства. Убивать можно, мучить, наживаться на чужом горе — и все идет в зачет, как заслуга какая, кумекаешь?

Он хрипло откашлялся.

— Извини, я тебя не обкурил окончательно?

— Ничего.

— Это я от блох. Может, не выдержат.

— Выдержат, — сказал я. — Я их дымовой шашкой уже морил. Кошка чуть не подохла... Вы продолжайте.

— Ладно... Я тебе упрощенно толкую, ведь образование мое коридорное, сам знаешь, как в песне — «са-

ма садик я садила». Так вот, фашизм, понимаешь, для этих элементов тем и хорош, что ставит на место законов силу. И каждый, кто поступает на службу такому государству, становится частичкой этой силы. Он как будто от имени государства решает, что выгодно и невыгодно. А на самом деле о себе в первую голову беспокоится. Действует, чтоб себе получше!

— Не отступать, хлопцы! — крикнул вдруг милиционер. — Слева заходи!

— Контуженный он, — пояснил Гупан. — В нашей ожинской милиции я сейчас самый здоровый: астма не в счет... И вот, понимаешь, Горелый увидел, что перед ним такое открывается, о чем он мечтать раньше не мог. Нутро у него было уголовное, мелкое, собственническое, но оно проявиться-то не могло, потому что наш советский рабоче-крестьянский закон его наказал бы... А тут... надо было только примениться к обстановке, стать частичкой большой силы! Теперь он мог мучить, убивать людей, отбирать добро — и все это ему шло в зачет, как полезное дело, понял? Он-то, конечно, садист по натуре, Горелый, садист и собственник, жаднюга, и вот для него фашизм как мед. Так фашизм подбирает себе подходящие кадры. Он, как магнит, мерзость отыскивает!

Гупан пригасил сигарку пальцами. Вот уж пальцы у него были! Просто взял тлеющий окурок и задушил его, даже не крикнул. Наверно, немало поработали эти руки, если обросли такой асбестовой оболочкой.

— Национализм? Шовинизм? Это Горелому очень кстати. Козырь! Теперь можно грабить и мучить белоруса за то, что он белорус. Еврея — потому что еврей... Схидняка* — за то, что родился по ту сторону Днепра... Он не фашист в полном объеме слова, Горелый, — он уголовник, бандит, грабитель, но в том-то и дело, что уголовник фашисту близкий родственник. Заметь: гончарню колхозную, то есть народную, общественную, Горелый прибрал к рукам! Уворовал ведь, так? Добра у арестованных нагребил кучу. Лошадей с племзаводов себе навез. Вот ведь как! Он и сегодня еще пробует власть держать. Не может согласиться, что фашисты

* Схидняки — у бандеровцев презрительная кличка жителей восточных областей Украины.

выплюнули его, как косточку от кавуна. Теперь он, видишь, в бандеровцы зачислился, в «идейные». Это ему как прикрытие для бандитизма. Но смысл-то его жизни один — беззаконие, произвол и лютая ненависть к Советской власти. Он, Горелый, хочет еще поцарствовать здесь, на что-то надеется! Заметь деталь: был Горелый у фашистов официальным лицом, начальником вспомогательной полиции, а как только фашизм сгинул и вернулась Советская власть, стал бандитом. Логично! Но поперек ему такие, как ты. Вот и выходит, что, стоя на страже советского закона, ты и есть наиважнейший борец с фашизмом, кумекаешь?

Я забыл про блох и про тлеющие в животе угольки боли, повернулся к Гупану. Что-то действительно раскумекивалось в голове, и моя работенка «ястребка» в маленькой деревушке под названием Глухарка вдруг стала приобретать какие-то иные очертания. В ней начал угадываться больший, чем я думал, смысл.

— У тебя почетнейшее дело, — сказал Гупан. — Защитить людей от бандюг-фашистов. И не просто защитить. Ты им всем своим поведением должен доказать, что наш советский закон силен, тверд и неподкупен. Людей здешних три года гнул фашизм. Внушал: кто силен, тот и прав. И все тут! А ты должен каждодневно убеждать их в другом, кумекаешь? Вот у тебя оружие — первый знак силы, превосходства над другими, а ты никогда не используешь эту силу во вред людям, из побуждений корысти, или из мести, или еще как... Потому что кто ты есть? Ты есть представитель Советской, законной нашей, народной власти. Так что не простое это «ястребковое» дело! Давай-ка теперь попробуем заснуть...

Он отвернулся к стене, так что топчан заходил ходуном. Милиционер еще раз саданул меня коленкой и приказал во что бы то ни стало заходить слева. Видать, контузило его, когда он справа заходил, вот он все и старался хоть во сне уйти от этой неисправимой неприятности.

— Товарищ Гупан! — сказал я. — А вы не могли бы мне дать какую-нибудь общую книжку про все законы? Чтобы понять суть?

— Суть-то ты знаешь, — пробормотал начальник

райотдела. — А книг много. Вот освободимся и займемся с тобой. Я тебя к грамотным людям свожу, что от меня толку-то? Я ведь из слесарей в НКВД пришел. Трудно мне все давалось... Но ты-то понял, что, борясь за закон, ты и есть наиважнейший боец с фашизмом, а?..

Табачный дым рассеялся, и снова запахло полынью. Я протянул руку, пащупал рядом оружие и улегся поудобнее, так, чтобы не слишком мне доставалось от лежащегося охранника. Тень постового проплыла по стене. Он держал автомат наготове, дулом вперед. Тревожная была пора, еще не для всех в наших краях наступил Час Закона.

...Ранним утром, когда матовый слой изморози еще покрывал траву и листву, Гупан со своими автоматчиками отправился в Ожин. В бричке с телом Абросимова сидел тот самый милиционер, который ночью призывал заходить левее. Глаза у него были сонные и веко дергалось. Гупан и второй милиционер ехали верхами, еще одна лошадь шла в поводу за бричкой.

— Так вот что, — тихо говорил, склонясь ко мне, Гупан, — ты попробуй разузнать, через кого могли просочиться сведения о приезде Абросимова. Сдается, не случайно они наткнулись на бричку. «Планчик» этот их взволновал. Очень мне непонятно, почему Горелый сидит под Глухаркой... Тут что-то определенно кроется!

И они быстро выехали со двора. Гупан спешил. Судьба Ожина, который мог оказаться на пути банды Шмученки, беспокоила его. Бричка мягко прыгала на рессорах. Абросимова они прикрыли старым рядном, но нога свесилась, и ботинок раскачивался в такт движению... Почему-то бандюги не сняли с Абросимова ботинок. При их лесной и болотной жизни в дело, наверно, годились только сапоги. Да и ботинок-то был худой, неумело прошитый дратвой по заднику.

4

— Ну вот, Попеленко, не разрешают нам идти в УР, — сказал я своему другу и помощнику.

Круглое курносое лицо «ястребка» отобразило скорбь и уныние. Хитрый был черт Попеленко!

— Ну что ж, товарищ Капелюх, начальству перечить

невозможно, — сказал он. — Начальник по всех печальник!

Мы шли по селу в полной боевой форме. При нас были и гранаты и подсумки, а Попеленко сменил свой карабин на отремонтированный автомат. Мы начали грозное ежедневное патрулирование, чтобы успокоить население, взбудораженное гибелью Абросимова. Вид двух мужиков, обвешанных оружием, должен был, по моему замыслу, вселить в односельчан чувство уверенности и спокойствия.

Стало жарко, с акаций сыпались прибитые утренником вялые листья.

— Вообще-то, хорошее дело — патрулирование, — сказал Попеленко. — Политически правильное... А мои сейчас редьку с огорода таскают. И телегу я еще не отремонтировал. Шкворень погнулся, придется к Кроту идти... Он, Крот, заломит цену.

Леса вокруг переливались всеми красками осени. Желто-зеленые волны подступали к «пяточку» земли, отвоеванному глухарчанами у деревьев. Мы были хозяевами небольшого островка.

— Попеленко, — спросил я. — Кому ты говорил, что к нам собрался ехать Абросимов?

— Никому!

— А ты припомни!

— Да никому... Мне Яцко из Ожинской кооперации передал. А ему сам Абросимов наказывал...

— А Яцко этот надежный человек?

— Яцко-то? Да уж полицаев он не любит, они у него брата убили. Не, Яцко надежный!.. Ну, а как он мне сказал, я подался к Варваре...

— Постой! — сказал я, краснея. Дурацкое это свойство — краснеть как мальчишка, пройдет ли оно когда-нибудь? — Откуда ты узнал, что я у Варвары?

— Насчет этого дела в Глухарке хорошо поставлена служба, — сказал Попеленко, ухмыльнувшись. — Кто куда ботиком скрип-скрип, а кто куда лапником шамшам... Уж чего-чего... а если кто зайдет к вдове, то люди знают даже, какие на его штанах пуговицы были...

— Ладно, брось болтать, — сказал я. — Ты про дело...

— Так вы ж спросили, я поясняю: сразу подался до вас, к Варваре!

— И никому ничего по дороге?

— Ничегошеньки. Что ж я, не понимаю?

«Товарищ Абросимов сообщает, что выезжает для помощи в поимке бандитов... — вспомнил я. — На лошади, просил передать...» Прозвучало это внушительно. Товарищ Абросимов из района, большой начальник, на лошади, выезжает ловить бандитов!.. Если бы гореловские дружки нас слышали, они бы переполошились и постарались бы товарища Абросимова не пропустить. Но бандиты не слышали этого сообщения. Его слышала Варвара... Варвара!.. Не стоило спешить с выводами. В конце концов Горелый мог наткнуться на брличку случайно.

— Попеленко! — спросил я. — А как ты относишься к Варваре?

— Да чего ж? — сказал он и, застенчиво крякнув, погладил автомат. — Ничего... С пониманием отношусь! Гладкая... В самый раз!

— Попеленко! — сказал я. — Когда ты наконец выплюнешь галушку изо рта?

— Откуда вы взяли, что у меня галушка? — удивился он. — У нас пшеничной муки-то нема и на понюшку, а вы — галушку!

— Так чего ж ты мямлишь? Я тебя не спрашиваю... ну, про это... Я тебя про другое спрашиваю. Политически!

— Про Варвару политически?

Он даже приостановился. Лукавый его нос был весь в капельках пота — нелегко таскать полное вооружение.

— С Горелым-то она была или нет?

— А... Ну, это дело прошлое, — сказал он. — Конечно, надо было бы всыпать ей горячих по... Так ведь и то надо понять — Горелый был парень в силе, в форме, при оружии... вот как вы! — закончил Попеленко. — Бабы это сильно любят!

Он знал, что начальству надо льстить, хитрый черт. Эх, не было у нас в Глухарке «губы», посадить бы его для перевоспитания.

— Ты что ж меня с полицаем сравниваешь? — спросил я.

— Так я ж по мужской части, а не политически, — он изобразил на лице испуг.

— Она его любила? — спросил я.

Попеленко пожал плечами и презрительно скривился, давая понять, что на такую глупую тему он, как серьезный человек, беседовать не намерен.

— Да ведь она слышала, как ты сказал о приезде Абросимова! Что ты, не понимаешь, о чем речь, дурья башка? — взорвался я. — Может, она поддерживает связь с Горелым?

— А! — догадался Попеленко. — Товарищ Капельюх, так вы бы мне ясно и объяснили, а то все наводящие вопросы задаете...

— Ну?

— Товарищ Капельюх, с чего бы она снова к Горелому в коханки подалась? Она баба умная, понимает... Когда он черную форму носил — другое дело... Не! Сейчас у него в кармане от коника * лапка... Да он еще на Семеренкову Нинку переключился. Перед ней как петух гарцевал. На Справном, бывало, въедет в село, а за ним охрана — чистый генерал фон фельдмаршал.

— Я тебя не про Семеренкову, — прервал я «ястребка». — Нинка про Абросимова не слышала.

— Гм, — Попеленко почесал затылок. — Ну что ж сказать еще насчет Варвары? Конечно, я ей не могу рекомендацию дать. Баба! Кто ее знает! Надо бы допросить... Полицаи были большие мастера допрашивать. Про родную маму расскажешь!

— Мы не полицаи, — сказал я. — Мы так не можем.

— Ясное дело, — согласился Попеленко. — Тут у нас слабость. Но политически правильно!

— Вот что мы сделаем, — сказал я. — Установим наблюдение.

— У нас в селе сейчас столько безмужних баб, что никакого наблюдения не надо, все друг за дружкой следят, — сказал «ястребок». — Баба без мужика лучший наблюдатель.

— Откуда в тебе столько мудрости, Попеленко? А если бы кто огородами прошел ночью, неужто уследили бы? И не обязательно лично общаться... Может быть «почтовый ящик», «дубок», понял?

— Какой «дубок»?

— Где оставляют записки. Условленное место.

— Это конечно, — сказал Попеленко. — Только ка-

* Коник — кузнечик (укр.).

кой Варваре толк через записки? Ей письменность ни к чему.

Мы поднялись к хате Малясов, откуда открылось нам все село, гончарный заводик и необъятность осеннего лесного моря.

— Установим ночное дежурство, — сказал я внушительно, как будто этот мой новый замысел не был следствием полного отсутствия четких планов, как будто он единственно возможным и кратчайшим путем вел к уничтожению бандитов. — Ты будешь незаметно дежурить в самой деревне, где-нибудь под хатой.

— Можно под своей? — спросил Попеленко. — Это ж близенько от Варвары!

— Можно.

Я оглядел окрестные поля и огороды. Господствующей высоткой поблизости, конечно же, был Гаврилов холм, который черным горбом вставал за нежной зеленой озами. Под старыми ивами на вершине холма виднелись силуэты крестов. К кладбищу вела узенькая дорожка. «Свозить к Гавриле» — вот как говорили глухарчане. С Гаврилова холма хорошо была видна Глухарка и все окрестные подъезды и подходы к ней.

— А я там подежурю, — сказал я, махнув рукой по направлению к кладбищу. — Оттуда хорошо видать. Если какого-нибудь связничка заприметим, мы его возьмем в клещи. Я отрежу от леса, а ты от деревни, понял?

— На кладбище пойдете? — спросил Попеленко, слегка отодвинувшись от меня. — Место нехорошее.

Я и сам знал, что нехорошее. Еще до войны, когда я приезжал на каникулы из девятого класса, здоровым уже лбом, мы с глухарскими ребятами поспорили, кто сможет пойти к «Гавриле» ночью. Известно было, что на холме по ночам бродит тень самого Гаврилы, огромного горбатого мужика в белой простыне, со светящейся бородой. «Как Глумский, только выше деревьев», — утверждали ребята. Никто из нас так и не осмелился тогда в одиночку пойти к «Гавриле».

Все это было очень давно. С тех пор мы насмотрелись кое-чего пострашнее, чем светящиеся бороды...

— Может, ты хочешь посидеть на холме? — спросил я у Попеленко.

— Щекотки боюсь, — серьезно ответил он. — Говорят, будто щекочутся они, мертвяки-то!

Я проспал до двенадцати ночи, до будильника, по сигналу которого включались жернова. Быстро и осторожно оделся, намотал по две пары портянок, чтоб не замерзнуть на Гавриловом холме, где всегда гулял ветерок. Свет луны из окна падал на подушку, и алые розочки на ситцевой наволочке казались в этом свете почему-то голубыми. В деревне вперехлест орали петухи.

Я нащупал на тумбочке несколько порошков белладонки, которые берег еще со времен госпиталя, на случай, если боль будет очень уж донимать, сунул в карман. Надел свою сержантскую франтоватую фуражку, а шапку положил на подушку и прикрыл одеялом; на некотором расстоянии ее можно было принять за голову спящего. Взял всю постель для лучшего впечатления. Не хотелось, чтоб Серафима, проснувшись среди ночи, заметила мое отсутствие и зря тревожилась.

Двери, смазанные ружейным маслом еще с вечера, пропустили в коридорчик без малейшего скрипа. Там я выпил свои порошки. Ендовка тоненько зазвенела о льдинку в ведре. Тепло сентябрьских дней возмещалось ночными холодами. Ушло лето, ушло...

Осторожно вынес МГ из сеней. В морозном воздухе от пулемета резко пахло смазкой и железом. Лунный свет был такой яркий, что резал глаза. Он воспринимался не сам по себе, а только тенями, которые отбрасывали на землю ветви деревьев и кустов, тычки плетня с висящими на них кое-где глечиками, проволока, натянутая во дворе для сушки белья. Тени отличались такой рельефностью, что я осторожно переступал через них, боясь споткнуться. Выйдя за калитку, я встал под старую, полувysохшую шелковицу и осмотрелся. Все село было точно присыпано белым фосфорическим порошком. Соломенные крыши, покрытые тонким слоем инея, утратили желтизну.

Было тихо-тихо, все спали. Только на гончарном заводике дымилась труба. Ох и ночь... В такую ночь лунатики, должно быть, толпами лезут по водосточным трубам наверх... Нет, все-таки удивительная штука — тишина.

Мне вдруг стало радостно. Я вспомнил, как пальцы Антонины коснулись моей руки, как мысли наши потекли

в лад, словно мы читали одну книгу. Что ж это было с нами?

От этой бешеной луны я бы вовсе позабыл, зачем вышел на улицу, если бы не тень за плетнем попеленковской хаты. Тень слабо зашевелилась и сделала приветственный знак. Признаться, я даже удивился. Было у меня опасение, что Попеленко оборудует НП не за плетнем, а где-нибудь на сеновале.

Докричал полночь запоздалый петух. Я прошел мимо хаты Варвары — ни одно окно не светилось — и отправился узкой дорогой к «Гавриле». Луна стояла как раз над холмом, так что он казался плоским, вырезанным из черной бумаги. Кресты и обелиски на вершине, косматые плакучие ивы — все было черным.

Ветви деревьев, которые росли вдоль дороги, образовывали причудливое траурно-черное кружево. Лишь одна вечерняя зорька тлела в выгоревшем от луны небе, но когда я обернулся, то за спиной, за остро очерченной собственной тенью увидел в противолунной стороне темное звездное небо. Под ним ярко светились стены мазанок. Луна разделила ночной мир на две части.

Я поднялся на холм. Оградки здесь не было, кресты, обелиски со звездочками располагались вольно на склонах и на вершине. Вороны, потревоженные мною, забились в деревьях, застучали, слепые, крыльями о ветви. Под старыми ивами темнел огромный, в обхват, крест. Там лежал мой рано опочивший дед. Я присел на один из холмиков, густо заросший травой, — видно, это была могила человека, чьи родственники уехали из наших мест.

Вот оно, царство «Гаврилы», жуть и мороз по коже, хранилище детских страхов!

Я сидел на мягком могильном холмике, поставив у ног МГ, и прислушивался к ночным кладбищенским звукам: к металлическому скрежету листьев на жестяных венках, сохранившихся с довоенных времен, к поскрипыванию сучка на иве, к треску крыльев неожиданно проснувшейся птицы. Увы, страшно не было ничуть. Наверно, когда перехоронишь столько людей, покойники не могут казаться чем-то мистическим и потусторонним.

Глухарка, которая лежала передо мною двумя цепочками изб, спала. Ни движения, ни шороха. Изредка взлаивали собаки, но без толку, лениво. Ива надо мной

временами шелестела под порывами легкого ночного ветра. Это был мертвенный шелест — листья уже подмерзли. Утром, как только прогреет солнце, они посыплются с ветвей дождем, эти узкие белые листья...

От утренней дозы белладонки живот совершенно успокоился. Осколочки заснули. Я наслаждался отсутствием боли. Вот ведь какие бывают радости!

...Большая, свежепобеленная мазанка Варвары была видна мне особенно хорошо. Ни огонечка в окне, ни движения. И все поля вокруг Глухарки были пусты. Все покрывала матовая изморозь.

«Скоро полетят журавли, — подумал я. — Близятся холода, и журавли полетят с севера, с белорусских болот, курлыча в темном небе. Хотел бы я послушать журавлей... Дожить бы!»

Село молчало. Озимые клинья, темная паутина тропок, курчавые капустные гряды на Семеновом урочище, кукурузное поле, где, как свечи, торчали огрызки стеблей, — все хорошо просматривалось с кладбища. Мне кажется, я мог бы рассмотреть и муху, если бы она принялась летать над деревней в лунном свете.

За моей спиной темнели кресты. На одном из них отколовшаяся щепка издавала под ветром противный ноющий звук... До чего же все-таки обширна земля! Миллиарды людей в ней захоронены за сотни веков. А сколько закопали в эту войну... Но кладбища занимают такие небольшие «пятячки» земли...

Какое-то темное пятнышко скачками пересекло кукурузное поле. Приостановилось у самых капустных грядок. Заяц! Насторожился, приподнял уши и нырнул в капусту. Над одной из труб гончарного заводика взметнулись темные и густые клубы дыма. Видно, Кривендиha подбросила дровец.

До войны в такие осенние ночи, когда начинали вывозить и шинковать капусту, над селом долго не смолкали песни. Били бубны, тренькали мандолины, гармошки взвизгивали в руках подгулявших парней. Возродится ли все это? И сколько парней вернется в село?

...Ковш уже повис ручкой книзу — значит, было около трех часов. Луна передвинулась к краю деревни, озимь еще сильнее поседела от инея. Среди полей возникли белые лужицы. Туман просачивался из каких-то не приметных колдобин и рытвин. Готовился к атаке.

К утру стало подмораживать еще сильнее. Я сильно озяб, дергался под шинелью, чтобы согреться. Ковш плыл над самой землей, от осевшей луны падали длинные тени, но видны они были только на возвышенностях, низинки же заполнил туман. Он расплзался во все стороны, нити его тянулись по овражкам, как щупальца. Вот уж ни к чему был этот туман.

Луна оказалась уже на краю села. Движение ее, когда она, побагровев, покатила над вершинами деревьев, над полосой бесконечных лесов, над хатами, стало заметно на глаз. Туман, казалось, выделялся теперь из каждой травинки. Село постепенно скрывалось в пелене, я различал лишь отдельные мазанки, которые стояли повыше. Хата Варвары была пока еще видна, но туман уже скрыл плетень.

На востоке чуть заметно посветлело, выделились из темноты полосы облаков. Оттуда сразу же словно теплотой потянуло. В противоположной стороне все еще царствовали ночь и зима.

Село уже исчезло, только выступали угольнички заиндевших крыш. Луна окунулась в белую полосу над лесом и угасла. Я положил МГ на плечо и встал. Отдежурил... Чертов туман! Жаль было потраченного зря времени.

Я шел как в молочном киселе, такой был густой и вязкий туман. Оглянулся — Гаврилов холм темнел тяжелой громадой. На востоке кто-то вдруг нанес резкий мазок розовым. Прокричал петух, первая птица выпорхнула из деревьев на Гавриловом холме и, полуслепая еще, пронеслась рядом с моей головой, чуть не задев крылом — ветром ударило в ухо.

С ивовой дороги я свернул на озимый клин. Не мог я не свернуть. Приближался тот час. Травинки озими украсились солью богатого инея. Тропка была видна лишь на три-четыре метра.

Я едва не столкнулся с нею. Ее как будто выдвинул туман. Она испуганно замерла. Мы стояли друг против друга на узкой тропе, протянувшейся через озимый клин, я с пулеметом, а она с коромыслом на плече. Покачивались ведра... Мне было неприятно, что я ее испугал. Она и так постоянно была настороже, как птица. Я сошел с тропы и улыбнулся.

Антонина узнала меня, лицо разгладилось. Ведра дрогнули и поплыли мимо по узкой тропе. Скрылись в туманной пелене. Слышно было, как, удаляясь, поскрипывают дужки на коромысле. А я все стоял среди озими... Какая хрупкая и жалостная красота! Она была как тот тонкий глечик, что уже обточился на гончарном круге, но еще не прошел обжиг и мог быть разрушен, смят от неосторожного прикосновения.

Я стоял и смотрел вслед, ничего не видя, кроме стены тумана. Какое-то беспокойство не давало мне тронуться с места. В воспоминании о прошедшей по тропе стройной и высокой девушке в черном платке, с коромыслом на плече заключалась непонятная мне неправильность. Я не мог понять, в чем здесь дело. Я снова представил, как Антонина возникла из тумана, как испугалась, как качнулись ведра... Да... ведра! Они качнулись тяжело, как будто были полны воды. И коромысло провисало на плече, вдавливаясь в пальтишко. Но ведь она шла не от родника, а к роднику!

Я похолодел. Мне и раньше казалось странным, что она в такую рань ходит к дальнему роднику на лесной опушке, а не к сельскому колодцу, но теперь все это оборачивалось бедой. Пусть бы мне это почудилось. Ведь я хотел поймать бандюгу, крадущегося к Варваре. При чем здесь Антонина, при чем? Ах ты ж дьявол... Вот ведь как, значит, получается. Антонина, Антонина... Поправив МГ, я отправился вслед за ней. «Ну за что? — думал я. — За что я должен потерять ее? Ее! Как же так?.. Ну неужели нельзя ничего поделать, неужели нельзя ничего изменить?» А ноги сами шагали по тропе. Делай свое дело, «ястребок» Капелюх. Ты хотел выследить врага. Бандитского помощника, связного. Ты выследил. Иди!

Озимь кончилась. Тропа здесь стала скользкой. Она

круто спускалась к роднику, в овражек. Темнели стволы деревьев. Осторожно, пригнувшись, я подошел поближе к роднику. Он выбегал из небольшого прогнившего уже сруба. По обе стороны высились крутые склоны овражка. Ниже сруба, по течению ручья, росла высокая трава и осока. Все остальное терялось в пелене низкого тумана.

Антонины нигде не было. Я прислушался. Приглушенно шумела вода. Шум этот был похож на стариковское бурчание. Но вот наверху, над овражком, чуть звякнула дужка ведра. Я поднял голову, увидел ветви ольхи, выделявшиеся из белого месива. Одна из ветвей дрогнула.

Я вполз по склону овражка наверх. Застыл за ольховым подростом, не касаясь ни веточки, ни листика. Возможно, Антонина была здесь не одна. Что ж, у меня МГ и две угревшиеся гранаты в карманах. Вот ведь как все получалось... Одно утешенье — если там бандиты, ни им, ни мне, ни Антонине от родника не уйти.

Но она оказалась одна. Пригнувшись, выкладывала из ведер какие-то узелки и складывала их под пенек. Поднялась, осмотрелась. Я наблюдал за ней, чуть выдвинувшись из-за своего зеленого укрытия. Она очень боялась, даже губы подрагивали. Ее привело сюда чувство страха — не добрая воля. Я вспомнил косулю, бежавшую через поляну у сосняка. Возможно, здесь тоже действовал опытный загонщик... Не стоило спешить с обвинениями.

Антонина, оглядываясь, но ступая, как всегда, легко и пружинисто, спустилась к роднику, скрылась в тумане. Я услышал плеск воды. Скрипнуло коромысло под тяжестью двух переполненных ведер. И все стихло. Я представил себе, как она уходит по тропе — словно по туго натянутому канату, чуть заметно покачиваясь, лодыжка к лодыжке.

Подошел к трухлявому осиновому пеньку. Кусок дерна, прилежавший к нему, был чуть рыжее остальной травы. И на нем не сверкала матовая изморозь. Сверху лежала сосновая шишка, острием от пня.

Я осторожно снял дернину. Под пнем, в сухом месте, был устроен тайничок, что-то вроде лисьей норы. Прислушиваясь к звукам пробуждающегося леса, я до-

стал из норы четыре узелка. Четыре самых обычных узелка из старенького, но чистого, подштопанного рядна. В таких узелках детвора носила в поле или на гончарню поспидать батькам и матерям. Вот и здесь я нашел округлые буханки хлеба, добрый каваль* сала, луковицы, соль, картошку... Смеренковы жили небогато, очень небогато — для своего хозяйства у них не хватало времени и хватки, а трудодни, которые начислялись колхозом за глечики и макитры, были скудными... Откуда же они взяли все это богатство?

В третьем узелке я нашел несколько чисто выстиранных и заштопанных рубах и мужское белье. Так... Четвертый был перевязан особой, цветной ленточкой. Он предназначался для женщины, об этом говорила и ленточка, и особенная тщательность и аккуратность упаковки, и легкий аромат дикой лаванды-спики, исходивший от рядна. Я вытер руки о шинель, чтобы не оставлять пятен ружейной смазки на чистом рядне, развязал узелок и осторожно разложил все, что в нем находилось: кусочек мыла, теплые женские штанишки, лифчик и хлопчатобумажные чулки. Вещи по военному времени невероятно ценные, особенно чулки и мыло.

Значит, не уехала Ниночка в Киев, как говорил односельчанам Смеренков. Ушла Ниночка с Горелым и вместе с ним и бандитами скрывалась в лесах. Ниночка, мелкие кудряшки, синенький беретик, звонкий довоенный смех... Что ж ты наделала?

Я аккуратно связал все узелки, уложил под пенек и накрыл дерниной. Сверху положил сосновую шишку, острием от пня. Здесь я подожду связника. Думал встретиться с ним у хаты Варвары. Но все получилось не так. Совсем не так.

На востоке, над молочной полосой, уже стал виден неяркий светлый столб: солнце подходило к горизонту. Но сам туман еще более сгустился. Шла усиленная утренняя конденсация. В такие часы только за «языком» ходить. Было тихо, очень тихо, туман, словно вата, лез в уши.

И вдруг, как барабан, со стороны села ударила автоматная очередь. «Шмайсер»! Очередь была длинная, монотонная — будто стреляли в одну точку, в упор.

* Каваль — кусок (местн.).

Когда бьют с рассеянием, веером, по широкой и отдаленной цели, звук изменчив

Я снял с плеча пулемет. Еще раз прогремел «шмайсер». На этот раз коротко. Потом раздались еще две короткие очереди. Они как будто бы стали ближе ко мне.

Я пустился бежать по тропе к селу, держа МГ обеими руками, дулом вперед. В селе, мне почудилось, раздался чей-то женский крик, но его заглушил хор петухов. Обычный утренний хор. Петухам было наплевать на стрельбу. Они ко всему привыкли за годы войны.

Снова простучал автомат. Кажется, ППШ. Я был слеп. Передо мной стояла стена тумана. Но я услышал, как пули забарабанили по ветвям и листьям. Это были уже излетные, ослабевшие пули, они не впились в дерево с сухим, резким треском, а чвакали.

Кто-то бежал сюда, к роднику, по тропе, а вслед ему стреляли: только так можно было объяснить этот рой пуль, неожиданно рассыпавшийся над моей головой.

7

Наверно, если бы Попеленко не дал эту последнюю, наугад, очередь, лежать бы мне на тропе среди озими у самой опушки. Но посланные им пули послужили нечаянным предупреждением. Я остановился, проверил, как вставлена лента и закреплен диск, и взвел затвор, держа МГ дулом вперед. Палец застыл на спусковом крючке.

«Успела ли она уйти с тропы на огороды? — мелькнуло у меня в голове. — Если мне придется стрелять, шальная пуля может догнать ее».

Больше ни о чем я не успел подумать. Прямо на меня из тумана выбежал здоровенный парень в желтой кожаной курточке с проплешиной на правом плече. В руке он держал «шмайсер», это для него была игрушечка, а не оружие. Лицо парня исказилось, и он легко, одной рукой, как пистолет, вскинул автомат.

Если бы я не был готов, он опередил бы меня. МГ — это танк в сравнении со «шмайсером». Он создан не для ближнего боя, он тяжел и неповоротлив. Но палец уже лежал на спуске, а предохранитель был сдвинут, и я на одну секунду опередил парня.



Он наткнулся на очередь, как на оглоблю. МГ ударил в упор, и парня отбросило. В тот же миг я понял, чья кожаная курточка была на парне! Еще не успев разглядеть лица бандита, я уже возненавидел его. Палец как будто припаяли горячим припоем к спусковому крючку. Это произошло само собой. Без умысла... Вот... За Абросимова! За кровавую звезду на лбу!

Курточку разнесло в клочья. Ее на моих глазах смяло и вдавило в тело. Отлетев назад, парень ударился затылком о землю. Только тогда я прекратил стрельбу. Горько запахло пороховым дымом и гарью. Курточка тлела. Вокруг еще более плотно сомкнулся туман. Тишина постепенно возвращалась.

— Не стреляйте, то я, не стреляйте! — раздался голос Попеленко. Он опасался шальной пули. Громко топотал сапожищами и орал: — То я, я, Попеленко, свой!..

Я склонился над бандитом. Кровь залила всю грудь и продолжала хлестать. Красиво он лежал, навзничь, и крупные крестьянские руки раскинулись по обе стороны тропы. Они примяли ростки озими. На белом лице резко выделялись конопущки. Эх ты, бандюга, полицей, своей мамы сын...

Попеленко, тяжело дыша, с автоматом в руке и расстегнутом полушубке, из-под которого валил пар, как из-за банной двери, тоже нагнулся над парнем.

— Ты Семеренкову не встречал? — спросил я.

Попеленко пропустил этот вопрос мимо ушей.

— Вот дьявол! — сказал он сокрушенно. — Я думал, он уже утек! А мы ж его ухлопали. Вот дьявол!

— Ты что, жалеешь? — спросил я.

— Ну что вы, товарищ Капельюх! — возмутился он, шумно отдуваясь после бега. — Что ж, политически я не понимаю, что к чему?..

Но на лице у «ястребка» было написано явное огорчение. Он, конечно, жалел, что парню не удалось скрыться. Кончилось у Попеленко перемирие с бандитами. Теперь и его никто не пожалеет на лесной дороге.

— Ты Семеренкову Антонину видел? — спросил я.

— Да не тронули вашу Антонину, — сказал он. — Стоит с ведрами возле хаты. Перепугалась небось...

Он подумал немного и снял шапку.

— Да... Здоровенный парубок, — сказал он. — Теперь лежит, как ситечко, в дырках... Ох ты ж боже!

— Придется нам теперь воевать всерьез, Попеленко. Не простят нам бандюги!

Попеленко вдруг захихикал.

— А ведь он вас убивать пришел, товарищ Капельюх! — сказал он. — Он вам все окно вышиб! Бабка небось ругается — страсть..

Туман уже начал подниматься с озими. Звезды над головой угасли. Солнца не было видно, но алый столб на востоке, постепенно расширяющийся кверху, горел вовсю. Он становился ярче и ярче. Ладонь парня, откинута в белую озимь, покрылась мелкими капельками росы, словно вспотела. Вот ведь какое дело. Убивать людей в такое утро! Кровь на кожанке начала густеть, потеки ее как бы вспухали — так зимой над родником набухает и плотнеет наледь.

— Давай за телегой, — сказал я Попеленко. — И пусть люди знают, что бандита убили... И... это... — я вспомнил Гупана. — Опознать надо. Положено...

Бабка Серафима вставляла фанерку в разбитое окно. Все, что нужно было сказать по поводу происшедшего, она уже сказала и теперь только тихо ворчала.

— Такое цельное стекло было. Всего из трех кусочков. А он расшиб, трясца его бандитской матери!

— Ничего, ничего, все с фанерками живут! — сказал я. — Дай-ка молоток, Серафима...

Возле нашей хаты стояли любопытствующие соседи.

— Я гляжу сквозь туман, какой-то хлопец, дюжий из себя, по улице идет, — рассказывал Попеленко, воодушевшись. Перемирие кончилось. Теперь «ястребок» хотел извлечь хоть какую-то выгоду из новой ситуации. Насладиться ролью героя. — Думал сначала — товарищ Капельюх возвращается. Не! Это здоровенный бандера прет — чистый бугай. Или там самоходка. И что же вы думаете? Подходит он к хате товарища Капельюха и шасть через тынок. Прямо так сиганул, как кошка.

«Бугай», «самоходка», «кошка» — образно рассказывал Попеленко. Старался. Подростки смотрели на не-

го горящими глазами. Может быть, роль героя по-настоящему увлечет «ястребка»?

— Ну, думаю, дело неладно. Я поближе. А он, вражий сын, до окна, где товарищ Капелюх спит, пригиснулся и чего-то разглядывает. Ладно, думаю, погляди, погляди — от меня не уйдешь. Тут он поднимает свой автомат и как даст в окно. Как даст! И снова через тынок — шасты!

Слушатели охнули, переживая за Попеленко. Только Гнат, возвышаясь за толпой глухарчан с пустым мешком на плече, улыбался во весь щербатый рот.

Народу прибывало. Рядом с Гнатом появилась Варвара.

— Я по бандюге из автомата! — продолжал Попеленко с упоением.

— Не по нсму, а чуть выше, — поправил я «ястребка». — По деревьям.

— Не перебивайте! — сказал осмелевший Попеленко. — Бандюга — бежать. А я за ним. И снова по нсму. И снова. Он на озимь, а я за ним. Тут товарищ Капелюх на мой сигнал заспешил, помог, и мы взяли его в клещи.

— Мне показалось, бабка, ты кричала? — спросил я у Серафимы.

— А кто б не закричал? Я думала, тебя убили... И как это ты догадался уйти? Не иначе — перст, рука.

...Этот конопатый парень из шайки Горелого подошел к оконцу справа, со стороны шелковицы, чтоб ему было сподручно стрелять по топчану. В бледном свете он принял взбитое одеяло за человеческую фигуру, а старую шапку — за голову. И, хотя промахнуться было трудно, он выпустил половину обоймы. Чтобы на-верняка! И знал ведь, где мой топчан стоит, у какого окна — все знал.

— Господи, — сказала Серафима. — Когда же окна перестанут бить? Где ж стекла люди напасутся? Все бьют и бьют, бьют и бьют... Вроде и фашистов прогнали! Когда ж война кончится, чтоб им, бандюгам, на том свете голой задницей на шило сесты!

И она погрозила в сторону леса тощим кулаком.

Гнат захекекал и собрался было со своим мешком

в обычный утренний маршрут, но Варвара остановила его:

— Ты куда голодный? Пойди поешь...

Гнат радостно замычал и закивал головой... Варвара! Что она, искупала грехи этой благотворительностью?

Я прошел в хату. Все старенькое одеяло было изрешечено. Пули выщербили глиняный пол под топчаном, рикошета, побили стены... «Да, повезло мне в это утро, крупно повезло», — думал я, разглядывая одеяло.

Не случайно конопатый парень, дав очередь, помчался по тропе через озимь в сторону родника. У него, наверно, были два задания: прикончить меня и взять из схорона узелки. Два простейших задания — убить человека и захватить попутно сало и беляшко.

Конечно же, теперь нечего было и думать устраивать засаду у родника. Они туда больше не придут. Ведь конопатый убит неподалеку.

Мы по-прежнему останемся в неведении. Откуда, кем, когда будет нанесен следующий удар?

Глумский, нахмутив брови, долго стоял у телеги, разглядывая конопатого парня.

— Видел я его как-то с Горелым, — сказал он. — Помощничек вроде... Холуй... Не из наших мест, пришлый. Ты позови Семеренкова. Он, когда работал на гончарне, всех гореловских прихвостней небось встречал.

Попеленко сбегал за гончаром.

Тот подошел, опустив голову, подобрав под мышку увечную руку. Он бросил на убитого короткий взгляд и тут же отвернулся.

— Признается?

— Нет. Ничего не знаю...

Он ответил поспешно, ни разу не подняв на меня глаза. Чувствовалось — врет.

— Ладно, — сказал я. — Так и запишем.

— А к хате Варвары он не подходил, — сообщил Попеленко.

— Догадываюсь...

Я ничего не сказал своему приятелю об Антонине. Еще многое предстояло проверить. «Антонина, — поду-

мал я, — никак не могла предупредить бандитов о приезде Абросимова. И вообще...» Я же помнил, как она стояла у брички и смотрела на Абросимова. Я же ощущал ток ее горьких мыслей, ее сочувствие. Нет, не хотел я верить в ее предательство.

Телегу с убитым бандитом-верзилой мы провезли по селу.

Солнце уже приподнялось над туманом, и в село вернулись краски. Заиграли желто-зеленые листья на тополях, неровными алыми свечами зажглись в садах вишни, тусклой медью обозначились дубки. Под солнечными лучами соломенные крыши закурились паром, иней пятнами сходил с них, и вскоре по завалинкам застучала капель. Наступил час утреннего листопада; прогреваясь, отороженные черенки листьев легко отцеплялись от ветвей, и всюду: под дубками, тополями, вишнями, акациями, яблонями — закружилась в легком ветерке осенняя метель. Ранние заморозки, ранние заморозки...

Рука конопатого парня свесилась с телеги, желтые от курева, негнущиеся уже, твердые пальцы чиркали об обод колеса. И хотя передо мной был враг, к мертвому я уже не чувствовал никакой ненависти. Больно мне было. В следующий раз, быть может, они ухлопают меня. Потом настанет зима, и «ястребки», как зверей, выследят в лесах бандюг. Снова будут мертвые на телегах... А озимь занимает небольшой лишь клинышек на без того необширных приглухарских полях. Некому пахать, некому сеять.

— Что мы будем делать с ним? — спросил я у Попеленко, когда мы медленно проехали по селу, сопровождаемые взглядами глухарчан, лаем встревоженных собак и пением петухов.

— Видать, нездешний, — сказал «ястребок». — Повезем к «Гавриле».

Мы развернулись у заводика и направились к вербной дороге, что вела на Гаврилов холм. К гончарне, навстречу нам, шли работницы — ангобщицы, лепщицы, заготовщицы. Они смотрели на бандита, переглядывались, шептались о чем-то. Догадывался я, о чем они шептались. Мертвый, он и для них, как и для меня, не

был уже страшным бандюгой, злодеем, не был тем человеком, который убил мальчишку из Ожина и вырезал на его лбу звезду. Он был просто здоровенным крестьянским парнем с красными загорелыми руками. Эти руки могли починить завалившуюся хату, сменить упавший плетень, пересадить яблоньку в саду. И уж обнять эти руки могли крепко и грубо, по-мужицки. Вот о чем, наверно, шептались вдовы и солдаты с гончарного. У них был свой взгляд на вещи.

Никто не признавал убитого...

— Поехали быстрее на Гаврилов холм, — сказал я. — Чего валаандаемся?

На повороте мы встретили Семеренковых. Отец как будто не заметил телеги. Но Антонина прямо и смело посмотрела на меня. Не спряталась, как обычно, за черными шорами платка. Наши глаза встретились. Мне показалось, она обрадована. Чем? Тем, что погиб конопатый бандюга, для которого она носила узелки?

— Антонина будет еще красивше сестры, — сказал вполголоса Попеленко, увидев, как я оглядываюсь. — Только та выставлялась... А эта тихая... Немая, и н в а л и д к а! Раньше вроде разговаривала... Родимчик напал... Им бы какую бабку позвать, выгнать хворобу, да при их бедности и заплатить нечем! А и н в а л и д к у кто возьмет?

Я смотрел вслед Антонине. И она обернулась. Ну что мне делать с тобой, Антонина? Допросить? Не могу я тебя допрашивать. Отправить в район? Нет!

— Сам ты инвалид! — сказал я своему приятелю. — Болтаешь много!

8

Вечером я отправился к гончару, оставив Попеленко дежурить на улице. Я взял с собой сидор, а в нем лежали четыре узелка, которые достал из тайника. Сидор припрятал во дворе, прежде чем постучаться.

Семеренковы ужинали. Хата была просторная, большая даже по глухарским понятиям, где лесу хватало и где любили жить вольно, с раскрашенной ангобами печью чуть ли не посреди избы и двумя длинными столами. На одном из столов стоял кувшин с молоком, возле него две чашки и ломтик хлеба — курице не хватило

бы распробовать. Молоко было синего оттенка — не только снятое, но, пожалуй, еще и разбавленное водой. Коровы они не держали. Ничего удивительного, что Антошина отличалась такой бледностью.

— Садитесь с нами, — сказала отец. Он исподлобья наблюдал за мной, свесив под стол большую руку.

Антонина ничего не сказала. На ней было домотканого рядна платице с заметными следами штопки, крашенное по бедности военного времени чернокленом. Совсем худое, ссевшееся от бесконечных стирок девчачье платице. Застеснявшись, Антонина накинула на себя платок, прикрыла острые плечи, проступающие в вырезе платья ключицы и резко очерченную рядом грудь. В платке она стала как будто старше, и даже движения ее изменились, приобрели большую плавность и женственность.

Глядя на нее, я забыл, что пришел для гневного разговора. Вот ведь какая незадача получалась с этой Антониной... Один вид ее отметал все подозрения, гасил злость.

Она открыла дубовый шкафчик, достала еще один ломтик ржаного хлеба — наверно, последний. Все, что было в доме, Антонина отнесла к роднику.

— Я только что поужинал, — сказал я. — Кушайте!..

Я рассматривал хату, не зная, с чего начать. Да, просто-таки незадача получалась.

Второй дощатый стол был заставлен глиняными расписными игрушками. Часть из них уже прошла обжиг и отливала глянец, а часть была еще сырая и тускло играла красками в вечернем свете.

— Вы ужинайте, а я посмотрю игрушки, можно? — сказал я.

Семеренков кивнул, но, прожевывая свой ломтик ржаного хлеба и поднося к губам кружку с подсиненным, уполовиненным молоком, он искоса и испуганно следил за мной, как будто ожидая какой-то неприятной выходки.

Игрушки были диковинные. Я никогда и нигде не видал таких. У нас на заводике до войны делали всякие свистульки — животных из глины, расписанных смужечками и хмеликами, — подуешь в рыльце, они и свистят. То были хрюшки и барашки «як насправди»*,

* Як насправди — как в жизни, в самом деле (укр.).

очень похожие на тех, что бегали в глухарских дворах. Наверно, они помогали детворе войти в мир взрослых хлопот: ты еще прижимал к губам глиняную хрюшку, а тебя уже посылали пасти настоящую, впрягали в работу.

Но эти, семеренковские, игрушки были особые. Так лепил бы маленький ребенок, если бы у него были сильные, ловкие пальцы взрослого. На грубом дощатом столе я видел львов с невероятно кудлатыми гривами и огромными глазами на длинных печальных мордах, горных туров, которые, казалось, сплошь состояли из свернутых улитками фантастических рогов, каких-то нахохленных мудрых птиц, похожих на пеликанов и в то же время на сов, с длинными толстыми клювами и бессонными зрачками, рыб с очеловеченными ликами и плавниками, напоминающими крылья. Все это слепили на первый взгляд грубо, резко, а краски были подобраны совсем уж странные — львиные гривы отливали кобальтовой синевой, а рога туров зеленели, как листья.

Я понимал, все это сделано совсем не так, как насправди, с каким-то нарочитым вызовом тому, к чему я привык. Но мне нравилось. Львы и мудрые совы-пеликаны манили меня. «А помнишь? — говорили они. — А помнишь, Барское пепелище было тогда огромной и загадочной рощей, и мы жили там, бродили в зарослях лопуха и конопля? Ты просто забыл нас на время... В ту пору Вий пугал тебя своими страшными веками. А Крот был страшным колдуном, вроде клыкастого Катерининового батки*... Ты просто забыл... Много крови разлилось в мире. Люди стали быстро взрослеть. Но когда наступит спокойное время, приди однажды в лопухи — они покажутся тебе невысокими, совсем даже низенькими, но ты нагнись и постарайся разглядеть нас в этом лесу!»

Удивительные были игрушки...

Я повернулся к Семеренковым. Отец по-прежнему косился в мою сторону, держа кружку у рта, а дочь даже не притронулась к молоку и хлебу. Она смотрела на меня с ожиданием, с просьбой, как будто я мог оживить всех этих странных зверушек.

* Катеринин батка — персонаж «Страшной мести» Н. В. Гоголя.

— Здорово! — сказал я Семеренкову. — Не думал, что вы занимаетесь таким!

Антонина улыбнулась. Это была улыбка счастливого человека. Мягким, женственным движением она поправила прядь волос, выбившихся из-под платка.

— Это дочка, — сказал Семеренков. — Она лепит здесь, дома, — на заводе не до игрушек: посуда нужна людям!

Она продолжала улыбаться, глядя на меня. Что ж ты за человек, Антонина? Ты помогаешь бандитам, носишь им хлеб и сало, стираешь их заскорузлые рубахи. А пальцы у тебя такие тонкие и длинные, и ты лепишь диковинных зверей. Может быть, ты ребенок, который не понимает, что творит?

— Она любит лепить, — сказал Семеренков с гордостью. — Она глину чувствует, как живое. Как щенка какого-нибудь.

Она сидела, сомкнув прямые ноги, лодыжка к лодыжке, она сидела так, что можно было час и два смотреть на нее, и, честное слово, я бы и сам стал немым, в конце концов. Ну что же мне делать с тобой, Антонина? Ничего не понимаю. Ничего!

Снова пальцы Антонины, как бы в раздумье, коснулись пряди соломенных волос, прижав ее под платок. Мне показалось, что в этом жесте, робком и неуверенном, есть какой-то скрытый смысл: да, говорила она, я хотела бы нравиться... Но нужно ли?

Она посмотрела вопросительно на отца, перевела взгляд на игрушки, затем на меня.

— Хочет подарить вам что-нибудь, — объяснил Семеренков. — Из этих глиняшек.

— Нет, не возьму, — сказал я. — Не могу я брать подарки... У вас!

Не знаю, зачем я так сказал: «У вас!» С неожиданным презрением и злостью. Она сидела такая худенькая, тонкая, чуть подавшись ко мне, и я вдруг решил разом покончить с жалостью и любовью, поставить все на место. Зачем я хотел причинить ей боль? Я ведь догадывался, что не может она быть виновна ни в чем, и эти звери, наивные глиняные дети-звери, укоризненно глядели на меня глазами-впадинами. Они не могли ее защитить и тарасили свои глазелки. Но я уже не мог

остановиться. Не для того я пришел сюда, чтобы млеть от любви и сочувствия.

— Не время мне в игрушки играть, когда бандиты рядом, — сказал я. — Вам-то хорошо, уж в ваши-то окна они стрелять не будут! Сами знаете почему...

Я не хотел этого говорить, честное слово! Я хотел молчать и смотреть в ее глаза, смотреть, как она сидит, как поправляет прядь, улыбается. Она вздрогнула, и губы ее сжались. Рука медленно соскользнула от платка к столу и, чуть задержавшись на дощатом углу, продолжила падение и безвольно повисла. Отец встревоженно посмотрел на нее.

— Она еще никому никогда не дарила своих глиняшек, — тихо сказал Семеренков. — Стесняется... только для себя делает.

Что это творилось во мне? Я любил ее, любил и жалел, но все-таки не мог забыть тех узелков под пеньком, никак не мог забыть узелков, и сестренки Ниночки не мог простить, и того конопатого здоровилу бандюгу, для которого Антонина принесла свою «посылку».

Все во мне перемешалось и клочотало.

— Действительно, до игрушек ли человеку, — успокаивающе сказал Семеренков дочери. — Его самого чуть не убили. Ведь война, Антоша!

У меня сердце дрогнуло, когда он вот так мягко, с привычной домашней ласковостью сказал: «Антоша». Это было их слово, за ним стояло столько, что я сразу почувствовал себя лишним в доме. Это слово было воплощенной нежностью, паролем и отзывом. За ним стояла тайна родительской и дочерней любви. Наверно, не случайно имя это было мужским, в нем, мне почудилось, прозвучала неутоленная мечта по сыну, продолжателю рода гончарных мастеров, но судьба дала криворукому Семеренкову двух дочерей; старшая изменила дому, ушла с бандитами, и теперь у него оставалась лишь одна дочь, лепщица диковинных зверей, вечно молчащая... Антоша!

Я мысленно произнес это имя, глядя на ее остро выпуклавшие под платком плечи, смуглые худые руки, прядь светлых волос, плавные линии бедер, которые четко обрисовывались под стареньким платьицем и вдруг за округленным изломом коленей переходили в резкую, удлинненную прямоу сомкнутых голеней. В ней было

непонятное мне совершенство. Такое совершенство не поддается никаким анализам. Оно сразу вштамповывается тебе в душу. И этот цельный отпечаток уже не выжечь, как клеймо.

«Антоша!» — мысленно повторил я. Она повернулась ко мне. Глаза ее влажно блестели. Она словно изучала меня. Антоша! Губы ее вздрогнули, разжались, утратили строгую прямогу и вновь приобрели мягкость.

Я чувствовал, что голова у меня идет кругом. Ну что это я опять разнюнился? Зачем я сюда, в конце концов, пришел?..

— Послушайте, — сказал я Семеренкову. — Помогите, мы в первый раз недоговорили. Пойдемте посидим на завалинке.

Он тут же поднялся и пошел к двери, неся перед собой согнутую левую руку. Антонина проводила нас взглядом, как тогда, на гончарном. Второй раз я врывался в эту семью и вносил тревогу и смятение. Скорее бы прояснилось все. Не по мне была такая работенка.

9

Мы сели на завалинку. Был вечерний час. До войны в это время вся Глухарка сидела на завалинках, лузгала семечки и глазела на облака, которые с предзакатной быстротой меняли свои очертания и цвет.

Семеренков прислонился к стене мазанки. Его четкий горбоносый профиль темнел на фоне неба. Он ждал, полуприкрыв глаза. Он казался очень усталым.

Я достал из-под лавки сидор с узелками, выложил все содержимое на доску.

— Вот ваше добро, — сказал я. — Антонина принесла к тайнику... Припасы для бандитов, — сказал я. — Припасы для бандитов и для вашей старшей доченьки, которая скрывается в лесах вместе с ними. Заберите обратно. Пригодится в хозяйстве!

Он ничего не ответил. Только кадык вздрогнул.

— Что же вы молчите? — сказал я. — Я ведь должен арестовать вас. Говорите что-нибудь!

Прошла еще минута.

— Говорите же! — я повысил голос. — Если бы я был уверен, что вы по доброй воле, то не стал бы за-

водить разговор. Ну!.. Что, запугали вас они? Или Ниночку жалеете?

Темнело быстро, как это бывает в сентябре. Только снопики конопли на огороде да золотые шары светились желтым, словно вобрали в себя за день солнечный свет и теперь понемногу излучали его.

— Я не хочу верить, что Антонина — пособница бандитов! — крикнул я, схватив его за руку. Это была изувеченная рука, она вяло попыталась высвободиться, и я тут же отпустил ее. — Вы слышите, я не верю! Это вы заставили ее! Зачем? Думаете, поможете этим старшей дочери? Бросьте. Плюньте. Погубите и Антонину и себя. Пусть ваша старшая явится с повинной. Это будет гораздо лучше... Вы же кормите убийц!

Я не мог остановить себя. Кажется, я начал его перевоспитывать. Убеждать. А ведь я сам терпеть не мог слов. Дубов говорил: «Либо лаской, либо палкой, но только не словами».

Не помню, долго ли я объяснял Семеренкову всю пагубность его поведения. Кажется, я разошелся. Но его молчание заставило меня и вовсе выйти из себя, клапан сорвался.

— Старый дурень! — сказал я. — Тебе уже, наверно, лет сорок! Должен соображать! И чего это я взялся тебе помогать, если ты молчишь, как затычка в бочке? Ведь тебя ж надо судить за пособничество бандитам. Чего ж ты тащишь за собою младшую? А? Ты о ней думаешь или нет? Чем она виновата? Если она тебя любит как батьку, так ты имеешь право портить ей жизнь, а? Черт криворукий!

Здорово я начал ему толковать. Все популярнее и популярнее, под стать бабке Серафиме. Но он сидел как индейский вождь, прислонясь к стенке. Неподвижный горбоносый профиль четко отпечатывался на розоватом небе. Его покорное молчание и долготерпение могли окончательно взбесить меня.

— Скажи спасибо Советской власти, что она действует по закону, — сказал я. — Полицей бы тебя поставил к стенке и вышиб мозги. А Советская власть с тобой разговоры разговаривает... Гореловское охвостье!

— Замолчи, — ответил он вдруг. Тихо ответил. — Замолчи, Иван Капелюх. Что ты себя Советской властью называешь? Я тебя ведь хлопчиком помню.

Свистульки дарил, когда ты приходил на завод... Если научился на войне стрелять и получил от Советской власти оружие, уму-разуму ты еще не мог научиться. В твои годы все очень просто...

Он повернулся ко мне. В закатном свете лицо его казалось темно-красным, словно вылепленным из червинки. И морщины темнели резко, как борозды от шпателя.

— Да я бы этих бандюг своими руками задушил, если б мог, — сказал Семеренков, и его густой «капитанский» голос сорвался в сип. — Что ты можешь понять, ты, молокосос?

— Но-но, — сказал я. — Ты... не шибко-то, Семеренков... Понимаешь!

Я не очень убедительно ему возразил. Когда у немолдого уже мужика голос срывается от едва сдерживаемого плача, это что-нибудь да значит!

— Ты думаешь, с Горелым справился? — спросил Семеренков. — Саньку Конопатого убил — и справился?

— Ага, значит, ты этого бандюгу знаешь! Что ж молчал?

Но на этот раз Семеренков, пойманный на слове, ничуть не испугался.

— Не понимаешь ты, кто Горелый, — продолжал гончар. — Зверь он, хитрый зверь... Да ты по сравнению с Горелым — букашка, он еще не брался за тебя по-настоящему... Он всю Глухарку разнесет, если захочет.

Я ничего не ответил. Слова в Семеренкове бились друг о друга и едва выскакивали сквозь сдавленное горло. Хриплые, измятые слова, они долго прятались в нем. На глазах гончара появились слезы. Чувствительные они какие были, Семеренковы! Терпеть не мог чувствительности. Бывали в жизни минуты, когда я сам больше всего боялся разреваться.

— Ты думаешь, почему она молчит? Почему она ни с кем не разговаривает, доченька моя, Тоня?..

Левая рука его сделала конвульсивное движение — то ли касаясь растущего на круге длинношеего глечника, то ли приглаживая воображаемую детскую головку.

— Они сюда перед уходом фашистов пришли — Горелый с друзьями. Ночью. Он ведь раньше к Нине

сватался, Горелый. Обещал заводик от батьки на меня переписать. Много чего обещал... видать, полюбил. А как она могла его, полиция-душегуба, полюбить? Вот он ночью с друзьями и пришел, Горелый... За ней!

Он замолчал на минуту, чтобы успокоиться. Слова его были едва слышны, хотя в селе стояла тишина. Скот уже загнали в хлева. Быстро, по-осеннему темнело. Пятток тощих семеренковских куриц собрался у закрытых дверей сарая. Куры ждали, когда их впустят на насест, прикрывали белыми веками глаза, поквохтывали.

— За Ниной прибыл Горелый. Чтобы ушла с ним... Она отказалась. Тогда он изнасиловал ее... дружки помогли. Антоша... Тоня, — поправился он, — она набросилась на них, она кричала страшно...

— А вы чего ж, вы? — не выдержал я. И у меня голос сорвался. Вот беда, и у меня слова сбились в сузившемся внезапно горле, и я едва вытолкнул их непослушным языком. — Она набросилась, а вы? Какая уж разница после этого — жить или нет?

Он посмотрел на меня. И снова дернулась, как подкрылок, левая рука.

— Молод ты... Думаешь только за себя... Отцом не был. Я боялся, что они и Антошу... Тоню... Дружки уже хотели... Она бы не вынесла, Антонина... Она ведь... как былиночка... Я упросил, Горелый смиловился... они нас выгнали из избы, меня и Антонину. И полицай встал на пороге с автоматом... Тот самый, Конопатый Санька. Он вроде слуги был у Горелого.

Быстро темнело. Уже не светились желтым снопики конопли и золотые шары. Легкие розовые отблески лежали на кущах высокого Гаврилова холма, где зарыли мы полицаю, зарыли без следа, без холмика даже, как животное. Ничего, Горелый, и тебя зароем так же. Хоть ты и хитрый зверь!..

Налетел порыв ветра, приближались сумерки. С вишен посыпались ржавые листья. «Скоро бабьему лету конец, — подумал я, — раз вишни осыпаются. На вишнях крепкий лист».

— Дальше, — сказал я.

Я долго ждал, когда же оно сможет взреть, это простое слово «дальше». Сдавило горло — и все тут. Наверно, ослаб я духом за время мирной глухарской жизни. На фронте чего не насмотришься и не наслу-

шаешься — кажется, можно было бы приобрести железную закалку. Слабак я стал, честное слово.

— Дальше? — с некоторым удивлением переспросил он. — А что дальше? Горелый увел Нину... Ушла она... Горелый правильно рассудил... что она и сама уже не вернется в Глухарку. Куда ей деться от позора? В деревне-то? А Тоня с тех пор не разговаривает ни с кем... Не то чтобы немая стала — не хочет. Не хочет разговаривать с людьми. Мне иногда слово скажет, вечером, когда тихо. Или когда лепит из глины...

Ржавые листья падали с вишен. Холодало. Приближалась морозная осенняя ночь со звездопадом и предсветными густыми туманами.

— И ходит почти каждое утро к роднику, — продолжал Семеренков. — Очень любит сестру... Надеется, может, придет Нина обратно. Очень надеется. Там у родника они указали тайник. Для снабжения.

Так... Положение прояснялось. Нет, я не мог считать Антонину виновной. И никто не мог обвинить ее. Она старалась умиловить бандитов, отдавая им все, что удавалось заработать вместе с отцом. Что еще оставалось ей?

— Мне за Антонину страшно, — шепотом сказал Семеренков, подавшись ко мне, и глаза его расширились от испуга. — Они знают, что это для меня вся жизнь — Тоня... боюсь я за нее! Он рядом, Горелый, близехонько, он от меня не отстанет. Никуда не уйдет!

— Почему? — спросил я.

Он открыл было рот, но сдержался. Вздыхнул только. И правой рукой прижал левую, непослушную, к острому колену, на котором темнела аккуратная латка. В морозной свежести вечера было особенно заметно, как пахнет от него сырой глиной. Этот неистребимый гончарный запах впитался в него навечно. И что толкнуло его из учителей в гончары?

— Почему не отстанет Горелый?

— Я и так слишком много рассказал, — он отпустил левую руку, она улеглась на колене, застыла. Мы оба немного успокоились.

— Можете забирать нас, — сказал он тихо. — За помощь бандитам. Ваше право... Может, так было бы лучше. Но Нина... что будет с ней?.. Тоня так надеется.

— Чего вас забирать? — сказал я. — Что мы, лицаи, что ли... Напугали вас тут фашисты. Бойтесь правду рассказать... Вот и насчет Горелого недоговариваете... Нечего его бояться!

— Вы это всерьез? — спросил Семеренков.

Теперь мы оба перешли на «вы».

— Конечно, всерьез.

— Вас сегодня только случайно не застрелили, — сказал он. — Они не хотят делать налета на село. Им пока что незачем привлекать внимание. Но наступит минута...

Он замолчал. Повернулся к плетню. Наступили сумерки. От завалинки и стены хаты еще исходило тепло, но пальцы зябли.

— Чего вы всполошились? — спросил я.

Он молча кивнул головой в сторону калитки.

— Собака пробежала, — сказал я. — Большая собака... Вот и все.

— Вот именно, — сказал Семеренков. — У вас хороший слух.

— Положено по воинской профессии.

Я ответил ему бодро, даже, пожалуй, слишком бодро. Мне хотелось, чтобы он победил хоть на миг свои страхи и рассказал бы все. Оп, конечно, много знал о Горелом. Гораздо больше, чем Гупан. Но почему он так опасался, что Горелый нанесет ему второй удар? «Они знают, что это для меня вся жизнь — Тоня...»

— Больше ничего от меня не услышите, — прошептал Семеренков едва слышно. — Поймите, ради бога... Вам все равно, а это моя дочь!

Мне все равно! Да если бы я мог прикончить Горелого хотя бы только для того, чтоб Антонине ничего не угрожало, то жизни не пожалел бы! Даже ни секунды бы не раздумывал. У меня все стекленело внутри, когда я думал о том, что они могут прийти за ней, как приходили за Ниной. Нина, та бойкая была, и парням она головы крутила, она понимала жизнь — не так дотошно, как Варвара, но понимала, и для нее, быть может, самое страшное было не это, а позор, молва односельчан, а Антонине — что ей молва, о молве бы она даже не подумала, у нее просто сердце не выдержало бы, если бы Горелый или кто там еще протянул бы к ней свои лапы и рванул бы старенькое рядом...

И тут как будто ожили осколки фашистской мины в животе, живой болью рвануло изнутри, и я заставил мысль остановиться, отключил воображение. Это ведь как рубильник дернуть — только током бьет по нервам.

И в эту секунду, когда я рванул рубильник и вздохнул свободно, выпрямившись и набрав холодного воздуха в легкие, за плетнем послышались шаги. Это были шаги тяжелого, грузного человека, который старается ступать мягко, как кошка, забыв, что для такой бесшумности нужен кошачий вес.

10

Одной рукой я прижал Семеренкова к стене, чтобы он не заслонял калитки, а второй достал нож. Другого оружия у меня с собой не было, но неподалеку дежурил Попеленко.

Тень человека выросла за плетнем. У него были квадратные плечи и плотно посаженная голова. Таить-ся он не стал. Очевидно, он слышал наши голоса раньше и по наступившей тишине догадался, что обнаружен. Тут я сглупил, мне бы продолжать разговор...

— Хозяин, а хозяин!

Голос был басистый, тяжелый и какой-то шершавый. Нужно крепко прожечь не только глотку, но и все нутро спиртом, чтобы приобрести такую шершавость.

Семеренков вздрогнул и напряженно застыл под моей рукой.

— Хозяин! — снова пробасили за калиткой.

— Здесь я! — отозвался Семеренков. — Здесь я, сейчас, минуточку...

Он растерянно посмотрел на меня, как будто мое присутствие было сейчас совершенно нежелательным, даже опасным.

— Сейчас выйду, а что нужно? — спросил Семеренков, все еще продолжая оглядываться на меня.

Мы шли к калитке, он впереди, я вплотную за ним.

— Да я ж забойщик... Климарь! — сказал человек. — Не узнаешь, что ли?

— А! Климарь! — как будто обрадовался Семеренков. — Ну, понятно.

Он отворил калитку. Еще не настолько стемнело,

чтобы я не мог рассмотреть Климаря вблизи. Это был дюжий пятидесятилетний мужик с тяжелым складчатым лицом, глубоко вставленными в подлобье и прикрытыми густыми бровями глазками. Я уже слышал о Климаре, человеке вольной профессии, «свинячьем забойщике».

— Балакают, ты тут вроде кабанчика хотел забивать, — сказал Климарь. — Вот, пришел... Принимай... Здравствуйте! — сказал он мне и приподнял шапку.

— Так я ж кабанчика давно прирезал, — пробормотал Семеренков.

— Ну-у! — выдохнул Климарь. — Значит, напутала тетка! А я с Мишкольцев тащился, думал, магарыч будет. Ну ладно, переночую, а утром, может, найду клиента... Что ты скажешь? — обратился он ко мне за сочувствием.

Большой пес, помахивая хвостом, подбежал к калитке и сделал попытку протиснуться между стойкой и забойщиком, но тот прижал его ногой.

— Куда, Буркан! Да вы не бойтесь, он не кусучий, я сейчас его навяжу.

Он нагнулся к собаке, достал из кармана веревку и принялся вязать узел на шее.

— Уй ты, цуцик, — сказал я и потрепал собаку по морде.

Нет, недаром Дубов взял меня к себе в группу! Не ошибся все-таки во мне «старшой»... У собаки левый глаз окружало темное пятно, похожее на синяк! Я ее сразу признал, собачку, что гнала кошулю под бандитский автомат возле «предбанника»; у нас в округе не было других таких псов с ушами и статью пойнера. И светло-рыжая масть совпадала, и характерный след на шее от веревки.

— Проходите, — сказал я и встал у калитки так, что забойщик вынужден был прижаться ко мне левым боком. С этой стороны у него оружия не было.

— Садитесь, — предложил я ему, указывая на заваulinку.

Он посмотрел на меня несколько удивленно, но сел. Я оказался с правой стороны. Нет, пистолета или гранаты он не припрятал. Только вот за голенищем торчали рукояти двух ножей. Но, в конце концов, ножи служили для него орудиями труда: забойщик ведь...

Профессия! У нас и до войны на забойное дело смотрели как на искусство, подобное печному делу или гончарному. Часто приглашали стороннего мастера. Тут ведь свои тонкости — не просто прирезать кабанчика, а собрать всю кровь на колбасы, и просмалить соломкой, чтоб сало стало духовитым, и отпарить шкурку кипятком под овчиной, и длинной щетины на дратву надергать, и разделить, не потеряв ни полфунта требухи, и кишки собрать и размыть... А уж если у хозяина вырастал клыкастый кнур пудов на шесть-семь, то забой становился прямо-таки опасным для жизни занятнем.

— Я старший здесь... по «истребительному батальону», — пояснил я Климарию. — Покажите документы.

Семеренков следил за нами с выражением ужаса. Гончар, конечно, знал этого мужика по фамилии Климарь...

Уже почти стемнело, зажглись первые звезды. Забойщик полез за пазуху, достал несколько бумажек. Я их внимательно рассмотрел, истратив две драгоценные спички. Надо думать, документы были липовые. Справка об освобождении от воинской повинности по причине невроза сердца и общего склероза сосудов. Названия болезней ничего не говорили мне, но звучали внушительно. Справка из Ханжонковского сельсовета, «выданная гр. Климарю...». Ханжонки... Это село было в белорусской стороне, на севере, на изрядном расстоянии от Глухарки. Справка об инвалидности... Сколько бумажек набралось — хоть шапку ломай перед ним!

— Невроз сердца — это что же такое? — спросил я.

— Вот! — он вытянул руку. Ручища у него была что надо. Каждый палец как патрон от ДШК, а этот пулемет пробивает танкетки. Пальцы дрожали крупной дрожью. Как на балалайке играли.

— Сердце нервное, — сказал забойщик. — Отсюда общее дрожание организма.

— Как же вы кабанчиков забиваете? — спросил я. — Они меж пальцев не проскакивают?

— А я после двух стаканов их забиваю, — пояснил он охотно. — Тогда в организме наступает временное успокоение.

«Устроить бы тебе постоянное успокоение, — поду-

мал я, — на Гавриловом холме!..» Я все еще рассматривал бумажки, расспрашивал, сделав строгое лицо, где находятся Ханжонки, кто там председатель сельсовета, а сам все размышлял о том, что же предпринять.

Собачка, конечно, не была уликой, собачку он мог подобрать в лесу, но она навела на подозрение, и дальше пустые клеточки стали заполняться сами собой.

Я едва сдерживал себя от возбуждения. Вот оно, открылось!.. Вспомнил рассказ Малясов, как Штебленок в последний свой день неожиданно собрался в райцентр. Произошло это сразу после того, как «ястребок» пришел к Кроту, где случайно встретился с забойщиком. Тогда я не мог обратить внимания на эту деталь; забойщик был для меня безликой фигурой. Теперь эта расплывчатая фигура приняла реальные квадратные формы могучего Климаря. Встреча Штебленка и Климаря приобрела особый злобный смысл. «В тот день Штебленок ходил к Кроту забивать кабанчика», — сказал во дворе гончарного заводика Семеренков. Он бросил мне маленькое зернышко, он ничего не сказал, никого не выдал, надеясь на мою догадливость.

Сейчас Семеренков сидел ни жив ни мертв. Наверно, он раскаивался даже в том, что бросил такое крохотное зернышко.

Я еще многого не понимал: не хватало времени, чтобы свести концы с концами, но одно стало ясно — Климаря нельзя упустить.

— Ладно! — я рассмотрел каждую закорючку в бумагах. — Документы в порядке. Извиняюсь: время такое...

— Мы понимаем, претензий нет!

Он так и сказал — «претензий». Начитанный был забойщик.

— У меня просьба!

Он с уважением наклонил голову, готовясь выслушать.

— Вот как раз я собираюсь резать кабанчика... Так что вы пришли вовремя.

— Мы понимаем, — сказал забойщик. — Обычно я беру кило сала, круг колбасы — это кроме того, что на «оздоровление организма». Ну, а с вас... только на оздоровление... как с представителем!

— Переночуете у меня, — сказал я. — Пойдемте!

— А вот передохну! — ответил он, доставая кисет. — Сердце зашлось от ходьбы.

Мне не хотелось оставлять его у Семеренкова, но я боялся показаться слишком настойчивым.

— Ладно. Заходите после. Пятая хата по правую руку, спросите Серафиму — это моя бабка.

— Слышали про Серафиму, — сказал Климарь.

Еще бы! Я пошел к калитке. Собака рванулась было следом, но Климарь удержал ее за веревку.

«Как же это он узел на ее шее завязал, да так быстро и ловко? — подумал я, прикрывая калитку и глядясь в две тени на завалинке: громоздкую, тяжелую, и длинную, тонкую, как бы растянутую сверху вниз на белом экране стены. — Как же это он справился с веревкой трясушимися инвалидными руками? Никто двух стаканов для успокоения еще не подносил. Ловко ты, Климарь-забойщик, вяжешь узлы из веревки! А может быть, не только из веревки? Из пружинистого провода тоже?»

11

— Серафима, — сказал я. — Ты только не волнуйся, Серафима!

Она усталилась на меня обеспокоенно. Две маленькие площадки отражались в ее глазах, запутавшихся в паутине морщинок.

— Мы завтра забьем кабанчика, — сказал я. — Забьем Яшку. Я тут договорился с забойщиком, он скоро придет.

— Ты сдурел, — Серафима охнула и села на табуретку. — Он же еще недоросток, Яшка. Он же еще такой подслинок, как и ты.

— Что делать? Надо!

— Ой, чтой-то ты задумал, черт подраненный, — сказала бабка. — Не пойму я тебя, разумный шибко. Скоро Гната переразумеешь.

— Серафима, когда придет забойщик, ни одного слова о том, что ты не собиралась забивать Яшку. Ты его собиралась забивать, ясно? Ты просто об этом мечтала!

Я подошел к ней и обнял. От ее кацавейки всегда пахло странной смесью нафталина и шоколада. Когда-

то, до войны, в украшенном резными жестяными набоечками сундуке вместе с ценными носильными вещами бабка хранила шоколад. Эту помещицью сладость она распробовала уже после революции и очень уважала. Теперь в сундуке хранилось всякое рваное барахло. Но оно было пропитано ароматом довоенного благополучия.

— Серафима, ненью, — сказал я. — Очень тебя прошу.

Бабка любила Яшку, это я знал, но меня она любила больше.

— Ладно, — сказала Серафима. — Не знаю, что ты удумал... Бог с тобой.

Я поцеловал ее в морщинистый лоб. «Ничего удивительного, что забойщик объявился именно сегодня вечером, — подумал я. — Как только бандитам донесли о гибели Саньки Конопатого, Горелый незамедлительно должен был выслать разведчика. Интересно, а кто мог передать сообщение и как?»

— Слушай! — Серафима вдруг отстранилась от меня, и в голосе ее прозвучала тревога. — А ты вдруг не свататься надумал, жеребьячья душа? С тебя станет ума!

А что? Я рассмеялся. Это была идея! Почему бы мне в самых лучших глухарских традициях — вот так, ни о чем не переговорив с будущей невестой, не взять да и посвататься? От этой мысли мне стало радостно и страшно. А вдруг мне вынесут гарбуза?.. Хотя я и один парубок на селе, но не такая уж цаца. Антонина достойна лучшего жениха, чем «ястребок» с пробитыми потрохами. Но все-таки... а вдруг?

— Серафима, — сказал я. — Дай я тебя поцелую еще раз.

Но она отстранилась и прошипела:

— И не вздумай. Не получишь благословения. Вот свезешь меня к «Гавриле», тогда и посватаешься. Это она тебе голову задурила. Ты молодой! Тебя по ночному, по бабьему этому делу задурить нетрудно. У нее вон сколько мужиков перебивало, она все понимает. А ты нюни и распустил!

— Серафима, дай слово вставить. О ком ты?

— Да об этой, о ком же, об Варваре!

И она принялась ее характеризовать. Заслушаться

можно было Серафиму, когда она по-настоящему, с вдохновением бралась за дело.

— Серафима, ты просто народная сказительница! Но я не к Варваре хочу свататься. Утихомирься!

— К кому же?

— К Антонине. Семеренковой!

Серафима застыла.

— Так-так-так... — сказала она.

«Что он там поделывает, Климарь? — подумал я. — Расспрашивает, как был убит Санька?.. Жаль, я не могу явиться туда. Но если посватаюсь, то смогу бывать у Семеренковых, и Антонина окажется под моей защитой». Это была толковая мысль — сватовство! Ай да Серафима!

— Ну слава богу, — вздохнула бабка, поразмыслив над услышанным. — Девка хорошая. Душевная. Преданная будет... Да ведь молоды вы оба. Совсем зеленые. Куда вам?

— А сколько тебе было, когда дед высватал? — спросил я. — Шестнадцать!

— Зато деду было под сорок. — сказала бабка.

— Что ж мне, двадцать лет ждать?

— Ладно, — сказала Серафима. — Хорошая она девка. По правде сказать, на селе у нас лучшей и нет.

Глазки у нее засветились, у Серафимы. Она заулыбалась.

— Ты, когда сватать пойдешь, не очень-то улыбайся, — сказал я. — Подожди, война кончится, челюсти тебе вставим.

— Балаболка, — отмахнулась Серафима, но улыбаться не перестала. Идея сватовства нравилась ей все больше и больше. У нее созревали какие-то планы, и образ Антонины этим планам, видимо, не противоречил.

— Постой! — спохватилась вдруг она. — Она ж теперь сталась немая!

— Во-первых, не немая, а просто не разговаривает, — сказал я. — А во-вторых, ну и что?

Серафима задумалась.

— А в самом деле ничего, — сказала она. — Может, даже лучше.

— Ну ладно, — сказал я. — Это ты уклонилась.

Она подперла щеку желтым кулачком и задумалась, глядя на плошку.

— Языкатая жинка правда ни к чему, — пробормотала она. — Лучше немая, чем языкатая.

— Я схожу по делам, — сказал я ей. — А ты зайди, когда зайвится, привети. Бутылочку, что ли, выставь. Лишнего не болтай. Он мне не самый большой друг, зайщик-то!

Было темно. Луна еще не всходила. От свежего, морозного воздуха меня чуть не закачало, как от первого. Слишком уж много событий пришлось на сегодняшний день... Мысли принялись разбегаться, как овцы. Постояв у плетня, я старался собрать их в один загон. Идея сватовства как-то выбила меня из колеи, а ведь не об этом следовало сейчас думать. Еще много предстояло стрельбы от сватовства до заручения. Еще надо было крепко голову поломать надо всем, что происходило в Глухарке и вокруг, чтобы не сосватал нас Гаврилов холм.

Я еще не был полностью убежден в том, что Климарь — виновник гибели Штебленка. Последнюю точку должны были поставить Малясы. И я отправился к ним. Медленно побрел по улице вверх. Ох, устал я за этот день. Не ручной пулемет, казалось, тащу на плече, а бурлацкий канат, к которому забуксирена вся Глухарка, вместе с гончарным заводиком, кузней и Гавриловым холмом.

Окна в хате Малясов уже не светились. Собака, сеттер-лаверак местного происхождения, встретила меня вялым лаем. Я постучал и назвал себя. Малясика сразу открыла.

— Входите, входите, — пробубнила она из темных сеней. — Мы еще не спим... Олия* в каганце кончилась. Насчет керосину вам не разъяснили в районе, Иван Николаевич?

— Еще нет, — сказал я. — Зажгите пока лучинку, что ли...

Она открыла заслонку в печи, выгребла ухватом уголек и раздула пламя на длинной смолистой щепе.

* Олия — постное масло (укр.).

Маляс в полотняной рубаше и солдатских кальсонах сидел на печи и задумчиво расчесывал бородку пятерней. Мое появление в поздний час его озадачило.

— Того-сего, — задумчиво произнес он.

— Попрошу вас обоих пересесть вот сюда, — сказал я и указал на лавку.

Тут надо было сразу брать быка за рога, не церемониться. Я достал карандаш и кусок газетной бумаги. Карандаш и бумага всегда действовали на глухарчан страшнее оружия. Угроза, исходящая от оружия, понятна, карандаш таит беды неясные, мистические, как поповская анафема.

— В прошлый раз вы недосказали, как стало известно следствию (я с особым удовольствием произнес это страшное слово), важную деталь. А именно: что произошло после того, как вы вернулись от Крота, где помогали забивать и разделывать кабанчика? Попрошу дать показания немедленно!

Маляс, держась за бороду, пересел на лавку к жене. Оба были ошеломлены и глазели на меня, как на привидение. Нельзя было терять ни секунды.

— Ну-с, я слушаю!

И я написал на клочке бумаги: «Показания гр. Малясов».

— Прошу дать показания!

Я совершенно не знал, как допрашивают «гр.» в милицеской практике. На фронте допросы были несложны.

Малясы переглянулись испуганно и снова уставились на бумагу. Я волновался не меньше их. Даже карандаш прижал плотнее к бумаге, чтоб не прыгал.

— Я скажу, скажу, — заторопилась Малясиха, но муж перебил ее:

— Тут все ясно, гражданин Капелюх, а не рассказывали мы раньше по причине...

— Позабылись! — снова вмешалась Малясиха. Она придерживала шубейку обеими руками на груди и могла толкнуть мужа только плечом, но и от такого толчка тощенький Маляс чуть не слетел со скамейки. — Он тут вам наговорит три бочки голготни... Вы меня слушайте!

— Ближе к делу! — потребовал я.

— Как только Штебленок, постоялец-то наш, подал-

ся в район, к нам шасть забойщик, Климарь-то, — сказала Малясиха. — Весь запыхался, не в себе мужик. Мы думали, может, выпил, он ведь забойщик, положено: у Крота кнур был чималый!..

— Пудов на девять, того-сего, иклы как штыки, — пояснил Маляс. — Слон, а не кабан!

— Что он сказал?

— Кто?

— Забойщик, кто ж еще? Говорите короче!

— Он спросил, где Штебленок.

— А зачем ему был Штебленок?

— Мы не знали... Видели только — забойщик не в себе.

— Что вы ответили?

— Мы сначала ничего не ответили. Того-сего! Мало ли куда «ястребок» может пойти, всякому не положено знать. Мы понимаем!

Жена на этот раз посмотрела на Маляса одобрительно.

— Мы ничего не сказали, тогда он достал ножик... ну, этот, забойный, в крови еще, он только кончил разделывать...

— Загрозился! — вмешалась Малясиха. — Так загрозился, страсть! Мы оба разве так чего сказали бы? Никогда!

— А что вы сказали?

— Ну, что Штебленок в район побежал, — продолжил Маляс. — А Климарь ножиком помахал и говорит: помалкивайте пока на здоровьечко. А то потом будет и с вами то же. Мы не поняли, что с нами будет...

— А потом поняли?

— Ага...

— Мы бы вам рассказали, да малость позабылись, — бойко закончила Малясиха. — Мы не от умысла. А что нам за это будет? За плохую память?

Она была плотная, четырехугольная и казалась неповоротливой, но язык ее работал бойко и глазки глядели смыслено.

— Пока ничего не будет, — сказал я. — Помалкивайте обо всем!

Оба так и остались сидеть с вытаращенными глазами. Все требовали от них лишь одного — помалкивать...

Чуть посветлело на улице. Луна уже появилась над лесом. Красная, огромная. Я вспомнил почему-то залитую кровью кожанку на Конопатом Саньке. Мы так и похоронили его в этой куртке. Она была продырявлена насквозь. Попеленко горевал, что пропадают рукава, и хотел срезать их на верха для сапожек кому-то из своей гвардии или на варежки, но я не дал...

Гаврилов холм под луной выделился черным пятном. Мне казалось, с того часа, когда я взобрался на этот холм с пулеметом за плечами, прошла целая вечность. Вот так же растягивается время в разведке. Возвращаешься — и чувство такое, будто года два не видал ребят. А они за это время не успели двух раз отобедать!

Теперь я мог не сомневаться насчет Климаря: гореловский он подручный или нет. Очевидно, в тот день, придя к Кроту и случайно встретив забойщика, Штебленок признал в нем бывшего полиция. Может, они еще раньше сталкивались там, на белорусской стороне, в те времена, когда «ястребок» партизанил. Штебленок, конечно, понимал, что не может задерживать Климаря: тут же явится на выручку вся шайка. И «ястребок» отправился за помощью в район.

Но и Климарь почуял неладное! Он явился к Мясам для проверки и... Но как они успели догнать Штебленка? Ведь ни у Климаря, ни у других бандитов не было лошади.

Пустынной улицей, постепенно высветляющейся под луной, я прошел к Попеленко. По дороге осторожно заглянул во двор к гончару. В хате светилась плешка. Сквозь занавеску видны были две головы. Семеренков говорил о чем-то, Антонина слушала, положив подбородок на скрещенные пальцы. Климарь уже ушел...

Попеленко сидел с автоматом за плетнем своей хаты.

— Кто идет? — спросил он по всей форме и, не дожидаясь ответа, поздоровался: — Добрый вечер, товарищ Капелюх! Докладываю: ничего такого не замечено. К старой Кривендихе пришел с Ожина на побывку сын Валерик, с Черноморского флота... Гулять, наверно, будут!

— А еще что?

— Да ничего... До вашей хаты пошел забойщик от Семеренковых.

— Больше он никуда не заходил?

— К Варваре. С самого начала еще заглянул.

— Чего ж не докладываешь?

— Да ну, Климарь! — сказал Попеленко. — В первый раз, что ли, тут бродит? Пьянчуга. Он как бочка, Климарь, лей ведрами.

Круглое, благодушное лицо Попеленко соперничало с луной. Он сидел со своим автоматом среди золотых шаров, как в оранжерее.

— Попеленко! — сказал я. — Ты помнишь, когда Штебленка убили? Ты свою Лебедку давал в этот день кому-нибудь?

Он наморщил лоб.

— Ты отвечай без галушки во рту. Четко. Ты насчет Лебедки все помнишь! Давал или нет?

Он вздохнул.

— Не вздумай сбрехнуть начальнику. Время пока еще военное. Насчет трибунала помнишь?

— Давал я Лебедку, товарищ Капелюх! — выпалил «ястребок».

— Кому?

— Варваре, товарищ Капелюх. Уговорила чертова баба. Она знает как умеет улестить. Да вы же знаете, товарищ Капелюх!

— Короче!

— Говорит, ситчику три метра дам жинке. У Варвары добра хватает, навывеняла... А ей срочно надо было сена из лесу перевезти, хмарилося в тот день. Да... Ну и позычил* я ей Лебедку.

— Ты не видел, она сама ездила за сеном или кто другой? — спросил я.

— Видел. Климаря послала... Чего ж, мужик здоровый. Если поднести чарку — копну за час перекидает. А может, она еще чего ему обещалась... Товарищ Капелюх, — сказал он почти жалобно, — я понимаю, лошадь казенная. Так ведь ситчик... знаете, жинке, в сний горошек... У меня дети, сами понимаете... Приходит-ся маракувать**.

* Позычил — одолжил (укр.).

** Маракувать — крутить мозгами (укр., разг.).

Он усиленно захлопал белесыми ресницами.

— Интересно, а у Штебленка остались дети? — спросил я.

— Не знаю... Остались — так что ж. Со всеми может такое быть несчастье... Разве ж я не понимаю?..

— Нет, не понимаешь.

— Да чего ж?..

— Помолчи!

Я не стал ему объяснять, куда и за кем гонял Климарь казенную Лебедку. Не пришло еще время для такого разговора.

Все точки в истории со Штебленком были расставлены, все прояснилось... Арестовать забойщика, отправить на скрипучей телеге в район? Бандиты отобьют. Послав в село Климаря, они наверняка следят за дорогами.

Допросить самим, разузнать все, что нужно, о шайке Горелого? Но Климарь ничего не скажет. Будет ждать, когда дружки освободят его. В райцентре, где у него исчезли бы надежды на спасение, он выложил бы все, а в Глухарке ему ничего не грозит — Горелый рядом, ручка близка. Будет молчать и ждать... Ему хорошо известно, что мы не можем уподобиться полициям и выбить из него нужные сведения с помощью приклада или шомпола... У нас закон, советский закон, и Климарь знает об этом.

«Фашисты — те не церемонились, когда нужно. У них были хороши все средства... Быть может, нарушение закона и дает выгоду, — подумал я. — Но временную. Что потом? Люди перестают тебе верить. Рано или поздно такой момент наступит. Ты в режешь Климарю и добьешься от него того, что тебе нужно: а завтра люди скажут — «полицай». И не жди от них поддержки...»

Был еще один выход: отправиться в Ожин, попросить конвойную группу. Штебленок рассуждал так же. Но он пошел в Ожин пешком, и у него почти не было шансов проскочить...

— Попеленко! — сказал я. — Завтра я забиваю кабанчика. Климарь будет резать.

— Дело хорошее, — оживился Попеленко. — Я помогу!

— Тебе придется сейчас же седлать Лебедку и ехать в Ожин.

Он скривился, как от укуса шершня.

— А вы, товарищ Капелюх?

— Поехал бы, да не могу оставить Климаря.

— Конечно, — пробормотал Попеленко. — Разделывать надо кабанчика. Я ж понимаю...

Он всерьез думал, что я намерен остаться в Глухарке ради колбас. Причина казалась ему достаточно веской.

— Климарь — связной у Горелого, — сказал я. — Его я должен задержать здесь, пока ты не приедешь с подмогой. Понял?

— О-то-то! — простонал «ястребок». — Пьянчуга этот?

— Да. Пьянчуга. Этот.

Он сокрушенно замотал головой.

— А что ты думал, Саньку Конопатого убили — и победа? — спросил я. — Поезжай!

— И не жалко вам меня, товарищ Капелюх?

— Теперь не жалко, — сказал я. — Достаточно, что ты сам себя жалеешь. А на войне жалость дорого обходится. Кто-то другой за нее платит.

— О-то-то!..

— Поезжай, — добавил я уже мягче. — Будь осторожен. Возможно, село блокировано.

«Блокировано» — хорошее словечко. Оно придумано кабинетными полководцами над большой, крупномасштабной картой. Но Попеленко это слово не успокоило. Он мыслил не стратегически, а по-крестьянски, конкретно.

— Проскочишь, — ободрил я «ястребка». — Вон морячок прошел!

— Да зачем им морячок? Засаду выдавать?

— Тоже верно... Собирайся, Попеленко.

— Товарищ Капелюх! — взмолился он. — Прикажете строго! А то вы вроде беседу разговариваете, я так не могу! Дуже темно сейчас в лесу!

Он оглянулся. Позади уютно светились запотевшие окна мазанки.

— Выполняйте приказ, Попеленко, — сказал я. — Иначе — трибунал.

Он вздохнул с облегчением.

— От так добре!.. А я вам своего старшего, Ваську,

определяю за хатой Варвары присмотреть. Он дуже сообразительный у меня!

И, зашелестев жухлыми листьями золотых шаров, «ястребок» отправился седлать Лебедку. Эх ты, Попеленко! Был бы добрый из тебя казак, да все твои мысли о хате, где орут и просят хлеба девять ртов. И все жалеют тебя. И ты к этой жалости привык, словно к старым кирзачам, которые носишь не снимая. «Три метра ситчика» за казенную Лебедку... Из-за этих трех метров погиб Штебленок.

13

Климарь, к моему удивлению, быстро нашел общий язык с бабкой Серафимой. Перед ними стояла бутылочка сизача, сковородка с яичницей на шкварках, малосольные огурчики и прочие деревенские угощения, которые положено выставлять, когда в хату приходит нужный человек, мастер.

— Проздравляем! — сказал мне Климарь, и огонь плошки заметался от его густого дыхания. — Не знал! Проздравляем! Конечно, в наше время свататься лучше с кругом колбасы... Правильно рассудили насчет кабанчика. Душа от колбасы добреет.

Серафима рассмеялась. Мы выпили по чарке. Я как следует разглядел забойщика. Он был очень здоров. На волосатых запястьях вздувались сухожилия. В каждом движении ощущалась сила. Железяка, а не мужик, его, наверно, отковали по частям, а потом собрали на болтах. То-то в нем все скрипело и хрипело. Алкоголь не лишил его крепости. Кем он служил у Горелого, интересно? Палачом?

— Определенно проздравляем, — снова шершаво, наждачно прогремел бас Климаря. — Девуца, можно сказать, первый сорт.

Глаза его плотоядно блеснули под щетками бровей. Да, при мысли о таких вот гореловских дружках и трепетал Семеренков за свою Антонину.

— Завтра с утречка разделаем вашего кабанчика, — заверил меня Климарь. — В лучшем виде. Чистенький получится. Кипяточку заготовьте цебарочки две-три, солонки свежеснякой... Ножички у меня с собой, подточим... Брусок найдется?

— Найдется, миленький, найдется! — завершила его Серафима.

Что это с ней произошло, с бабкой? «Миленький!» — Некоторые думают, что кабанчика забить — раз плюнуть, — продолжал Климарь. — Э, нет... Да я!..

Меднолицый квадратный Климарь начал как бы развезжаться в моих глазах, наподобие гармоники. Плошка медленно поплыла по хате. У меня был сегодня нелегкий день. После рюмки самогона это особенно чувствовалось.

— Бабка, — сказал я, едва ворочая свинцовым языком. — Пойду спать.

Я взял прислоненный к притолоке МГ.

— Иди, миленький, иди, — сказала Серафима и перекрестила воздух передо мной и пулеметом. — Замо-рился, работы много, — пояснила она забойщику.

Климарь с любопытством осмотрел МГ.

— Умеете? — спросил он не без уважения. — Я слышал, у вас сегодня утром одного ухлопали.

— Ухлопали, миленький, ухлопали! — успокоила его Серафима.

Я повалился на топчан, под окно, заделанное фанерой, и поставил МГ в изголовье. Карабин и нож — весь арсенал находился под рукой. Нападения с улицы я сегодня не опасался. Пока Климарь не вернется со сведениями о положении в Глухарке, они сюда не пойдут. Но присутствие самого Климаря в хате внушало мне беспокойство. «Не буду спать, — решил я. — Пока они болтают за перегородкой, передремлю. А уж потом придется пободрствовать». Мне хорошо запомнились две рукоятки, торчащие из-за голенища у забойщика. Никто не мог поручиться, что Климарию, помимо разведки, не дали задания доделать работу, с которой не справился Санька Конопатий.

— Рано или поздно все они разлетаются, — сетовала бабка. — У нас так: «Мне мать не род и отец не род, мне та родина, ктора жинку родила».

— Верно! — поддакивал Климарь. — У нас на белорусской стороне так говорят.

— Вот я вам расскажу про Аринку, — слышал я сквозь дрему. — Вы там в Ханжонках про Аринку не слыхали?

— Н-нет, — отвечал Климарь.

Судя по его заплетающемуся голосу, на столе появилась вторая бутылка. До чего расщедрилась Серафима!

— Так то ж моя двоюродная сестра! — удивилась бабка. — Аринка Довгопятая, под Ханжонками живет. Она старейшая за меня, лет на десять. И вот посватался за нее парубок, Микола, уж малец самый красивый на селе.

— 3-за старуху? — удивился Климарь.

— Да ты, миленький, слушай ухом, а не брюхом, — сказала бабка. — То ж было еще при царе... Он сразу за двух посватался, Микола...

— Ге-ге-ге, — рассмеялся забойщик, словно в бочку поколотил. — Не дурень!

— А я не говорю, что дурень, я говорю — красивый... За той, за другой, машину давали, а за Аринку — сто рублей.

— Какую машину? — спросил забойщик. — Откуда машину-то взяли?

— Как откуда? Молотилку! Ну, он подумал, потом пришел на заручення к Аринке — сапоги начищенные, рубашка шелковая... Аринка — она худющая, желтая, ну, чистый дрючок, по три юбки надевала, исподняя до земли дотиралась, чтоб ноги прикрыть — то-онюсенькие были...

— Ге-ге-ге...

Аринка!.. Бабка сегодня в ударе, это ее коронный рассказ. «Передремлю немного, пока Серафима угощает гостя длиннющим рассказом о трагической жизни Микола и Аринки», — подумал я. И провалился в сон. Никакой хирургический будильник уже не мог меня разбудить... Я провалился, я летел куда-то вниз, словно выброшенный из самолетного люка, пока наконец не попал в мягкое, удобное облако. Последней моей мыслью и заботой был Попеленко. Успеет, проберется ли?

Я проснулся, когда в окнах уже забрезжил свет. Часов восемь отхрапел! Потянулся к оружию — весь арсенал на месте. За перегородкой все еще горела плешка. Я заглянул в щель и увидел бабку Серафиму. Она сидела за дощатым, уже чисто прибранным столом и держала перед собой толстую книгу. На печи разда-

вались равномерные звуки, там как будто дрова пилили... Климарь посапывал.

Я протер глаза. Бабка, сонно покачивая головой, упрямо глядела в книгу. Это была ее любимая книга, тщательно оберегаемая, завернутая в газетку, — «Борьба миров» Уэллса. Я привез роман как-то до войны и детально пересказал бабке содержание. Серафима охотно слушала изложения всяких серьезных книг, а затем передавала услышанное старухам соседкам. «Борьбу миров» бабка посчитала священной книгой, наподобие Библии.

«Вот здесь, голубушки, все изложено, — говорила Серафима подружкам, — как будет конец света за грехи наши, как прилетят с планеты Марс черти на трех ногах, будут пищать тоненько и жечь людей огненными фонариками...» В годы войны, в годы воздушных налетов, прожекторов, зенитной стрельбы, десантов, нашего грохочущей техники, Уэллс был окончательно отнесен к числу пророков. Старушки просто ахали, слушая Серафиму.

Итак, Серафима просидела всю ночь над Уэллсом. Самым примечательным было то, что бабка не знала грамоты. Она и расписываться-то не умела: крестик ставила.

В сенях, у умывальника, в котором звякали льдинки, я спросил у Серафимы:

— Ты что это «зачиталась»?

— А чего? — спросила она и вздохнула устало. — Ты меня за дурочку принимаешь? Я сразу увидела, что он не с Беларуси. Говорит, из Ханжонок, а сам разговор нашего толком не знает. Он там бывал, но толком не знает. Не нравится он мне, Климарь этот, душегуб какой-то... Вот я и отдежурила, грешная, чтоб ты поспал...

— Серафима, — сказал я. — Ты можешь служить в контрразведке!

Умненькие глазки-пуговицы Серафимы были печальны и тревожны. Сердце ее, вмещавшее сразу две любви — мудрую бабкину и беззаветную материнскую, чувало беду. Я обнял Серафиму. К запаху шоколада и нафталина примешался махорочный дух, которым пропитался воздух в нашей хате.

— Ты уж поберегайся его, сынок, — сказала бабка.

4

глава



1

Несмотря на ранний час, во дворе было светло. Ветер разогнал туманную муть. Пес Буркан, привязанный у сарая, сердито прохрипел и тявкнул раза два, но затем, признав меня, вильнул хвостом. Он был охотничьим псом, а не злобным стражем.

Ветер сносил листву с вишен и акаций. Как там Попеленко? Беспокоиться было еще рано, но я зябко пожегся, вспомнив его «гвардию», что занимала, темнея грязными пятками, полати в углу. Может, зря я не пожалел «ястребка»?

Село начинало просыпаться. Утро располагало к трезвости, расчету. Скоро проснется Климарь, хмельная одурь слетит с него... Что же предпринять, если Попеленко не вернется вовремя? И тут я вспомнил о предстоящем сватовстве! Черт возьми, ведь я должен послать Серафиму к Семеренковым! Это событие предстояло в утреннем, ясном и четком свете. Сегодня вся моя жизнь должна была измениться. Еще вчера я жил с ощущением предстоящей любви, с ощущением надежды, чего-то загадочного и прекрасного, что еще предстояло пережить... Теперь это загадочное приняло реаль-



глава

4

ные, деловые очертания. А вдруг Антонина скажет бабке «нет»? Гарбуза вынесет?

Я бросился к бабке.

— Серафима, давай горячей воды — бриться... Посмотришь за Климарем. Налей ему самогонки, если проснется.

Я помчался к озимому клину. Не было сомнений, что и в это утро Антонина пойдет к родниковой опушке. Преодолеет страх, возьмет коромысло, два ведра, уложит в них всю нехитрую снедь... Она не сможет так просто отказаться от мысли найти сестру, вернуть ее. Она привыкла к этой ежеутренней надежде.

Я бежал узкой тропкой, боясь опоздать. Ветер сдул соль инея, и озимь была чистой, ярко-зеленой. Вдали вставал розоватой шапкой Гаврилов холм. Над селом: темнел гребешок дымок. Сердце у меня билось от бега и волнения.

Я увидел ее издали и остановился. Она возвращалась от родника живой и невредимой. Шла по тропке,

опустив голову, легко неся коромысло с двумя полными ведрами, не проливая ни капли и ступая по тропе, как по струне. Тоненькая, в старом пальтишке, сбитых сапогах и черном платке. И все мои тревоги исчезли. Я стоял и ждал ее. Она смотрела под ноги, задумавшись, но вскоре почувствовала чье-то присутствие и подняла глаза.

Солнце уже подступило к горизонту. В этот ясный день оно еще до восхода высветило все вокруг. На Гавриловой дороге волновались под ветром плакучие ивы. По озими ходили темные волны, ветер приглаживал зелень. Мне показалось, что вся моя жизнь уплотнилась до такой степени, что вошла в это утро без остатка. Ожидание Попеленко, предчувствие схватки с бандитами, соседство Климаря с двумя ножами за голенищем — все настоящее, и все, что было: фронт, мина-«лягушка», первый бой — все вдруг вошло в рамки одного утра, и я стоял, сдавленный тяжестью соединившихся событий и переживаний, не в силах был сдвинуться с места. Сейчас должно было решиться самое важное в моей жизни, самое главное...

Она сняла с плеча коромысло — движение было гибким и сильным — и остановилась против меня. В ведрах плескалась розоватая вода. Антонина поправила прядь русых волос, выбившихся из-под черного платка. Она не улыбалась, не отводила глаз, просто поправила прядь. Я никогда не видел более красивой девчонки. Я чувствовал, что и не увижу больше, потому что, даже если она станет еще краше, не повторится эта острота переживаний, эта сжатость времени.

— Доброго ранку, — сказал я. — Вы за водой ходили?

Она ничего не ответила на этот дурацкий вопрос. Смотрела прямо на меня.

— А я вот вышел сюда...

Мне было страшно. Если бы можно было отложить этот разговор, я бы, наверно, промямлил что-нибудь и прошел мимо. Но солнце собиралось выглянуть из-за озими, наступал хлопотный, тревожный день.

— Я не случайно сюда пришел... Я всегда...

Э, да что я бормотал? Все равно уж — решиться, как в холодную воду нырнуть, тут важно только оттолкнуться от земли, и все.

— Скоро к вам придет моя бабушка... Серафима... Она придет сватать вас, Серафима... Я просил ее. Пожалуйста, не бойтесь!

Она смотрела мне прямо в глаза.

— Вы имеете право отказаться. Нелепо так свататься. Но в селе принято... Я думал, так лучше. Я вас не дам в обиду.

Солнце уже показало обод из-за зеленого горизонта. И тотчас розоватая полоса пролегла на влажной траве, как на воде. Петухи заорали, словно оглашенные, с Гаврилова холма сорвалась стая птиц. Они пронеслись над нами, возбужденно гомоня.

— А в общем, все ерунда! — вдруг выпалил я. — Я тебя полюбил. Полюбил — и все. Пожалуйста, выходи за меня замуж.

Она оставила свое коромысло с ведрами и шагнула вперед, продолжая смотреть мне прямо в глаза. Я никак не мог определить цвета этих глаз; видел четкие линии большого рта, брови, родимое пятнышко на виске и все старался угадать цвет ее глаз, как будто это было очень важно. Она подошла и прикинула ко мне, и мои руки сомкнулись на ее спине. Это произошло само собой, так естественно, как будто ничего другого и не могло быть.

Я вдруг ощутил всю невыразимую живую твердость и нежность, угловатость и мягкость ее тела. Она молча прижалась ко мне, и при всем ее росте и прямизне голова ее оказалась под моим подбородком, и я почувствовал сквозь шерстяную ткань черного старенького и латаного платка запах ее волос. Они пахли сухим клевером, тем клевером, что скошен был третьего или второго дня и пролежал под солнцем, впитывая ароматы луга.

Она вручала себя мне. Без слов, наивно и откровенно. Это был ее ответ. Мне стало сладко и страшно. Я вдруг ощутил, что это такое — отвечать за другого человека. Я ощутил это всем своим существом, прижав руки к ее острым лопаткам и впитывая запах волос. Теперь она никогда не выйдет из моей судьбы, из моих мыслей. И всегда, даже если нас разделит расстояние, я буду чувствовать себя так, как если бы она стояла, доверчиво прижавшись телом, вручив мне свою жизнь...

И в это пронзительное утро я понял еще одну вели-

кую тайну: даже если человек прошел войну и испытал близость смерти, и силу фронтовой дружбы, и боль ранений, и многое другое, он не может быть мужчиной, пока не узнает чувство ответственности за женщину.

— Антоша, — сказал я.

Я воспользовался именем, которое ей дал отец. Украл его. Но только это имя могло выразить все, что я ощущал в эту минуту...

Всходило солнце, ветер усилился, стал слышен шелест озими.

— Антоша!

Она подняла голову, еще раз внимательно посмотрела мне в лицо, как будто признавая своего, улыбнулась чуть-чуть, совсем слегка, краешками большого рта, и снова уткнулась в отвороты моей шинели.

2

Во дворе нашей хаты на завалинке сидел небритый, густо заросший щетиной Климарь и точил на бруске ножи: узкий, с обоюдоострым лезвием — для забоя, и длинную финку для свежевания. Сталь поблескивала на солнце.

Буркан грелся на песке и нервно поглядывал на хозяина. Звук металла, соприкасающегося с камнем — вжи! вжи! — о многом говорил ему.

— Готовимся, начальник! — сказал Климарь сырым утренним голосом. И засмеялся: — Ге-ге-ге... А я уже опохмелился!

Я идиотски улыбнулся в ответ. Я чувствовал себя таким счастливым, что готов был улыбнуться даже людоеду. От воротника шинели исходил тонкий клеверный запах ее волос.

В сарае был слышен лепет бабки. Она успокаивала Яшку. Ему перед смертью удалось узнать, что такое ласковый голос Серафимы.

День Семена-летопроводца обещал быть погожим. Уже поднималась от земли в токах прогретого воздуха паутина, выпрямились приникшие было к земле настурции у плетня. Я вошел в сарай. Зорька ушла с деревенским стадом доедать последние травы на лесных опушках, куры бродили по двору, и за дощатой перегородкой, в загончике, оставался лишь один худенький, длинноно-

гий Яшка — Серафима почесывала ему щетиный загорбок.

— Никто не был у Климаря? — спросил я Серафиму.

— Варвара забегала. Разузнать чего-то, — сказала бабка.

Она слушала, как Климарь точит ножи.

— Серафима, пора к Семеренковым, — сказал я.

— Тебе надо бы настоящую сваху, а что бабку посылать?

— Серафима, они тебя ждут, — я осторожно отвел ее от загончика. — Все будет хорошо.

— Уж куда лучше, — сказала она. — Убивцы!

Она бросила последний взгляд на своего любимца. Для постороннего, не понимающего крестьянской жизни человека поведение Серафимы показалось бы странным. Сколько она вырастила этих Яшек — и всех любила. И всех отдавала под нож... Но каждый из этих кабанчиков доживал до своего срока, набрав положенные пуды сала. Смерть была закономерной, естественной; Яшке же предстояло пасть преждевременно, жертвой сложной игры. И Серафима страдала.

...Климарь вошел в сарай с цебаркой, наполненной кипятком, и пустым ведром, в котором позванивала алюминиевая кружка. К теплым навозным запахам сарая примешался густой сивушный перегар.

— Не дрожат пальцы? — спросил я.

Он поставил ведро и, нагнувшись к голенищу, вдруг вытянул по направлению ко мне оба ножа. Движение было быстрым, лезвия блеснули у моей шеи. Я едва не отскочил. К счастью, успел подавить это инстинктивное движение. Климарь не должен был думать, что я боюсь его.

Два острия застыли передо мной. Они были неподвижны, как будто в тисках зажаты.

— Что значит принять норму, — сказал Климарь. — Бабка у вас понимающая... Не дрожат, да?

Он спрятал ножи за голенище и грузно, неуклюже перелез через загородку — чуть жерди не сломал. Яшка пискнул, бросился в другой угол и посмотрел оттуда с ужасом.

Сквозь раскрытую дверь сарая было видно, как Серафима вышла из хаты и направилась к калитке. Она не оглянулась. На ней была довоенная парадная «плюшечка», слегка повытертая, и длинная красная юбка, из-под которой выглядывали разношенные башмаки, вихлявшиеся на худых, искривленных старостью ногах. Серафима ушла устраивать судьбу Ивана Капелюха.

— Ничего кабанчик, — сказал Климарь, профессионально оценивая Яшку. — Борзоват, правда... Кабаны — они на две партии делятся: одни для сала, другие для кавалерии. Желудями не подкармливали?

— Желуди в Шарой роще, — сказал я. — А там, гляди, самого привесят к дубу вместо желудя.

— Ге-ге-ге, — заколотил в бочку Климарь. — Слышал, у вас тут шалят. «Ястребку», конечно, неприятно... Нас вот с Бурканом не трогают. Правда, Буркан?

Пес натянул веревку и, хрипя, сдавленный веревочной петлей-ошейником, заглянул в сарай.

— Вам, «ястребкам», надо подкреплению просить, — сказал забойщик, как будто невзначай, все еще приглядываясь к Яшке. — Из райцентра! Маловато вас...

— Хватит!

— Ага.

И, издав короткое «хек», забойщик ринулся в угол, где застыл Яшка. Тот отчаянно заверещал. Резвый он был, не сальный, увернулся и бросился в противоположную сторону сарая. Климарь выказал удивительное проворство. Как только Яшка попытался повторить свой маневр, он по-вратарски прыгнул наперерез и, ухватив кабанчика за ноги, повалил его на бок.

Яшка заверещал так, что, по-моему, в Ожине могли услышать. Копытца терзали соломенную подстилку. И вдруг крик осекся, перешел в хрип. Я и глазом не успел моргнуть — под левой передней голяшкой лежавшего на боку кабанчика торчала деревянная рукоять ножа. Климарь, придерживая бывшего и хрипевшего Яшку, крикнул и повернул лезвие. Затем, отпустив нож, потянулся рукой и ухватил ведро. Копытца все еще дергались, но все слабее и слабее. Забойщик ловко подставил ведро, приподнял голяшку, выдернул лезвие, и из отверстия ударила тяжелая красная струя. Ни одна капля не упала на подстилку.

Пес за дверью прямо удушился от возбуждения.



Яшка стих уже, теперь хрипел пес. Климарь проворачивал Яшку так, что кровь неослабевающей струей текла в ведро. Звон жидкости, бьющей в жесть, перешел в булканье: ведро наполнялось. Теперь и я почувствовал, подобно Буркану, запах крови. Это был знакомый мне густой, тяжелый, удушающий запах. Кровь животного пахнет так же, как кровь человека.

Климарь подмигнул мне. Когда он встал с ведром в руке, рана не кровоточила больше. Он был большим мастером по части забоя, этот Климарь. Своего рода талант... Он взял алюминиевую кружку, назначение которой до сих пор было мне непонятным, и зачерпнул горячий, густой крови.

— Привычка такая, — пояснил он мне. — От крови силы много прибывает. В ней сплошная сила. Даже детям сушеную кровь дают! «Матоген» называется!

Он опустошил кружку большими глотками. Я видел, как вздрагивает и надувается его шея. Кровь как будто шарами скатывалась в его нутро по глотке, растягивая ее. «Ладно, пей, Климарь. Укрепляй здоровье».

— Конечно, нема у меня той силы, как раньше, — по-дружески, доверительно пробасил он. — Хвастать не буду, нема. Я, было дело, восемнадцать пудов на второй этаж внес. На спор... Выпьешь? — спросил он и протянул кружку.

Я отрицательно покачал головой. Не мог я видеть крови.

— Зря, — сказал забойщик. — От этого большая сила на девок. Большая злость, а они это любят. Я уж знаю...

Похоже, он надумал давать мне уроки полового воспитания. Разбирался. Как же, он ведь был одним из тех, кто держал Нину Семеренкову. Не в его ли руку вцепилась зубами Антонина? Это счастье еще, что Горелый смиловился, не отдал Климарю младшую. Несмотря на теплые густые запахи сарая с его стойлами, несмотря на тяжелый земляной запах крови, слабый аромат скошенного клевера все еще пробивался от воротника шинели к моему лицу. Аромат доверия и слабости.

— Тебе сейчас это надо! — он загегекал. — Нынче от сватовства до свадьбы не ждут: война! Можно не поспеть!

Возбужденный водкой, убийством, запахом крови, сознанием своей силы и ловкости, он, кажется, стал принимать меня за своего. МГ был неподалеку. Пальцы у меня сами тянулись...

Я отвернулся. Надо было переждать несколько секунд и успокоиться. Негоже распускать себя.

— Ну, ладно, — сказал Климарь. — Там у бабки где-то свежая соломка... Пойду...

Я вышел из сарая вслед за ним. Пес лизнул мне сапог — должно быть, на него попали мелкие брызги крови. Я смотрел на дверь хаты, закрывшуюся за Климарем, — не хотел ни на миг упускать его из виду. Кто-то дернул меня сзади за шинель.

— Дядя Ваня, — раздался тихий голос. — Не чуете или что?

Я мигом обернулся и увидел старшего из «гвардии» Попеленко, босоногого Ваську. Он словно из-под земли вырос, Васька Шмаркатый. Уж если в деревне мальчишку зовут сопливый, то можно быть уверенным, что он здорово отличается по этой части. Но глаза у него, как и у всех попеленковских, были хитрые и смывленные, и подкрадываться он умел, как хорека.

— Вас тату к себе кличет, — сказал он. — Я все ждал, когда тот уйдет.

— Ну, что там?

— Ой, тату подраненный приехал... Ой, беда! — прогундосил Васька.

И шмыгнул носом. Я дал ему носовой платок.

— Утерся? Теперь скажи ясно и четко: куда пошла Варвара после нашей хаты, от Климаря?

— Никуда. До себя пошла.

— И к ней никто не заходил?

— Не... Никто!

— Ладно. Присматривай!

Он кивнул. И тут же, отвернувшись, применил два пальца, с особым изяществом приставив их к носу. Платок-«утиралку» он решил приберечь, юный Попеленко.

Я ворвался в хату Попеленко так, что чуть не сшиб молчаливую худую хозяйку.

— Ну, что с ним?

Она мрачно указала на полати. Там лежал Попеленко. Лицо его пересекали царапины. Грудь и рука были забинтованы толстым слоем какого-то тряпья. «Ястребок» посмотрел на меня глазами умирающего.

— А ну дай-ка!

Первым делом я размотал тряпье. Неумелая перевязка может быть так же губительна, как и отсутствие всякой первой помощи. Материи вокруг Попеленко было намотано столько, что она впитала бы все его соки, будь перебита какая-нибудь артерия. Под оханье «ястребка» я открыл рану. Пуля прошла между рукой и грудью, слегка срезав кожу предплечья. На ранке выступили светлые капельки лимфы.

— Ты чего стонешь? — спросил я у Попеленко. — Таких раненых фронтовой санинструктор отправляет танки подбивать. У них злости больше!

— Так мне ж не видно, а оно болит, — сказал Попеленко. — Может, там чималая шкода?*

— Ты не доехал до Ожина?

Он отрицательно замотал головой.

— Так ведь стреляют, товарищ Капелюх!

Вся сопливая компания сгрудилась в противоположном углу хаты. Она с испугом прислушивалась к моему голосу. Сама Попеленчиха сохраняла полнейшее спокойствие. Она, как обычно при гостях, стояла у дверей, скрестив руки на груди. Ко всему, чем занимались мужики, включая стрельбу, она относилась с презрением. Ее дело, ее творение, сбившееся в углу компактной глазастой массой, было неизмеримо важнее всех наших занятий.

— Попеленко! — заорал я. — Встаньте как положено и доложите о выполнении задания! Без всяких галушек, и забудьте вашу царапину!

Он тут же встал. Начальственный тон всегда производил на Попеленко впечатление.

— Товарищ Капелюх, докладываю: на Ожинском шляхе был сильно обстрелян бандюгами...

Тут он смолк, чтобы набрать воздуха в легкие. Детвора примолкла в углу — переживала за батьку.

— Дальше!

— Что ж дальше? Бьют спопереду, с двух автома-

тов... Пуля ляскнула, чую, тепло под мышкой стало. Влучили*, чертовы сыны!.. А пули чвприкают по-пад ушами, как те птички. Я только и успел что с лошади соскочить, да домой, назад, пешим ходом.

— Зачем пешим?

— А как же? Они ж слышали, что я на лошади, да и пуляют поверху впотьмах! А я, пригнувшись, до дому, Лебедка за мной...

— Тоже пригнувшись?

— Чего вы шуткуете, товарищ Капелюх? Если б я не соскочил с седла, сшибли бы, не вернулся до дому!

В углу одобрительно загалдели. Находчивость папаш и его стремление в любой ситуации повернуть до дому вызвали одобрение. Мой насмешливый тон явно осуждался попеленятами.

— Ты хоть прорваться-то пробовал, Попеленко?

Он заморгал.

— Стреляют сильно, товарищ Капелюх! Убили бы, как дурного зайца!

Ну что я мог сказать? На фронте с ним был бы крутой разговор. С поворотом «кругом» — и в штрафной... Здесь же на меня глядели бесчисленные его потомки. Каково этой ораве остаться без кормильца? Все-таки трудная штука — воевать в тылу. Совсем другой подход...

— Дуже сильно бьют из автоматов, — повторил Попеленко, оправдываясь. — Если б трошки потише стреляли! Правильно вы говорили, товарищ Капелюх, что блокировано нас. Как в воду глядели!

Это он уже льстил.

— Ладно. Нечего на горелые коржи олию подливать...

Я опустил на лавку.

Что ж предпринять? Арестовать все-таки Климаря? Нет, я еще раз убедился, наблюдая за ним, что это тертый калач. Мы с Попеленко ничего от него не добьемся. Климаря нельзя трогать. Единственный путь — сделать так, чтобы он не мог оставить села и доложить Горелому о результатах разведки. Чтобы он использовал для связи своих сообщников в Глухарке. Я не сомневался, что здесь должна быть замешана Варвара.

* Шкода — вред (укр.).

* Влучили — попали (укр.).

Если бы мы сумели взять ее с поличным, она рассказала бы гораздо больше, чем Климарь.

К счастью, он по-настоящему пьет, Климарь. «Нервозными» пальцами играет искусно, как актер, но любовь его к самогонке непритворна. Можно изображать из себя пьяного, но нельзя изобразить алкоголика.

— Попеленко! — сказал я. — Надо задержать Климаря в селе. Хочешь — пей с ним вместе беспробудно, хочешь — зови забивать собственного кабанчика, но Климаря задержи!.. С этим-то заданием ты справишься?

— Хм... — задумался Попеленко, — Моего кабанчика никак нельзя. Рано. Морозов нет. Как буду кормить семейству?

Он потер короткопалой ладонью лицо: думал. Под воздействием грубой, как терка, ладони нос его превратился в свеколку. И вдруг лицо Попеленко осветилось лукавой улыбкой.

— Товарищ Капелюх! А можно я уговорю Кривендиху кабанчика прирезать? У нее ж сын Валерик с флота пришел. Герой крымских сражений! Пусть она Климаря позовет, я ее уговорю. Какая вам разница политически, чей кабанчик?

В углу одобрительно загалдели. Юные Попеленки получили наглядный урок расторопного крестьянского мышления. Даже в лице иссушенной и жердеобразной Попеленчихи проявилось что-то, похожее на интерес к личности супруга.

— Ладно, уговаривай, — сказал я.

— Глаз не спущу с Климаря и Варвары, — обрадовался «ястребок». — И старшего, Ваську, определяю... Он хоть с виду придурковатый, а сильно сообразительный... М а т е м а т и к!

Васька застенчиво шмыгнул носом. Остальные попеленята загалдели. Все устраивалось наилучшим образом. «Тату» и сам уцелел, и кабанчика спас.

3

Морячка мы застали во дворе. Он ходил вдоль тына и пробовал, хорошо ли тот держится, — слегка пошатывал колья мускулистой, в синих пятнах наколок, рукой. Словом, занимался инспекционной деятельностью.

Тын, конечно, нечего было расшатывать, и так было

видно, что вот-вот завалится. Но для того, чтобы взяться за дело, морячку пришлось бы снять нарядную отутюженную форму и надеть ватник. А между тем на улице собрались глухарчани, глазели на Валерика. Помятое дело, расставаться с формой не хотелось, и морячок похаживал по двору, качал колышки. Кривендиха стояла у дверей мазанки, вся светилась счастьем.

Ах, хорош был невысокий скуластый морячок Валерик! Ходил он по-особому, по-морскому, вихляя бедрами, блестел никелевой фиксой во рту, блестел медалями на черной, туго обтянувшей выпуклую грудь фланельке, блестел тщательно начищенной флотской бляхой, под которой угадывалась боевая свинцовая подкладка; клещи расходились к земле колоколами, тельняшка в треугольном вырезе фланельки синела морской рябью, а воротничок вился по ветру, как флаг...

Мы с Попеленко переглянулись. Да, флот есть флот, пехоте за ним не угнаться.

Валерик протянул крепкую небольшую ладонь и три раза тряхнул мою руку — так полагалось во флоте, что ли?

— Приветствую милицию от имени славного Черноморского флота, — сказал он. — Помня дружбу юных лет, тем более сердечно приветствую. Как идет борьба с политическими выродками, бандеровцами?

Красиво говорил морячок! Дружбы юных лет я не помнил, мы с ним не раз дрались на огородах, но все равно Валерик вызывал восхищение.

— Привет, флот, — сказал я. — Боремся помаленьку... на своем участке. По ранению прибыл?

— Не. На три дня. Награжден краткосрочным отпуском за героическое освобождение Измаила, — скромно ответил морячок. — Наш взвод десантников первым высадился с «Малого охотника». Нас трое товарищей всего осталось... Ничего особенного... Давно в тылу?

— Давненько...

Тут Попеленко вмешался в разговор, отстранив меня в сторону. Он пришел сюда не для участия в светской беседе представителей двух родов войск. У него была важная задача.

— В Глухарке дуже ждали, не прибудет ли кто с флота, — начал «ястребок». — Это ж не просто, во флоте служить. Не вареника съесть... — Он говорил

громко, стараясь, чтобы его хорошо слышала Кривенди́ха. — Флот — это что? Возьмите к примеру, «Аврора», так? «Варяг»... броненосец «Потемкин»... «Червона Украина»... То ж вам не жук наплакал! Флот!

Валерик крикнул, еще более приободрился и осмотрел улицу. Из-за всех плетней на него глядели глухарчани.

— Это ж свято*! — продолжал Попеленко. — А, мамаша? — обратился он к Кривенди́хе. — У кого еще сын в таком геройском виде? Измаил взял!.. Орел!

— Ну уж это к чему? — потупился Валерик.

Но Кривенди́ха от таких душевных слов даже всплакнула.

— Надо бы гулянку устроить! — Попеленко, воодушевясь, взмахнул кулаком. — На все село! Чтобы, значит, показать, что такое наш советский флот. Неужели так, дуриком, встретим и проводим черноморца?

— А что, мамо? — спросил Валерик. Глаза его заблестели. — Как вы думаете, а?

Его можно было понять, морячка. Давно небось мечтал о дне, когда он вот так, в новенькой, отглаженной форме, пройдет вдоль тына, а родное село будет глядеть на него. дождался-таки. Вытащил выигрышный лотерейный билетик.

— Как же это? — восторгалась Кривенди́ха. — Это ж не шутка. Не кошку накормить!

— А что, мамо? — более настойчиво повторил Валерик. — Культурно получится?

— Ну, глядите, — пожал плечами Попеленко и уменьшил натиск, поняв, что зажженная спичка попала в сухую соломку. — Дело, конечно, хозяйское. Это я к тому, что у нас в селе забойщик, Климарь. Его можно было б уговорить. Я подскажу как... Конечно, глядите сами... Мое дело сторона. Я просто вижу — люди дуже интересуются флотом. Почтение оказывают...

— А что, мамо? — сказал Валерик. — Покажем селу, что есть у нас главный калибр, а? Вдарим!

Попеленко отвернулся. Глаз его хитро и настороженно косил в сторону Валерика. Ох, Попеленко! Ему бы дипломатическую выучку — и на конференцию с союзниками можно посылать. Наверняка второй фронт открылся бы не в июне, а в январе.

* Свято — праздник, торжество (укр.).

Климарь жег длинные пучки соломы, склонясь над кабанчиком Яшкой. Тот показывал неподвижные белые клыки, вздернув черную, густо закопченную верхнюю губу. Пахло горелой щетиной. Рядом с Климарем стояли две цебарки с кипятком. Он готовился отпаривать кабанчика.

— Ишь, задубел, — бормотал забойщик. — А мы сейчас его кипятком... Смягшим!

Я ждал Серафиму. Наконец у калитки мелькнула «плюшечка».

— Ну что, бабка? — бросился я к ней.

— А что они могли сказать? Может, на селе лучше парубок найдется? А?

— Найдется, — заметил я. — Но только на три дня

— Згода*, — сказала Серафима. — Гарбуза не поднесли, а скоро и заручення**.

— Заручення?

— А ты что ж, спешить? Все должно быть по порядку. Как дедами заведено... Они не спешили, деды.

— И из пулеметов они не стреляли, — сказал я. — И на самолетах не летали, а ездили на волах. Ладно, Серафима, все в порядке. Сегодня мы с тобой гуляем у Кривенди́хи. Надо бы им подкинуть съестного.

— Ты откуда знаешь насчет гулянки? — спросила бабка.

— Разведка доносит... Вон Валерик сейчас тебе объяснит.

К нашему тыну, чуть раскачиваясь из стороны в сторону, подходил отпускник, освободитель Измаила Валерик Кривенди́ха. Приложил пятерню к бескозырке.

— Мамаша, приглашаю до нас исключительно, — обратился он к бабке. — Вы просто цветете, годы вас не берут. Определенно меня импонирует! И милиция ожидает видеть у наших столов.

— Вот сволота с Черноморского флота! — восхищено отозвалась бабка. — А ведь был такой босяк! И где его грамоте выучили?

— Гляди, Климарь, — сказал я морячку, кивнув го-

* Згода — согласие (укр.).

** Заручення — сговор, помолвка (укр.).

ловой в сторону забойщика. — Без него тебе не обойтись.

— Именно это имею в своем усмотрении, — сказал Валерик и, взметая клешами пыль, направился к забойщику.

Климарь, облив закопченного кабанчика кипятком и набросав сверху соломы, укрывал его теперь тряпьем для отпарки. На Валерика он даже не взглянул. Но морячок был напористым малым и начал с главного.

— Здравия желаем, старшина, — рявкнул он, козыряя. — Имею честь пригласить на семейное торжество, а также для выполнения забойных работ... Настойчиво прошу, папаня!

Он нагнул к Климарю, сказал негромко, как своему:

— Корабельного спирта привез... сам из компасов отливал. Девяносто девять градусов... Культурно!

Правильно начал морячок.

И к вечеру началась гулянка. Да какая! Валерик вихрем пронесся по селу, заходя в каждую хату, приглашая всех с такими прибаутками, в таком стремительном, атакующем духе, что Глухарка на миг окунулась в атмосферу беззаботного довоенного праздника.

В хате Варвары морячок задержался дольше, чем в других, и вышел оттуда, вытирая губы, надо думать, после чарки. Но самым поразительным успехом Валерика было то, что он приволок и установил во дворе своей хаты, под грушей, патефон. Самый настоящий патефон киевского завода, с блестящей мембранной головкой и суконной накладкой на диск. Кто и как решился достать эту драгоценность из сундучных глубин, было неизвестно.

Кроме патефона, Валерик раздобыл и новенькие грампластинки, и не увертюры какие-нибудь, а песни Клавдии Шульженко. Не удивительно, что к вечеру во дворе у Кривендики, у стен плохо выбеленной подслеповатой мазанки, собрались почти все глухарчане, у кого коленки еще гнулись. Из обломков досок и из поленьев соорудили столы и лавки, и вышло совсем хорошо, по довоенному, когда один хозяин принимал в саду сотню

человек, не забывая оставить местечко для случайного гостя.

И, словно решившись полностью дорисовать мирную картинку сельского праздника, появился случайный гость... Но это произошло позже.

4

Мы с Попеленко сидели особняком, у плетня, на поленище. Отсюда просматривалась Глухарка: и сияющая мазанка Варвары, и длинная, унылая хата Семеренковых с цепочкой тополей во дворе, и гончарный заводик, и кузня — словом, все вверенные нам объекты. И собравшиеся на гулянку были перед нами как на ладони.

Односельчане, приняв по первой и по второй, тут же стихийно растеклись на две группы: те, что постарше, отвалили на вытопанный двор-токовище, где за длинным столом предводительствовал Глумский, а девочки и подростки оказались в прохладце неухоженного, густо заросшего травой садочка, полукольцом окружив Валерика. Ближе всех к морячку оказался Климарь, которого герой вечера называл исключительно папаней и старшиной. Здесь, в кругу глухарчан, забойщик утратил свои палаческие черты и вполне походил на бравого и могучего фронтового старшину-артиллерию, одного из тех, что, поплевав на руки, запросто разворачивают станины «ста пяти»*.

Климарь пришел на гулянку, неожиданно легко согласившись на уговоры Валерика. Он сделал свою новую забойную работу с профессиональной сноровкой и быстротой и теперь веселился как мог. Словно никто и не ждал его в лесу. Словно и не было у него задания от Горелого... Но ведь должен был наступить момент, когда он попытается связаться со своими друзьями! И недаром среди подростков, сопевших близ Валерика, громче всех сопел остроглазый попеленковский Васька.

В окружении Глумского шли серьезные разговоры. Председателя расспрашивали о керосине, предстоящем заводе соли и налоге на сады. На все эти вопросы Глумский, скаля крупные зубы, отвечал: «Видно будет». Ба-

* «Сто пять» — сокращенное название орудия калибра сто пять миллиметров.

бы удовлетворенно кивали головами. Керосина и соли они не ждали, им хотелось еще раз убедиться, что председатель — мужик ответственный, зря не болтает даже под чаркой.

Поблизости от Глумского сидели и Малясы. По-моему, они забрались сюда, чтобы быть подальше от Климаря. Маляс, дергая бородку, со страхом посматривал то в мою сторону, то в сторону забойщика. И еще один человек с тревогой глядел на Климаря — гончар Семеренков. Серафима, сидевшая со своими беззубыми подружками плечом к плечу, напевала «Ой, тры шляхы шырокий», но из-под полуприкрытых век следила своими маленькими глазками за всем, что происходило вокруг.

Похоже, на этом беззаботном празднестве все, кроме Кривендихи и ее сына-морячка, были начеку.

— А Варвары нет! — заметил Попеленко. — Когда гуляют, она всегда первая! А сегодня сидит в хате, буд-то только овдовела.

— Вижу, — сказал я и взял у «ястребка» наполненный стаканчик. — Хватит. Ты на дежурстве.

В чем же все-таки дело? Варвара не отлучалась из хаты, не встречалась ни с кем. Никто не покидал село... Забойщику пора было передавать сведения в лес, а он чокался с морячком, наливался самогонкой, багровел, шутил с девочками.

Антонины не было видно. Может, после сватовства она опасалась шушуканий, шуточек, подмигиваний? Правда, о сговоре никто не знал, кроме Климаря и Серафимы. Но я бы тоже, если бы мог, не пошел на гулянку и остался наедине с воспоминаниями. Мне то и дело представлялись картины раннего утра на озими. Воспоминания накатывались волнами, заслоняя гулянку, и исчезали, оставляя долгий отзвук.

...Праздник достиг довоенного размаха, и вот появился, как доброе предзнаменование, случайный гость. Застучали колеса, и на улице показалась запряженная седой Лысухой одноосная таратайка товарища мирового посредника Сагайдачного.

Сам посредник, в высоком картузе, прикрывшем лысую голову, в пенсне, которое от тряски чуть наискось

седлало нос, с тонкой папироской в зубах, как будто вынырнул из каких-то давно забытых времен.

Негнувшиеся старички — «близнюки» Голенухи — бросились к таратайке, помогли сойти, разнуздали лошадей.

Сагайдачный снял картуз и бережно, как яйцо, принес голову сквозь толпу глухарчан. Его усадили рядом с Глумским. Старик кого-то высматривал сквозь льдинки-стеклышки пенсне, взгляд тревожно перебегал от одного лица к другому и вот встретился с моим.

Он обрадовался, странный старик, сам же отказавший в дружеской поддержке. Он привстал, мне показало, что он готов был приветственно махнуть рукой, но фамильный перстень, описав нерешительную и неровную дугу, соединился с блеском чарки, которую кто-то уже успел поставить на стол перед Сагайдачным.

Из-под грушевых и яблоневых веток, из сумрака садочка на Сагайдачного пристально и изучающе смотрел Климарь! Это был слишком едкий и тяжелый взгляд, чтобы Сагайдачный его не ощутил. Вот почему рука метнулась к чарке. Несомненно, мировой посредник знал, кто такой Климарь. Климарь не должен был видеть, как товарищ мировой посредник рад «ястребку». У свободы, которой пользовался Сагайдачный, были свои границы.

Но зачем старик покинул Грушевый остров?

Празднество набирало силу. В стариковском углу спели «Тече вода спид явора», про Дорошенко. Кто-то притащил бубен, но на него зашикали: в садочке принялись заводить патефон. Глухарчане повалили туда, чтобы присутствовать при забытом уже чуде. Валерик закрутил ручку, все подались вперед и замерли в ожидании: хрупкость пружины стала вдруг физически ощутима для каждого, когда выпнутая, обтянутая фланелькой спина Валерика склонилась над патефонным дерматиновым ящиком. И я понял, что, несмотря на кажущуюся беззаботность гулянки и хмельную болтовню, все носится в себе тревогу, ощущение непрочности мирного застолья, которое в любую секунду, подобно туго закрученной патефонной пружине, может треснуть и разлететься на части.

Валерик опустил иглу на черный, покачивающийся от вращения диск. Запела Шульженко.

...Вечер был теплый, как и положено на Семена-летопроводца. Бабье лето достигло своей вершины. Дул сухой ветер с южных степей, даже сотни километров полесских чащоб, над которыми он пролетал, не могли его выстудить. И хотя солнце уже зашло и сумеречно стало во дворе и особенно в запущенном садочке Кривенди-хи, прогретый воздух как будто прилип к столам, и старички, бодрясь, расстегнули свои куцы довоенные сельповские пиджачки, трофейные кителя немецкого, румынского, итальянского и венгерского пошива. На столах среди темных картофелин в мундире, белых узких ломтиков сала, розовато-коричневых луковниц, зеленых бутылоч, желтых многозарядных початков кукурузы пестрели разнообразием оттенков опавшие листья шелковиц, вишен и груш. Бабье лето было в разгаре, пора празднеств урожая, пора сговоров... А там уж и предзимье, свадьбы, хмельные поездки из села в село!

Если бы так! Война все изменила...

Голос Шульженко, чуть с хрипотцой от небрежно заточенной на оселке иглы, пробивался сквозь облака густого табачного дыма, темно-синего в сумерках, плававшего среди поредевшей листвы сада:

Прошло так много дней, но вдруг забытый вечер
С листков календаря повеял вновь весной...

Удивительно, чем стала песня для людей в годы войны... Ну что, казалось бы, Малясу эти слова, эта музыка в непонятном ему ритме вальса-бостона, и «кучка пепла», и «я вдруг вспомнила любовь свою», а он, вытянув тощую бородку к патефону, слушает, боясь шелохнуться, забыв о Климаре; и Сагайдачный, выросший среди фортепианных салонных вальсов, протирает овальные стеклышки пенсне; и даже Глумский поставил свою бульдожью мощную челюсть на кулак.

Музыка будит в каждом из нас человека, вот в чем дело, а это так нужно, так необходимо всем. Огрубели люди, ожесточились, но вдруг сквозь продубленную кожу, сквозь защитную оболочку непроницаемого хладнокровия и беспристрастия пробиваются слова о любви, о каких-то загадочных, сожженных письмах... Оказывается, каждому есть о чем вспомнить.

Уже темными треугольниками закрыли небо соломенные крыши-мазанок, тополя стали угольно-черными

колоннами, а небо как будто отдалилось, поднялось еще выше над лесами, и зажглась голубая вечерняя зорька.

Все, все люблю в тебе: доверчивость и нежность,
Походку легкую, пожатие милых рук...

5

Я обернулся и увидел Антонину. Я звал ее, и она откликнулась. Но чем ближе она подходила к калитке, где толпилась детвора, тем больше удивляла происшедшая с ней перемена.

Молчаливая дочь гончара Семеренкова сняла свой темный монашеский платок и осмелилась прийти на гулянку простоволосой. Надела лучшее, что осталось от довоенных нарядов Нины.

Я смотрел, не отрываясь, на ее открытое лицо, на желтые волосы, что вольно падали к обтянутым темной шерстяной блузкой плечам, на широкий пояс, суконную, расклешенную по моде юбку, черные туфли с металлическими пряжками. Значит, все это время она готовилась к вечеру; а я-то представлял, как она в сумеречной тишине переживает нашу встречу на озими, все, что предстояло нам с ней испытать в будущем.

Казалось, она растворилась во мне, стала частицей моего счастья; но у тихой, замкнутой Антонины-Антоши была собственная, неподвластная мне жизнь. Какие-то важные тайны женской природы открывались передо мной, и я старался их постичь, но не мог. Сердце зашлось от непонятной ревности. Вот она стояла — моя Антонина, красивая, черт знает до чего красивая, и каждый мог глазеть на нее сколько угодно! Вдруг она стала чужой, отдалилась от меня на космическое расстояние.

Я забыл о Климаре, о Варваре, сидел на поленице и глазел, не в силах встать и подойти к Антонине, пока Попеленко не сказал:

— Товарищ Капелюх, вы гуляйте, а я буду выполнять задание: честное слово, ни глоточка не приму.

Но в эту минуту патефон заиграл развеселую «Ягодку». Валерик выкрикнул: «Танцы!» Все смешались, получилась толчея. Морячок подхватил кого-то из глухарчаночек, девчата разобрали друг друга, увели в круг, на токовище, нескольких подростков Столы как-то са-

ми собой отодвинулись вместе со старушками в сторону, под стены мазанки.

Антонина остановилась у калитки, не решаясь войти, еще не замеченная в общей суматохе. Вот так до войны она стояла у ступенек клуба. И как это успела остроносая, худенькая девчонка-пигалица превратиться в желтоволосое чудо?.. То один, то другой глухарчанин оборачивался, глядел на Антонину, поднимая брови; бабки принялись шептаться.

Фигура Гната, возвращавшегося из УРа с полным мешком, как-то проскользнула мимо моего сознания, осталась лишь легким отпечатком в памяти. Гнат на миг остановился у плетня, заулыбался во весь рот, радуясь общему веселью, пропел что-то и, не нужный никому, поплелся дальше, чтобы избавиться от груза свинца, меди и взрывчатки.

Все это я лишь отметил краешком глаза, не воспринимая, а сам продолжал смотреть на Антонину. Мне бы понять, как она робеет в эту минуту! Понять, какой отчаянной решимости она набралась, чтобы впервые явиться на люди в этой громкой одежде и показать мне, что я не ошибся в своем выборе и никогда в нем не раскаюсь, — мне бы это понять! Но я сидел, как чурбан, на своей поленнице, подавленный дикой ревностью.

Тут пластинка кончилась. И все, как по команде, обернулись к младшей Семеренковой. Антонина стояла так, что на нее падал свет от белой стены мазанки. Глухарчанин притихли. Сагайдачный откинул назад голову, рассматривая девушку сквозь пенсне. Но больше всех был поражен Валерик. Узнал ли он в Антонине довоенную пигалицу или нет, неизвестно, но рот его приоткрылся и бескозырка съехала на затылок.

«Старшина» Климарь тут же наклонился к морячку, указывая глазами на Антонину, и что-то зашептал. Ясное дело, теперь наш сговор не мог оставаться в тайне. Морячок закивал в ответ, будто соглашаясь, но, как только вновь зазвучала музыка, двинулся, расталкивая людей, к Антонине.

Я смотрел на него оцепенев. Валерик, покачиваясь, подошел к Антонине и принялся о чем-то говорить. Сделал приглашающий жест. Она отрицательно покачала головой, даже отступила на шаг. Растерянно посмотрела по сторонам. Валерик схватил ее за руку, и Антони-

на гибко отклонилась назад, пытаясь вырваться, губы ее зашевелились беззвучно.

Ничего не было в том особенного для глухарчан, что на гулянке развеселившийся парень затаскивал застенчивую девчонку в круг, несмотря на визг и сопротивление. Ничего в этом не было особенного... Старики заулыбались. Девчонка хороша, она принарядилась, чтобы показать себя на людях, да вот стеснялась — как тут обравому морячку не помочь ей?

Но я видел ужас на ее лице, видел отчаянный, нечеловеческий испуг, смысла которого не мог понять Валерик. Она боялась хватких и грубых мужских рук. Она помнила о той ночи, когда за сестрой пришли бандюги и когда она в припадке отчаяния вцепилась зубами в чье-то запястье.

Валерик потащил ее в круг, она озиралась, рот был открыт в беззвучном крике; вокруг одобрительно гоготали, и она, откидываясь назад, изгибаясь, не могла ни где встретить сочувственного лица.

Валерик смеялся, он не догадывался, кто перед ним. А для меня уже не было чужой красавицы с длинными локонами, падающими на прямые, четко очерченные плечи, я видел мою Антошу, ту, что лепила в одиночестве диковинных зверей, робкую, доверчивую, вечно молчащую.

Оцепенение прошло. Я скатился с поленницы, не помня себя, с затуманенной головой, и врезал моряку Валерику по подбородку. Я ему от души врезал, так что Дубов, который учил нас рукопашной, был бы доволен.

Девчонки завизжали, патефон умолк, наступила нехорошая минута. Я смотрел на упавшего Валерика. И стало мне тоскливо. Что ж это я, «ястребок», представитель власти, страж закона и порядка? Что ж это я наделал?

Валерик, поднявшись, повел себя достойно, как подобает черноморцу. Он вытер лицо и сказал дрожащим голосом, но стараясь сохранять приличный тон:

— Ясно... Зачем же на людях?.. Некультурно... Отойдем?

Сочувствие было на стороне Валерика. Никто не остановил нас, когда мы пошли со двора. Слышно было, как Серафима с Кривендикой обрушили друг на друга потоки слов...

Я старался не смотреть людям в глаза и лишь мельком взглянул на Варвару, едва не столкнувшись с ней на улице.

Блеснули лишь ее выпуклые, подернутые матовой болокой, как у созревших июльских слив, глаза, мелькнула белая крепдешиновая кофточка, нарядная плахта, крашенные, козловой кожи сапожки. Эти подробности я отметил мимоходом, машинально, как будто кто-то во мне сделал несколько пометок на чистом листе.

До чего же нелепо все получилось... и ничего нельзя было изменить. Самое нелепое, как сказала бы Серафима, быть клочком шерсти с собачьего хвоста. Несет тебя по ветру неизвестно куда. Рядом широченные клеши Валерика мелки пыльно...

— Пойдем к кузне, — предложил Валерик, обернувшись ко мне и чуть шепелявя: губы его вспухли.

6

Мы пришли к Барскому пепелищу. Десятка полтора подростков, возбужденно блестя глазами, попрятались за деревьями. Давно, давно в Глухарке не дрались взрослые парни!

Ну что ж... Ладно. В конце концов, Валерик поступил подло, прицепившись к Антонине... Ладно!

Морячок встал в боксерскую стойку. Я слышал, на флоте учат боксу, это у них положено, чтобы каждый смог постоять за всех и, конечно же, все за одного. У нас в группе Дубов тоже усиленно натаскивал новичков, как щенят. За неимением перчаток он обматывал нам кулаки полотенцами, и дело доходило до такого азарта, что выбитый зуб шел не в счет.

Валерик решительно двинулся мне навстречу, мы сошлись, я тут же отскочил, пригнулся и по размашистым, загребающим ударам Валерика понял, что он не успел изучить ничего, кроме боксерской стойки. Руки у него были не очень длинные и росту не хватало... Он пропускал все прямые удары, надеясь, что хотя бы один из его вылетающих откуда-то сбоку кулаков достанет мою скулу. У меня даже злость прошла...

Валерику доставалось. Но он все шел вперед, отстаивая честь Черноморского флота перед бывшей пехотой. Два раза он падал, и поднимался, и снова шел на меня.

Вот ведь настырный! Подбирал кулаком юшку и смотрел свирепыми глазами...

На Барском пепелище стало совсем темно, здесь остро запахло крапивой и лопухами, которые мы размяли, кружась друг против друга. Черт возьми, не хотел я уже драться, не хотелось мне крови, но Валерик все махал кулаками и лез.

Дело принимало нешуточный оборот. Морячок не собирался сдаваться. В темноте я ударил его слева и еще раз слева и ушел от двух его кулаков, просвистевших над макушкой, и вдруг понял, что выдыхаюсь. Те внутренние и внешние швы, которыми было стянуто мое тело, дали себя знать. У меня начали опускаться руки, дыхание срывалось.

В отчаянии, чувствуя, как уходят силы, я бросился вперед, но морячок отскочил. Он тяжело сопел и был полон жажды мщения. За ним стоял оскорбленный флот. Валерик выдержал налет и вдруг переменял тактику. Я не успел отреагировать. Вместо того чтобы безрезультатно метать кулаки, морячок ударил по корпусу. Он двинул мне правой «под дых». Он честно ударил, ничего нельзя было сказать, но попал туда, где брали свое начало швы. Я сразу же изогнулся и сел на корточки.

Впечатление было такое, что весь я разлетаюсь на мелкие составные кирпичики, которые никогда уже не собрать, не сложить в прежнюю комбинацию. Воздух никак не хотел зайти обратно в легкие, я задыхался, хрипел и не мог сделать ни глотка.

— Ну что, еще хочешь? — сказал Валерик, стоя над мной. — Вставай, продолжим.

Он, конечно, произнес это не как Левитан. Он плохо ворочал губами, и нос его хлюпал. Я бы встал, чтобы продолжить и поддержать честь пехоты, да не мог. Словно со всего Барского пепелища отсосали воздух, и я задыхался в этом вакууме, и боль пронизывала нутро.

— Вставай, — прошепелявил Валерик. — Хватит симулировать!

Я начал приподниматься. Не хотел я сидеть перед морячком на корточках, глядя на его грязные ботинки. Воздух уже начал потихоньку просачиваться в легкие, нашел-таки лазейку...

Валерик поднял кулаки, приготовился. И тут же вдруг полетел через меня, как будто ему вставили реак-

тивный заряд от «андрюши». Полетел и звучно шлепнулся на землю.

Через минуту мы с Валериком рядышком сидели на земле, приходили в себя, а над нами стоял Попеленко, за спиной у него был автомат, в руках — мой МГ.

— Ты ж так убить меня мог, — сказал «ястребку» Валерик. — Разве ж можно... По хребтине! Некультурно получается.

— Да я не разбираюсь, что культурно, — оправдывался Попеленко. — А разве ж культурно бить товарища Капелюха по раненому животу? Что вы, товарищ моряк, фриц какой-нибудь, что ли...

— Откуда я знал, что живот раненый?

— Так я ж не имел времени объяснять! — резонно заметил Попеленко. — Вот, в самом деле, тяжелая какая штука, — он помотал головой, рассматривая приклад МГ. — Ляпнет так ляпнет.

— Черт, — бормотал Валерик. — Дых захватило.

— У меня тоже, — сказал я.

Над нами перекрещивались темные ветки ольховника. Мы отдыхали, сидя среди раздавленной крапивы и лопухов. Кирпичики постепенно возвращались и занимали свое место. Боль стихала.

— Слушай, какого черта ты полез к ней? — спросил я у Валерика. — Тебе ж сказали, что мы сосватаны!

— Кого? — спросил Валерик. — Кого сосватаны?

— «Кого, кого»!.. Я и Антонина Семеренкова сосватаны!

Валерик вытер лицо и высморкался густой и темной жижей. Теперь ответы его стали четче.

— Климарь не то сказал! — удивился он. — Климарь совсем наоборот сказал про Антонину.

Так вот оно что!.. Я попытался встать на ноги, но коленки еще не держались, подгибались, как шарнирчики.

— Попеленко! — сказал я. — Где забойщик?

«Ястребок», оставив МГ, опрометью бросился в село.

Мало мне еще досталось, мало! Дураков надо учить смертным боем... Климарь вокруг пальца меня обвел, как первоклассника. Он сравнил нас с Валериком, словно петушков. Простейшей хитростью избавился от наблюдения! А я-то все строил для захмелевшего забойщика ловушку.

— Ты извини, — сказал Валерик. — Я не знал, правда!

— Пустяки.

И это действительно были пустяки по сравнению с той новостью, которую сообщил Попеленко, когда, запыхавшись, вернулся на Барское пепелище.

— Климарь ушел. И Семеренков с ним ушел.

— Семеренков? Он не ушел... Увел его Климарь!

Попеленко пожал плечами: какая разница.

— Узнай, дома ли Антонина, — сказал я, держась за живот и пытаюсь подняться. — И подежурь там.

— Ладно, — буркнул «ястребок». — Далась она вам, Антонина!

7

Мы умывались у Валерика. Кривендиха нам сливала, подсвечивая плоской. К этому времени глухарчانه узнали о сватовстве и пришли к полному оправданию обеих сторон. Гулянка продолжалась как ни в чем не бывало. Исчезновения Климаря и Семеренкова никто не заметил.

Валерик фыркал над цебаркой.

— На нос больше, на нос, — приговаривала Кривендиха, поливая из кувшина. Вода была ледяная.

— Чего ж он, Климарь, гад, меня попутал? — спросил Валерик, повернувшись ко мне. Он прижимал к распухшему лицу мокрое полотенце, вода текла по загорелой, выпуклой груди.

Поперек груди аршинными буквами было вытатуировано: «Вовва». Это странное имя плыло над синим парусником и синими пальмами.

— Что это за наколка у тебя такая? — спросил я.

— Понимаешь, — сказал Валерик доверительно, ведь теперь мы стали близки друг другу, как братья, — вообще-то тут было наколото «Нонна»... знакомая... хорошая девушка... рыжая... Ну, а я надумал в Геленджике жениться, а ее звать Виктория... черненькая такая... Неудобно, правда? Она Виктория, а у меня на груди — «Нонна». Некультурно получалось, правда?

— Некультурно...

— Вот!.. Я и попросил переколоть... Из «Нонны» ничего не выходило, кроме «Воввы»... Ну и ладно!

В дверях стоял Васька, присланный отцом. Он нетерпеливо шмыгал носом. Очевидно, прибыл с важными сведениями. Ждал, когда же я останусь один.

— Ну ведь гад Климарь! — не унимался Валерик. — Чего он мне про нее говорил! Это ж ему надо ноги вырвать и спички вставить...

Трудно было представить, что забойщик разрешил бы проделать с собой такую процедуру. Морячок бы треснул в железных пальцах Климаря, как огурец с грядки.

— Ты иди догуливай, — сказал я Валерику. — А я посижу.

Не хотелось мне посвящать Валерика в эти сложные дела. Пусть гуляет — отпуск короткий, а там снова война.

— Ну, ладно... — он посмотрел на себя в осколок зеркала, вмурованный в стену печки. — Н-да... ну, ничего.

Конечно, драка не сделала Валерика краше. Но глухарчане, если только не забыли довоенные времена, не должны были удивляться, что на вечеринке некоторые парни, исчезавшие на время, возвращались как будто искусанные пчелами... Подумать только — и сейчас, как в добрую пору, нашлись двое парней, не поделивших девчонку! Старики могли быть довольны. Гулянка шла как надо.

Валерик, не робея, вынес свое лицо на суд глухарчан. Хороший он был парень, хотя и чересчур бойкий. Кривендиha последовала за сыном достойно, расправив подол длинной холщовой юбки.

Васька облегченно вздохнул.

— Дома в аша, — сказал он. — Сидит, чего ей?

Он действительно былмышленым парнем, Васька: в правильном порядке докладывал.

— Варвара пришла на гулянку, — продолжал Васька как будто равнодушно.

Глаза у него были чуть сонные, прищуренные, как у кота на солнце. Но кошачий сон — обман для мыши.

— Она вышла с хаты, а вы как раз подрались с Валериком... И зачем это надо?

Я вспомнил — узорчатая плахта, красные сапожки, яркая белизна крепдешина, насмешливый взгляд.

— Она к Климарию подседа, сказала чегой-то. А че-

го — не знаю, — тут Васька виновато хлюпнул носом и почесал босые ноги одна о другую. — Климарь смеялся, вроде она пошутила... А потом к Семеренкову пошел, на другой край гулянки, с ним поговорил. И они подались... На огороды, вроде дружки... Климарь его обнял вроде рукой.

— Чего заладил «вроде»?

— Что ж я, маленький? Не понимаю? — спросил Васька с интонациями Попеленко-старшего. Он только не добавил «политически», не дорос еще до таких высот. — Когда шутят на самом деле или когда дружки — сразу видно, как в картинку... Ну вот, на огороды они подались, а потом дальше, до леса... Я хотел батьке доложиться, а батька за вами побег! Вот и все, ничего такого больше не было. Слушайте, а вы мне дадите из пулемета пострелять? Я уже с винтовки стрелял и с автомата!

— Дам, — сказал я. — Только не сегодня и не завтра.

— Тю, — сказал Васька. — Может, когда война кончится? Тогда пули заприходуют! Пули тоже грошей стоят.

— Сказал — значит дам. К Варваре кто-нибудь заходил?

— Нет.

— И она сразу, как вышла из хаты, подалась на гулянку, ни с кем не говорила?

— Ни с кем. Прямо к Климарию подошла!

Ничего я не понимал!

Ясно было одно: рано утром Климарь получил какие-то сведения от Варвары, поэтому и оставался спокоен, даже согласился гулять у Кривендиhi. Он ждал новых сообщений. И когда Варвара готова была передать их, забойщик стравил нас с морячком, чтобы избавиться от наблюдения. Но как он определил нужную минуту? Что послужило для него сигналом?

Далее. Варвара, очевидно, сообщила Климарию приказ выйти в лес, прихватив с собой Семеренкова. Как, ни с кем не встречаясь, она могла получить этот приказ? Ведь не по рации же!

— Какие еще будут приказания? — спросил Васька.

Оказавшись без дела, он уныло чесал черной пяткой исцарапанную лодыжку.

— Може, пойти съесть, чего осталось на столах?
А то я не успел...

— Беги!..

У меня было ощущение, как будто упущена какая-то уже известная мне подробность. Что-то выпало из связанных между собой событий, и они распались на отдельные лоскутки. Это «что-то» уже было найдено и находилось у меня в кармане, я ощупывал его, как ощупывают машинально, задумавшись и отвлечшись, патрон, зажигалку или монету... но карман оказался дырявым! «Что-то» выпало. Память не удержала объема и очертания предмета. Осталось только смутное воспоминание о находке.

Я затянул ремень, чтобы придушить все еще сидящую во мне боль, взял МГ и, толкнув дверь, вышел на улицу. Я не был так спокоен и уверен в себе, как Валерик. Я чувствовал себя виноватым перед глухарчанами. Позволил скрыться Климарию. И теперь вызревала беда. Где-то тлел бикфордов шнур. Я мог погасить его, но не сумел.

Шульженко в который раз пела свое «Письмо». Мелькали белые пятна лиц. Под медленный и томный ритм танцевали кто во что горазд. Старики и детвора образовали живой заборчик вокруг танцующих. Слова песни заглушались топотом. Самодельные фитили плошек, поставленных на столы, были вытянуты до отказа, никто не опасался, что подкоптится потолок. Метались огни. Дымы, как штопоры, ввинчивались в темное небо, пахло сухой пылью, дизельным чадом самодельного горючего, залитого в плошки, осенним горьким листом. Светлели кое-где в темноте не снятые еще яблоки антоновки.

У длинных столов скользил юный Попеленко с набитым картошкой ртом и, как коршун, высматривал добычу. У него был законный перерыв на обед.

Несколько подростков, приглашенных девицами, танцевали босиком. Их ступням здорово доставалось. Но подростки старались, закусив губы. Валерик танцевал с Варварой. Это была единственная пара, составленная не вопреки законам природы. Валерик вел свою партнершу, оттопырив обтянутый флотскими клешами зад и высоко поднимая локоть левой руки, головой подав-

шись к высокой Варваре, скула к скуле. Очевидно, искусство танца он постиг так же, как и бокса, но и здесь, надо отдать ему должное, не робел. Красные сапожки Варвары ходили по токовищу быстрыми шажками, то и дело проворачиваясь на посах.

— Сотрет, того-сего, подметки за вечер, — сокрушенно вздохнул рядом Маляс. — Такие подметки... Разве достанешь? Это ж до войны в Шарковичах шили, еврейском местечке. Козловые!

Но Варвара не думала о подметках. Ее сапожки весело бегали друг за другом, лицо порозовело, губы приоткрылись, и она дышала в припухшее, темно-вишневое ухо Валерика. Крепдешин отливал серебром, жесткая цветастая плахта колыхалась, приоткрывая круглые колени. Красивая она была, Варвара, что и говорить. Предлагала мне мирную жизнь, четыре беленых стены, перину, рушнички на стенах.

Неужели это я выходил поздней ночью из ее хаты, стыдясь самого себя и радуясь свободе? Нет, то был другой человек.

Она как будто дразнила меня, Варвара. Она знала, все знала о Горелом и танцевала в нескольких метрах от меня, прикрыв глазищи густыми ресницами, а морячок Валерик таял от ее дыхания, как олива в каганце.

Разгадка носилась где-то рядом. Казалось, стоит протянуть руку, и я коснусь ее. Конечно, это было подобно тому, как ловить муху с завязанными глазами. Но муха-то жужжала, значит, шанс на удачу существовал!

Кто-то переставил иглу к краю диска. Площадка ответила на это клубом пыли. Валерик, выпрямившийся было, вновь оттопырил зад, и ноги его заходили в раструбах клешей, как языки-болтала в колоколах.

Все, все люблю в тебе: доверчивость и нежность...

Грустно мне стало. Недавно вот здесь, у калитки, стояла она, и волосы ее желтели свежей соломенной желтизной, а глаза были растерянны и печальны. Передо мной были ее прямые худенькие плечи, и тонкая шея, и черный широкий ремень, и линии черной блузки, косо сходящиеся к талии. Хрупкий глечик на вращающемся, шатком гончарном круге. Бросить бы все к черту! Климарию, Варвару, бандеров, все загадки. Уйти. Быть рядом с ней. Антониной. Антошей...

Кто-то положил руку мне на плечо. Ладонь была невесомой, как лист. Я оглянулся. Рядом стоял Сагайдачный. В стеклах его пенсне играли огни плашек, на сухих губах лежал налет пыли.

— Я рад, что ты невредим, — сказал он.

Передо мной был человек, который отказал мне в помощи.

— Выражайтесь яснее, — сказал я. — Почему я должен быть не целым? Климаря здесь нет, говорите!

Он внимательно посмотрел на меня. Глазки у него были голубенькие, светленькие, но настойчивые. Из пенсне они глядели, как из овальных рамок. Я отвернулся. Когда он так смотрел, я вдруг начинал особенно остро ощущать свою наивность и глупость. Молодость превращалась в невыносимо позорный недостаток.

— Сердишься? — сказал Сагайдачный, улыбаясь. — Но ты же не считаешь, что я заодно с бандитами, правда? Значит, все-таки веришь! В наш век подозрительности, которую некоторые люди называют бдительностью, вера — ценнейшее качество... Да, Иван Николаевич, для меня не секрет, кто такой Климарь.

Я промолчал.

— Дошел слух, что тебя убили, — сказал Сагайдачный. — Вот почему я здесь. Рад, что это ложный слух!

— Интересно, кто вам сказал? — спросил я. — Он поторопился. Но меня действительно должны были убить.

— Голубчик, Иван Николаевич! Разные люди заходят в наш хутор... Как ты молод и задирист... И эта ссора с морячком! По правде говоря, я позавидовал.

— Чему?

— Непосредственности. И твоему чувству к той девушке. Ты ничего не говорил мне о ней! Но... Я прав?

Пластинку перевернули, и Шульженко бросила в толпу свою игривую «Ягоду». Тут даже седые Голенухи вошли в круг, притопывая, потому что это была пляска, а не какой-нибудь там непонятный фокстрот или бостон. Взвилась пыль, словно рота пошла в маршевый бросок, и мы с Сагайдачным отступили за плетень. Здесь было темно, только долетала легкая игра света и мельтешищих теней, остро запахло душистым табачком, рас-

крывшим в ночи свои цветы. И сразу же проступили звезды.

Сагайдачный поднял к небу стеклышки пенсне.

— «Наблюдай течение звезд, как будто оно увлекает тебя за собою. Внимательно размышляй о переходах стихий одна в другую...» Так, да?

— Ренар? — не выдержал я.

— Нет, Марк Аврелий... А дочь у гончара Семеренкова действительно удивительная. В ней есть истинная красота, как в античном образце. Случается же такое в наших богом забытых деревнях!

«Ягода-года-года-года моя, ягода-года, ягода-года...» Мне эта песня не нравилась. Казалось, поет ее разбитная, бойкая деваха, вроде Варвары, которая своего не упустит.

— Помнишь наш разговор о любви? — спросил Сагайдачный.

Он хотел вернуть наши отношения в прежнее доброе русло, когда мы вели беседы обо всем на свете.

— Помнишь? Так вот, не теряй эту девушку. Поверь, старческому чутью: встреча с ней — редкое счастье. Может быть, на всю жизнь... По сравнению с этим все твои заботы и тревоги — мелочь. Бери ее и уезжай. Поверь, я вижу глубже и дальше... Я смотрю вон с той, — он указал глазами на звезды, — высоты. Доверься моему совету!

Я и сам только что думал об этом. Бросить все к черту. Уйти к ней, Антонине. Но теперь, когда мое желание воплотилось в четкий совет Сагайдачного, я почему-то воспротивился ему. Вдруг увидел смысл этого поступка. Дезертирский смысл.

Звезды горели над нами. За плетнем топали пары. Пыль поднималась к небу, холодная вечность смыкалась с жарким дыханием людей. Нет, я не умел смотреть на землю с той высоты. Спокойно и рассудительно.

— Может быть, для вас она «античный образец», — сказал я, вспоминая, как робко стояла Антонина у Кривендихиной калитки, такая тонкая и беззащитная. — А знаете, что на ее глазах бандиты насиловали сестру? Что с тех пор она не разговаривает с людьми? Два дня назад они мальчишку убили, Абросимова. Он хотел мне помочь!.. Вы завидуете, а меня моя молодость не

устраняет... Будь я поопытней, я, может быть, действовал бы разумнее, лучше.

Он крикнул и снял пенсне. В бледном свете, падавшем от стены мазанки, я увидел его лицо. Без пенсне это было лицо обыкновенного лысого старичка, слабого, сухонького, у которого свои сложные отношения с жизнью... Пенсне придавало ему неуязвимый вид.

— Голубчик, — сказал он. — Бери ее и уезжай немедленно. Хоть сейчас. Климарь увел Семеренкова, и ты это знаешь. Она одна. Бери и уезжай. Хочешь, я отдам свою таратайку с Лысухой? Доберетесь до Киева — устроитесь. Поступите учиться. Может быть, вам повезет. У вас будет счастливая, мирная, спокойная жизнь.

— Не доедем, — сказал я. — Дорога перекрыта. Вчера Попеленко вернулся раненный. Да разве в этом дело? Я должен быть здесь, вот что.

Он вздохнул. И пенсне снова стрекозой уселось на его нос, мягкие лапки-зажимчики прикрыли две темные ямочки на переносице. Сразу же спрятались подслеповатые старческие глазки, и он уже мог смотреть на мир как сквозь танковый триплекс, чувствуя себя неуязвимым.

— Да, — сказал он. — Да. Все меняется, не меняются лишь люди. И ее я просил уехать, но она была учительницей и сказала: «Не могу»... А потом мы не успели в город, к врачам!

Я вспомнил фотографию на полке стеллажа. Он состарился, а она, учительница в широкополой шляпке, оставалась молодой; он смотрел на все с высоты возраста, а она все еще сохраняла право на ошибки.

— Проводи меня! — попросил Сагайдачный.

Пока село было увлечено гулянкой — словно бес проснулся в людях, деятельный и кратковечный бес веселья, — я помог Сагайдачному запрячь Лысуху.

— Оставайтесь, — сказал. — Переночуйте. Опасно ночью...

— Мне?

Он рассмеялся. Мелко так, неожиданно звонко: казалось, это стеклышки пенсне бьются друг о друга в темноте.

— Голубчик, мой авторитет среди воюющих сторон достаточно велик... Это вот у вас опасно, — сказал он тихо, склонившись ко мне с таратайки. — Думаю, не

изменю своему правилу, если предупрежу... Ко мне приходили люди Горелого. — Сагайдачный взял меня за руку. Пальцы были тонкие, жесткие и холодные. Словно бы ящерка сжала мое запястье коготками. — Их интересовало, не сохранились ли у меня со старых времен золотые вещи. Боже мой, ко мне уже много раз приходили с таким вопросом... Думаешь, эти хотели ограбить? Нет, они предлагали продать. За любую цену. И они не блефовали, я понял. Вся их операция имеет отношение к Семеренкову. Один из них сказал: «Гончар сегодня будет здесь». Второй заметил: «И младшая». «Младшая напоследок» — такой был ответ. Теперь понимаешь, почему я прошу уехать вместе с младшей Семеренковой? Ей грозит опасность.

— А что все это значит? — спросил я. — Насчет золота?

Он отпустил мою руку. Огляделся, прислушался — блеснули стекла пенсне.

— Когда люди скупают золото, — прошептал Сагайдачный, — это означает, что они собираются сматывать удочки. Так было во все бурные времена.

— Сколько их?

Картуз покачался из стороны в сторону.

— Шестеро. Не считая Климаря.

— Горелый был? Как он выглядит?

Сагайдачный вздохнул. Как будто прошелестела страницами раскрытая книга.

— Эх, Иван Николаевич! Ты все-таки стараешься сделать из меня информатора! Я сказал самое важное. Забирай ее и уезжай. Что-то они затевают...

— У Горелого следы ожогов на лице? Как он выглядит? Как говорит?

— У него болезненно высокий голос. Левая щека обожжена — глаз как будто стянут книзу. Довольно? Оставь надежды победить Горелого. Твоя жизнь мне безразлична. Когда состаришься, поймешь, что значит найти родственную душу в океане человеческого. Уезжай! Ты ведь можешь сослаться на болезнь, ранения, правда?

— Как мне их выловить? — спросил я. — Бандитов? Скажите!

Он замолчал.

— Спасибо, Мирон Олегович, и на том...

Он снова вздохнул.

— «Си ля женэс савэ, э си ля виес пувэ», — сказал он. И перевел: — «Если б молодость знала, если б старость могла!» И ничего тут, видать, не поделывать.

Я проводил его за огороды и долго стоял, слушая, как поскрипывают втулки. Ночь была теплая, только с лесной стороны, откуда доносился скрип, тянуло иногда сыростью и прохладой. Лебедь летел над Полесьем, вытянув длинную шею, ярко светилась Вега. Туда, под звезды, и ушла скрипучая двуколка Сагайдачного.

Постепенно скрип затих, леса поглотили таратайку. Чумацкий Шлях медленно разворачивался над землей, и Ковш начинал клониться к горизонту. Погас свет плешек во дворе у Кривендиhi. Белый клуб пыли растворился в темноте.

Значит, их шестеро, не считая Климаря. Все, что сообщил Гупан, подтверждалось. И глава шайки, Горелый, человек с болезненно высоким голосом, ведет какую-то крупную игру. В этой игре замешан Семеренков...

Девчата, возвращавшиеся с гулянки, пропели громко и нестройно «Хмарку». Выходила луна над теплым, нагретым за день паровым клином. Багровый краешек трепетал в мареве, как язык пламени.

Ладно, сказал я себе. Пусть я пешка в этой игре, которую затеял Горелый. Но зато я знаю твердо: надо уберечь Антонину. Ей грозит опасность. Я должен быть рядом.

9

Во дворе у нас хрипел Буркан. Климарь бросил своего друга на произвол судьбы. Наверно, понадеялся, что тот оборвет веревку и прибежит за ним. Но Буркан запутался о приставленную к сараю драбину* и теперь хрипел в ошейнике, как в петле. В лунном свете его выпученные глаза блестели, как стеклянные шарики, слюна текла с оскаленных зубов.

— Ладно, беги ищи хозяина, — сказал я, разрезая веревку. — Беги, бандитский пес.

Но у вислоухого Буркана не было сил. Освободившись от ошейника-удавки, он лег на бок. Ребра его вздувались.

* Драбина — приставная лестница (укр.).

Луна уже поднялась над сараем. Звезды поблекли, пахло резедой, росшей в цветничке под окнами.

— «Прошло так много дней, но вдруг забытый вечер...» — тоненько, с подвыванием, пропели у калитки. Это возвращалась Серафима. Слухом она никогда не отличалась, но память у нее была хорошая. Романс она запомнила.

— Бабка! — окликнул я ее. — Как дела?

Она казалась совсем маленькой, быть может, от длинной тени, что тянулась за ней и доставала до плетня, переламываясь на нем.

— Три фунта колбасы снесла на гулянку, внучок, — сказала Серафима. — И два фунта сала... Сама взвешивала! Думаешь, кто спасибо сказал? И две буханки! А будущий родич, Семеренков, кум, удрал, даже не поцеловались на прощанье! Ох, народ... Где он, кум, горшкотвор этот?

— Сам бы хотел знать, — сказал я. — Ты дай мне полфунта требухи, какой похуже.

Она принесла миску. Буркан оживился.

— Вот еще — псов подкармливать, — проворчала Серафима. — Да еще этого душегуба...

— Серафима, — сказал я. — Ты постели себе сегодня на сене, в сарае. Я не буду дома ночевать.

— Ну и не ночуй, — ответила бабка. — Может, к Варваре собрался? Так там морячок. А если к Антонине, то тебе Семеренков, хоть и криворукий, последнюю печенку отобьет. Он в ней, Антонине, души не чает, Семеренков.

Задиристо была настроена бабка после нескольких рюмок. По-боевому.

— Серафима, — сказал я и, поднявшись с земли, встал с ней рядом, заглянул в глаза. Они глубоко утонули в тени подлбья, маленькие бабкины глазки. — Сегодня ночью всякое может случиться. Например, в око-но бросят гранату. Так что постели в сарае.

Она захлопала ресницами — поняла наконец. Когда я пошел со двора, накинув шинель, Буркан поднялся на ноги и направился следом, слабо виляя хвостом.

— Ты ж смотри! — крикнула Серафима. — Не шибко суйся, не всякому рылу на ярмарку спешить, без него сторгуются.

Она чуть всхлипнула в середине этой прощальной речи, но сдержалась, закончила бойко. Привыкала к моей новой профессии Серафима.

— Ну как, Попеленко? — спросил я.

Он стоял неподалеку от хаты гончара, нахохлившись, как сельповский сторож, автомат обеими руками прижимал к груди. Все ярче и настойчивей становился свет луны, и все резче обозначались тени. Тополя во дворе Семеренковых шелестели жесткой листвой. Окна слабо желтели.

— Ничего дела, — буркнул Попеленко. — Присматриваю. Антонина в доме. Куда денется?

Он явно был недоволен заданием, считал его причудой начальства. Девочек охранять — до чего, мол, дожил.

— Как рука, Попеленко?

— Та ничего... Свербит!

— Непокойные у нас ночи!

— Куда уж неспокойнее... Ни днем отоспаться, ни ночью похрапеть.

— Верно... После войны отхрапим за все, что недоспали.

— На Гавриловом холме? — спросил Попеленко.

Сочувственный тон никак не годился для разговоров с моим подчиненным.

— А ведь мы с тобой не удержим село, если Горелый нагрянет, правда, Попеленко? — сказал я. — У него шесть человек под командой.

— Уж точно, — сказал «ястребок» заинтересованно и забросил автомат за плечо. — Есть кое-что?.. Военные планты?

Он покрутил своим пальцем-коротышкой, приставив его к виску, и вопросительно взглянул на меня. Пес Буркан прилег поблизости, высунув язык. Он казался белым при луне, этот язык, и на нем блестела влага.

— Есть всякие «планты», Попеленко. Ты иди к Глумскому. Дай ему свой карабин. Стрелять председатель умеет... Будьте оба начеку. Ясно?

— А вы? — спросил Попеленко.

— Я буду во дворе у Семеренковых.

— Ага... — он хитро прищурился. — Можно еще

мужиков на охрану собрать... Валерика, он флотский! Вроде артиллерист!

— Если у тебя есть корабельная пушка, пригласи. Только сначала спросись у Варвары.

— Ага, — сообразил Попеленко и подмигнул мне. — Варвара не отдаст! Ну, Маляся можно... Он же охотник.

— Ты бы еще Гната предложил, — сказал я.

— Гнат не в счет! — сказал Попеленко.

— Не в счет?..

Я вспомнил вдруг: Гнат, возвращавшийся из УРа с тяжелым мешком за спиной, застыл на какое-то мгновение у хаты Кривендихи, наблюдая за танцующими. Он заулыбался во весь рот, пропел что-то, радуясь общему веселью, и отправился дальше, не нужный никому деревенский дурачок... Это было перед тем, как Климарь, наклонившись к морячку, сказал что-то об Антонине и Валерик, не сводя с нее глаз, двинулся вперед. А потом... потом мы с Валериком шли на пепелище, и, словно пролетевший мимо цветастый осенний лист, мелькнула плахта Варвары.

С появления Гната и начались все беды!

— Говоришь, Гнат не в счет?..

Я вспомнил, как он сидел в углу чисто прибранной горницы, среди белизны стен, расшитых рушников, непричесанный, грязный дурень Гнат. Варвара латала ватник. «Жалко его...» Жалко? Абросимова она не пожалела, Штебленка тоже... С чего бы ей испытывать это чувство к Гнату?

Гнат каждое утро ходил в УР. И каждый вечер возвращался. Я встретил его на старом Мишкольском шляхе, Гнат шел, не слыша моих окриков. Потом он охотно уселся на сноповозку, а через несколько сот метров мы столкнулись с ним и. И никто из них не сделал даже попытки подойти к телеге. Они пропустили нас, как будто увидев какой-то тайный знак.

Что еще тогда удивило меня? Гнат был сыт. Он был сыт, возвращаясь из УРа. Но кто мог накормить его там? И кому бы пришлось в голову кормить Гната, кому он нужен? Помнится, у Варвары, когда я спросил, что видел он в УРе, дурачок забормотал какую-то чушь о московском сладком сале. Хозяйка оборвала его. Гнат смотрел на Варвару по-собачьи преданными глазами. Говорят, собаки, если их выдрессировать, могут носить

записки в ошейнике. Надо только их прикормить, приласкать.

— Да, Гнат не в счет! Это ты здорово сказал, Попеленко. На Гната никто не обращает внимания. Пустое место.

— Что это вы заладили, товарищ Капелюх: «не в счет», «не в счет»? — заметил «ястребок». — Какие будут приказания?

— Пошли-ка к тебе, Попеленко!

Попеленковская ребятня уже улеглась на полати. Каганец еле разгорелся в спертom воздухе. Я увидел девять пар грязных голых пяток, обращенных к огню.

— Который Васька? — спросил я.

Попеленко быстро сориентировался и ухватил одну из пяток. Мы извлекли Ваську, как стручок гороха, из общей кучи. Он моргал глазами, шурился на каганец, шыгал носом.

— Слушай, Василь, — я пощелкал его по уху, чтобы привести в чувство. — Ты говорил, что никто не заходил за все воскресенье к Варваре, так?

— Никто... Что ж я, брешу?

— А Гнат?

— Гнат? — Васька усиленно засопел, белесые поросычки ресницы его забились. — Так то же Гнат... Вы ж про Гната не спрашивали...

Вот именно. Гнат был не в счет! Сорок лет, с самого детства, он ходил в деревенских дурачках, на него обращали внимания не больше, чем на соседского петуха.

— Так он заходил к Варваре?

— Ну, заходил.

— Когда?

— Ну, утром был...

— Это когда Варвара вернулась от нашей хаты, поговорив с Климарем?

— Ага. А еще вечером заходил. С мешком. Песню пел... Я говорю: «Чего распелся?» А он в ответ: «Бе-е-е...»

Васька хихикнул. Он стоял босиком на глиняном полу, цыпки у него чесались, и он тер нога о ногу.

— Потом Варвара вышла на вечеринку?

— Ага. Гнат подался в свою хибару, а она начепурилась* и пошла.

* Начепурилась — нарядилась (местн.).

— Ну все, Васька. Давай спать.

Он, удивленно поморгав, полез обратно на полати. Раздался писк потревоженных малышей, пятки пришли в движение, но вскоре успокоились, улеглись одна к одной, как ячейки в сотах. Мы с Попеленко вышли на улицу. Буркан ждал, вислоухая тень сидела рядом с ним. Небо совсем выгорело от лунного света.

— Закурить бы, — сказал я. — Мозги прочистить! Вам нельзя, — проворчал Попеленко. — Вы ж на излечении.

— Скажи уж: на курорте!

Он полез за своим тощеньким кисетом. Свернул две сигарки: толстую закурил сам, а тоненькую, «тещин палец», отдал мне.

— Вредно, — пояснил Попеленко. — Меньше дыма, больше здоровья.

— Ладно, не ворчи!

Не зря мы все-таки охотились за Климарем! Вот она, разгадка, близость которой все время ощущалась. Я с трудом сдерживал волнение и радость.

Конечно же, появление Гната у плетня Кривендихи прозвучало для забойщика сигналом: дурачок принес очередное сообщение. Гнат и сам не догадывался, что превратился в почтальона... Они использовали его как дрессированного пса. Догадливые! Приручили, подкармливали гам, в УРе; может быть, снабжали медными ободками и свинцом. Записки, наверно, незаметно вставляли в какой-нибудь клапан под воротом или подкладкой, техника тут несложная.

Он курсировал в любую погоду, Гнат, он был идеальным связником, лучше не придумаешь.

В Глухарке его встречала Варвара. Проявляла необыкновенную жалостливость, штопала старый ватник...

Сигарка дотлевала в ладони. Последний раз я курил перед операцией — кто-то из раненых сунул мне в губы чинарик, и я лежал с ним, как с соской, обливаясь потом... Врачи отобрали кисет и трофейную зажигалку. Пришлось примириться: мне очень хотелось поскорее выздороветь и вернуться к ребятам.

Сейчас у меня кружилась голова.

Все-таки зачем Горелому понадобилась постоянная связь с селом? Что вообще привязало его к Глухарке, почему он сидит рядышком в УРе, как будто дожидаясь

зимы, дожидаясь своего конца? Гупан тоже задавался этим вопросом. Впрочем, что ломать голову? Завтра, взяв Варвару с поличным, мы узнаем все, что нужно. Если, конечно, доживем до завтра...

Луна поднялась к своему зениту. Тени укоротились. Теперь рядом с Бурканом сидела черная вислоухая такса.

— Если ж они придут, то как луна сойдет, — сказал Попеленко задумчиво. — Им сподручней в темноте. К утру будет самая темнотища.

Мазанки светились плошками. Тени тополей пересекали улицу, как шлагбаумы.

— Давай к Глумскому, — сказал я Попеленко. — И чтоб никто вашего дежурства не заметил. Не подведи, понял?

— Да разве ж я не понимаю?

Я посмотрел в сторону Варвариной хаты. Окна были темны. Попеленко проследил за моим взглядом.

— Нет, она нас не увидит, раз там морячок, — сказал он. — Занятие!

— Как ты думаешь, зачем ей это нужно? — спросил я.

— Ведь оно заведено так, что нужно, — философски ответил Попеленко и вздохнул. — Природа!

— Ты лекций по биологии не читай, я не о том... Зачем ей Горелый и бандюги? Разве она любит его, Горелого? Никого она, кроме себя, не любит!

— Кто их, баб, поймет? — сказал «ястребок». — Другой состав.

— Ну, ладно. Действуй!

— Товарищ Капелюх! — Попеленко ухватил меня за рукав. Брови его вопросительно расползлись в разные этажи. — Извините, конечно... То правда, что вы не у меня Семеренкову сватаете, или то военные хитрости?

— Правда.

— Так-так... — он зацокал языком и сочувственно посмотрел на меня.

Вот, оказывается, какой вопрос мучил его на пороге гревожной ночи.

Я пошел к мазанке Семеренковых, к высоким тополям. Буркан побежал следом. Луна висела высоко и не скоро должна была скрыться за темно-синей линией лесов. Но как будто навстречу луне с запада, со стороны

Грушевого хутора, поднималась гряда облаков. Тень их, наверно, уже коснулась УРа и медленно плыла сюда, к Глухарке.

10

Я вошел во двор Семеренковых осторожно. Только негромко стукнул прикладом о забор. Хотел незаметно усесться где-нибудь под сараем, в тени, приладив МГ для стрельбы с упора. Но дверь мазанки открылась.

Антонина вышла на порог. Она все еще была в шерстяной кофточке и расклешенной юбке. Видать, с той минуты, как убежала с гулянки, просидела в хате, ожидая, когда придет отец, прислушиваясь.

Она стояла на пороге, освещенная луной, а за ней был темный проем двери. Мне показалось вдруг, что мы прожили длинную, сложную жизнь с тех пор, как впервые встретились и разглядели друг друга на озими. И было в этой жизни все, что выпадает людям на долгий век: и смертный риск, и ревность, и радость признания, и неожиданные разлуки, и тоска, и встречи...

Как сказать ей об отце? Не мог я выложить все.

Антонина посторонилась, пропуская меня в хату. Я не собирался входить к ней, я хотел просидеть всю ночь в тени сарая, но она посторонилась и ждала. Глаза у нее были светлые-светлые. Я вошел. Буркан проскочил следом и поспешно, чтобы не выгнали, улегся в сених.

Косые столбы света из окон освещали мазанку. Каганец не горел — черный иссохшийся фитиль торчал из него. На лавке у окна, выходящего на улицу, лежал полушубок. Диковинные звери, сидевшие на длинном столе, как на насесте, сверкали глазурью. Здесь она ждала. Одна. Я оставил ее после первого же объяснения. Я не мог быть рядом... Прости, Антонина.

Она вопросительно смотрела на меня.

— Отец сегодня задержится, — сказал я, стараясь не отводить глаз. — Он... будет у Глумского.

Не знаю, поверила она или нет. Подошла к окну. Лунный свет хлынул на нее. Сердце у меня билось так, что вздрагивал кожух пулемета, прижатый к груди. Я смотрел на ее резко очерченный профиль, на длинную, тонкую, так трогательно наклоненную вперед шею.

Возможно, раз в тысячу лет рождается такая красо-

та... Раз в тысячу лет, и вот судьба вслепую, как в лотерейном колесе, выбирает год и, ткнув наугад в карту, попадает в полесское село под названием Глухарка. Мне удивительно повезло. Даже когда рядом хлопнула, ударившись в землю, и подскочила вверх мина-«лягушка», то и тогда повезло. Потому что все это были ступеньки для нашей встречи. Ведь мы могли разминуться. Цепь чистейших случайностей свела нас друг с другом...

Она глядела в окно, на пустую, рябую от тепей улицу Глухарки. Вдали дымили бессонные трубы гончарного заводика, и легкие, переливающиеся клубы дыма были единственным движением в ночи. Все остальное замерло, застыло. Я боялся пошевелиться. Только кожух пулемета пульсировал отраженными толчками.

Наверно, я был не такой, как все, чокнутый немного. От любви я весь делался какой-то стеклянный, не мог тронуться с места. Судя по рассказам ребят, они любили не так. У них были бойкие руки, бойкие губы, бойкая речь. Любовь вдыхала в них жизнь, а я стекленел. А может, так получалось потому, что она, Антонина, была особенная. Львы с кудлатыми синими гривами, совы-пеликаны, летающие рыбы с очеловеченными лицами — глазули на меня печально и понимающе.

Я молчал, она смотрела в окно, занятая своими мыслями.

Я решил, что смущаю ее. Может быть, ее беспокоило то, что мы были одни в хате. Она сделала естественный жест гостеприимства, пригласила войти, но теперь испугалась моего присутствия. Наверно, бурные события дня отдалили нас, отнесли друг от друга. Чувство полного единения, что возникло во время утренней встречи на озими, превратилось лишь в воспоминание. Сватовство? Это лишь оболочка наших отношений, слепок любви... Почему я думал, что между нами не осталось ничего невыясненного, чуждого? С ней ведь надо было вести себя по-особенному, всегда помнить, почему она перестала говорить с людьми.

— Буду во дворе, у сарая, — сказал я. — Буду всю ночь. Не бойся ничего, ложись спать. Отец придет!

И, преодолев эту проклятую свою стеклянность, осторожно, чтобы не звякнуть пряжкой ремешка, я поднял пулемет и направился к двери. Буркан, улегшийся за



печкой, под вешалкой, застучал лапой о пол и зевнул. Ему не хотелось уходить. Он уже устроился.

Я даже не услышал, как она догнала меня. Ни звука не раздалось, но, когда я шагнул под притолоку, к сениям, ее рука коснулась рукава шинели и удержала меня. Я повернулся. Антонина взяла МГ — вся изогнулась, напрыгавшись от его тяжести — и прислонила пулемет к тепловой стенке печки. Пальцы ее тронули крючок на застегнутой шинели. Она просила остаться...

Непослушными руками я снял шинель, повесил ее на гвоздь у печи. Мы оба глядели друг на друга, не отрываясь, как заколдованные. Прямоугольник лунного света лежал между нами на грубом глиняном полу. Сейчас глаза ее были темными; они все время меняли цвет, ее глаза, и только одно оставалось в них неизменным — выражение доверия, робости и участия.

Она улыбнулась чуть-чуть, одними краешками большого рта. Ее рука потянулась ко мне, пересекла полосу света, и тонкие пальцы коснулись ссадины на губе. Они как будто хотели разгладить, уничтожить ссадину; прикосновение было легким, едва ощутимым, но я снова замер. Черт знает что творилось со мной...

И моя рука вдруг скользнула ей навстречу. Сама собой. Дотронулась до шеи; кожа ее была так прохладна и нежна, что я вмиг ощутил грубость своих пальцев. Маленькая ссадина на них, каждый шрам вдруг стали осязаемыми, резко ощутимыми. Я коснулся ее желто-соломенных волос, казавшихся издали такими плотными и густыми, и удивился их невесомости и легкости. В ее глазах я видел выражение радостного удивления; то же чувство переживал и я.

— Антоша! — сказал я. — Антоша!

Я звал ее, я приглашал ее вернуться в сегодняшнее утро. Я любил, и никакие слова, никакие признания в нежности, никакие объяснения и уверения не могли яснее и лучше выразить то, что я переживал, чем одно это имя — Антоша.

Мы оба оказались в полосе света. Плечи ее как будто вошли в мои и укрылись ими; прямые и широкие, они вдруг сжались, и я почувствовал, как прохладные гибкие пальцы сомкнулись на затылке. Мое лицо уткнулось в ее волосы, и запах лугового, прокаленного солнцем клевера стал оглушающим. Я чувствовал прикосно-

вание ее груди, ее твердость и нежную податливость, ее тепло.

Я прижимал ее к себе и чувствовал под ладонями остроту и хрупкость ее лопаток, я обнимал ее все сильнее, и она словно входила в меня, становилась частью меня самого, и это было удивительное чувство, ничего подобного я никогда не испытывал.

«Это любовь?» — спрашивал я себя. И все во мне отзывалось: да, да, да... И я понимал, что и она спрашивает себя о том же, и слышал ее ответ: да, да, да...

Я всегда боялся дотронуться до нее. Боялся ее памяти. Но сейчас мои руки касались ее, они медленно скользили по ее телу, как будто ими руководила сама природа, я здесь был ни при чем, и ничего не было в их движении постыдного или грубого, того, о чем рассказывали со смехом и ужимками ребята, возвращавшиеся утром из села, с соломой, застрявшей под пилоткой.

Ее тело как будто скользило мне навстречу, она не делала ни одного движения, она застыла, прислушиваясь к себе, но вся она как будто бежала навстречу моим рукам. Жар и холод, твердость и мягкость, округленность и жесткая угловатость — все это несло навстречу, и сердца отстукивали свой ритм, и, когда я почувствовал, как коснулся ее груди, мы оба замерли и притихли, были слышны только одни удары — частые, дробные и бухающие, тяжелые. И ничего, ничего не было в этом грубого и постыдного. Ничего! — а было то, что называлось словом ласка. Впервые я понял это слово во всей его новизне, ясности и чистоте. Ласка. Ладонь ощущала нежную упругость кожи и остроту внезапно обозначившегося и отвердевшего соска...

Она дышала часто-часто и совсем неслышно, я только ощущал на плече легкие приливы и отливы тепла. Это чудо могло длиться бесконечно. Нас несло мимо времени.

— Я люблю тебя, — сказал я.

Я никогда в жизни никому этого не говорил. Были случаи, когда мог бы сказать, но в последнюю секунду какое-то сомнение и стыд удерживали меня. А сейчас я сказал...

Она внимательно и как будто немного удивленно посмотрела на меня снизу вверх. Наши губы сблизились,

сомкнулись и оторвались. Но как будто бы только для того, чтобы вновь пережить чувство сближения.

— Я... люблю... тебя, — сказала она.

Она чуть слышно и медленно, чуть ли не по складам произнесла эту фразу. Губы едва шевелились, но я услышал. Это были первые ее слова. Она повторила их вслед за мной, словно радуясь возможности проверить, не утеряна ли способность речи.

Я касался губами ее ресниц, волос, щек, губ, подбородка, шеи. Как же это случилось, что в сутолоке войны, в людской сумятице я отыскал ее, единственную, мою?

— ...Люблю... — чуть громче повторила она.

И чуть отстранилась, чтобы снова встретиться глазами. Ей было мало слов. Она не привыкла полагаться на слова.

И я вдруг вспомнил, что Попеленко, сочувственно качая головой, спросил, правда ли это, что я сватаюсь «за немую»... Вот почему так скованно и робко стояла она у плетня, надев лучший наряд, какой только нашелся в доме: для деревни она стала отверженной. «Немой». Она уже не верила своей красоте, как не верила словам. И сейчас, ощущая прикосновение моих рук и вслушиваясь в слова, она впервые поняла, какова же на самом деле. И смотрела в глаза, не отрываясь, чтобы еще раз убедиться. Правда? Да, да, да... Лучше тебя нет. Нет, нет, нет...

Мы открыли друг друга. И не могли потерять. Мы должны были во что бы то ни стало постараться не потерять друг друга. Я подумал о Горелом и его банде. Фронт приучил не бояться смерти. Когда видишь, как умирают более достойные люди, то поневоле начинаешь не бояться. Но теперь я опасался оставить ее. Не мог я теперь оставить ее.

— Я люблю тебя, — повторила она радостно.

Мы только сейчас заметили, что стоим на свету. И ушли из лунного столба.

Мы ушли, и было все, что должно было быть, словно мы давно знали, как и что. И чувство любви, нежности и доверия не исчезло вместе с горячим дыханием. Оно осталось с нами, когда все успокоилось, когда мир вер-

нулся на свое место. И леса, и поля, и сверкающий под росой клин озими — все осталось с нами. Не было стыда. Не хотелось никуда бежать. Все, что случилось, называлось любовью. А те, кто рассказывал об этом с ужимками, ухмылками, с подробностями и хвастовством, вытряхивая солому из-за ворота, были несчастными, обделенными судьбой людьми. Наверно, им здорово не повезло в жизни, вот они и играли, представлялись... Наверно, это удивительное везение, редкое, неповторимое счастье — встретить свою.

Квадраты лунного света медленно передвигались на глиняном полу. Глиняные львы и совы вспыхнули вдруг всеми красками. Они охраняли нас, диковинные мудрые звери с человеческими ликами. Антонина тихо дышала на моем плече. Мне было так спокойно и хорошо, как никогда в жизни. Я и не думал, что может быть так. Не подозревал.

Свет луны вдруг поблек — ее прикрыла гряда наползающих с запада облаков. Погасли глаза глиняных зверей. Близился самый опасный час, час Горелого. И все равно мне никогда не было так хорошо и спокойно. То, что случилось, оставалось со мной. Полнота жизни и счастья! Этого никому было не отнять...

— Антоша! — сказал я. — Антоша, Антоша...

Она, не просыпаясь, еще теснее прижалась ко мне. Один за другим закрывались длинные прямоугольники лунного света на полу. Стало темно. Странно — куда делась моя боль, жернова, тяжело вращающиеся в глубине тела? Не было, никогда не было мины-«лягушки», настойчивого шепота Дубова, повторявшего о шести часах, маски с хлороформом, никогда не было ничего дурного, страшного в жизни, а только ощущение полного спокойствия и счастья.

Я взглянул в угол, где еще недавно поблескивал вороненым металлом МГ. Сейчас угол скрылся во тьме. И я заснул...

Проснулся я оттого, что завизжал Буркан Он завизжал радостно, бросившись в сени, и я все понял. Тяжелая, сильная рука шарила по двери. Проскрежетала проволока.

Открыть простую крестьянскую щеколду — дело нехитрое. Доска с зазубринами — вот весь замок, а ключ — два скрепленных осью металлических стержня. Даже в темноте достаточно трех-четырех минут, чтобы справиться с таким запором.

Я как будто и не спал. Голова была холодной и трезвой. Пока Климарь водил согнутой проволокой, стараясь нащупать зазубрины щеколды, я успел одеться. Антонина приподнялась, я осторожно притронулся ладонью к ее щеке: тихо, не вставай...

Спасибо Буркану. Он спас нас. Его радостный визг послужил сигналом тревоги.

Не надевая сапог, по холодному и твердому глиняному полу я бесшумно прошел к окну и выглянул из-за занавески. Улица была темной, но из нависших над землей облаков сочился слабый утренний свет. Силуэты мазанок и тополей были размазаны серым по серому.

Глаз терялся в этом монотонном сумеречном одноцветье. Поблизости, за плетнем и во дворе, я не заметил человеческих фигур. Чуть подавшись к окну и прикрывая лицо рукавом гимнастерки, чтоб не так белело, я посмотрел вдоль мазанки. Здесь, у крашенной мелом стены, было светлее, чем на улице. Я различил массивную фигуру Климаря, прижавшегося к двери и орудовавшего отмычкой. Забойщик был один.

Повизгивание Буркана не смутило Климаря. Ничего удивительного, что собака, оторвавшись с привязи и не найдя хозяина, прибежала в знакомый ей дом. Климарь пробурчал что-то сквозь дверь, чтобы успокоить Буркана, и продолжал полегоньку нащупывать проволочкой зазубрину в щеколде.

«Нельзя ли взять забойщика живьем?» — мелькнула мысль. Сработал «дубовский» инстинкт... Но рядом была Антонина. За ней пришел забойщик. Если я не справлюсь с ним, погублю не только себя — ее тоже.

Я слышал хриплое, тяжелое дыхание Климаря. Кабалось, работают старые, дырявые кузнечные мехи. Старые? Сухожилия, подобно канатам, оплетают широкие запястья забойщика, это я помнил. Я помнил, как умело он обращался с ножом, с какой неожиданной ловкостью и быстротой бросился наперерез визжавшему в смертном испуге Яшке. Шесть пудов костей и мышц — справься с таким!..

Нет, я не должен был давать Климарю никаких шансов.

Антонина затаилась в уголке. Ни звука, ни движения. Она все поняла. Не от страха она затаилась, это я чувствовал, — опасалась отвлечь меня, помешать напоминанием о себе. Не перебросившись ни словом, мы с ней действовали заодно. Каждой частичкой тела я ощущал, что мы продолжаем оставаться вместе, и это помогало, делало меня спокойнее и сильнее.

Медленно поднял пулемет. От его тяжести босые ступни как будто прилипли к глиняному полу, стало зябко. Я нащупал, хорошо ли вставлен кругляш, нет ли перекоса ленты.

Проволочка Климаря наконец попала в зазубрину щеколды. Он даже притих от напряжения. Наступила полная тишина. И щеколда, чуть скрипнув, продвинулась на одну зазубрину. Еще две зазубрины оставалось Климарю — совсем пустяки, когда дело пошло.

На цыпочках я отошел в сторону, к Антонине, держа МГ на весу. Я хотел приготовить ее к грохоту выстрелов, чтобы не испугать. Плечом осторожно отодвинул ее к подушке. Она догадалась, покорно прильнула к кровати. Как будто давала знать, что готова, что просит как можно лучше сделать свое дело и не рисковать без нужды. Каждая ее мысль становилась известной мне, едва успев возникнуть.

Климарь передвинул еще одну зазубрину в щеколде. Теперь он уже не сдерживал дыхания, спешил, хрипел, и казалось, что за дверью кто-то чистит песком сковородку: шрых-шрых, шрых-шрых... Буркан скулил.

От Антонины исходило сонное тепло. Она притаилась, накрывшись одеялом, но легкий запах сухого клевера долетал до меня. Мне не хотелось стрелять, честное слово! Мне не хотелось убивать кого бы то ни было, даже Климаря. Если бы он сейчас ушел просто так, передумав, взял бы и ушел, я бы не пустил очередь вдогонку. Никого я не хотел убивать на исходе этой ночи.

Но Климарь не ушел. Ему приказали привести Антонину, доставить ее к Горелому. Зачем еще он мог явиться сюда с отмычкой, как ночной вор? Еще раз пискнула, отодвигаясь, щеколда, и дверь в сенях начала отворяться. Под ее скрип я взвел затвор и передвинул предохранитель.

Волна ночных запахов и свежести ворвалась в мазанку. Слышно было, как Климарь стукнул по черепу бросившегося навстречу с радостным визгом Буркана. Звук был глухой, костяной — видимо, забойщик ударил рукояткой ножа. Пес, отлетев, хлопнулся о стену.

Смутное движение какой-то массы угадывалось в темноте, у входа из сеней в мазанку, да слышался монотонный хрип. К ночному воздуху, пропахшему резедой и душистым табаком, примешался самогонный перегар.

На пороге Климарь остановился, задержал дыхание. Может быть, он почувствовал какую-то опасность и старался понять, откуда она исходит. Он застыл на пороге, как глыба, как идол, как олицетворение зла. Ряды глиняных зверей за моей спиной, казалось, должны были завопить на разные голоса от возмущения и испуга. Насилие входило в дом. Оно хрипело, давась собственным дыханием, оно распространяло запах сивухи.

— Антонина! — шепотом позвал Климарь. — Антонина, ты где?

Он боялся тишины, забойщик! Беззвучность жертвы — это было неестественно, непривычно для него. Жертва должна бояться, должна испуганно и тоненько отвечать.

Низкий, скрежещущий голос Климаря, наждачный его бас обрыскал все углы и не нашел никого, кто мог бы ответить.

— Антонина! — уже нетерпеливо сказал забойщик, и я заметил, как у входа в мазанку чуть заметно блеснуло. Это был блеск хорошо начищенного металла. Темная квадратная фигура шагнула вперед.

Я нажал на спуск.

Короткая очередь оглушающе прогреготала в мазанке. Голубым и розовым высветились на миг беленые стены. Заложило уши... Первое, что я услышал затем, был медный звон катящихся по твердому глиняному полу и стukaющихся друг о друга гильз. Выброшенные отражателем МГ, они весело пробежали куда-то в угол и стихли.

Щекотно запахло пороховой гарью. Из дверного проема послышались хрипящие и булькающие звуки. Там что-то клокогало, как в котле. Мне надо было бы после ошеломляющего грохота очереди сразу же рвануться вперед, перескочить через Климаря и выбежать во двор, чтобы опередить любого возможного противника, не

дать ему времени для ответных действий. Это была азбука боевых действий в населенном пункте.

Но я сидел... Не хотел я стрелять в это утро. Совсем не хотел. Потом, оставив МГ, я поволок Климаря, ухватив его под мышки, из хаты. Казалось, в животе все жилы лопнут от тяжести, но я протащил его через два порога во двор. Руки стали липкими от льющейся на них и спекающейся крови. Отчаянная мысль сверлила мозг: когда же это все кончится, когда? Как немного нужно, чтобы вытрясти жизнь даже из такого крупного, могучего тела; а в чьей-то обойме спрятана пуля и для меня... Но я хочу только одного — мирной и спокойной жизни для людей!

Я отыскал в сенях пыльный мучной мешок и прикрыл им Климаря. Буркан жалобно повизгивал, ему здорово досталось по голове. Я вернулся в мазанку. Взял из шинели запасной кругляш, вложил в карман галифе.

— Антонина, — сказал я. — Я скоро вернусь. Не бойся.

Я опасался дотронуться до нее. Пальцы даже к голенищам прилипали, когда я натягивал сапоги. Рука ее слабо коснулась моей щеки, глаз, носа... Давай иди, говорило это прикосновение. Иди, раз это нужно. Ты ведь вернешься?

Я вышел из мазанки. Светало. Да, Климарь пришел в Глухарку один, но наверняка где-нибудь у лесной опушки или на полях его ждали дружки. И они вот-вот могли заявиться.

Над головой нависли низкие темные облака, движение их угадывалось по изредка мелькавшему в этой массе, быстро пробегавшему над крышами мазанок проблеску. Пахло дождем, тополя шелестели, листва неслась по двору.

12

Свет медленно заполнял проемы между домами, выделяя косые линии соломенных крыш. Какая-то несурязица в утреннем облике села заставила меня насторожиться.

Заорали петухи — я вздрогнул от раздавшегося за спиной, в сарае, пронзительного крика и вдруг понял, в чем дело. Не дымили трубы гончарного заводика! Они

молча уставились в небо, широкие, как мортирные стволы.

В час ранних петушиных криков, когда глухарчانه досматривали последние, самые сладкие сны и ни одна печь в селе не дымила, темные, переливающиеся клубы над гончарней были особенно заметны. Они напоминали о том, что Глухарка село не какое-нибудь обычное, дремливое, а гончарное, село мастеров, которым ни на минуту нельзя забываться в лени и сне.

Но сейчас трубы не дымили. Буксир перестал тащить за собой вереницу мазанок-барж.

Прикрываясь росшей у плетня акациевой загородью, я пошел к заводу. Неприкрепленные сошки пулемета болтались при ходьбе. Я то и дело оглядывался на мазанку Семеренковых. Там оставалась Антонина. Но заглушенные трубы заводика звали к себе. Я шел, пригнувшись, стараясь не цеплять колючих веток акации.

...И когда три фигурки серыми мышиными клубочками покатались от гончарного заводика навстречу, я лег под плетень, воткнул сошки в сырую, поросшую одуванчиками и плотными листьями подорожника землю и стал ждать. Значит, они захватили заводик. Зачем? Нелепость какая-то...

Трое бежали вдоль плетней, по обеим сторонам улицы. Они, наверно, услышали короткую очередь и теперь бежали на подмогу Климарию. У каждого было по «шмайсеру», ремни автоматов провисали к земле. Я смотрел на них и ждал. Пусть бегут... Фланги! Вот что меня беспокоило. Моими флангами были мазанки, сараи и огороды, они не просматривались и оставались неприкрытыми.

Любой мало-мальски соображающий бандюга мог зайти на стук пулемета сбоку, с огородов, и расстрелять меня в упор. Что, если уже сейчас кто-то скрытно пробирается задами мазанок? Конечно, незачем было размышлять об этом. Цель — эти трое. И все. Я мог уполовинить шайку Горелого. Подпустить их на тридцать-сорок метров. Но мои мысли возвращались к Антонине. Я хотел вернуться к ней. Живым! Не под мучным мешком... Ну, если уж суждено, то пусть это случится не сегодня. Сегодня мне нельзя оставить ее.

Трое трусили вдоль плетней — двое справа, а один по левой стороне улицы. Лоб у меня покрылся испари-

ной. Фланги, неприкрытые фланги! Пулемету ни черта не страшно на высотке, когда есть обзор, но в такой позиции он слеп, он смотрит вдоль улицы тупым стволом, а справа и слева хаты, плетни, сады. Хотя одного человека бандиты должны направить стороной, огородами. Тут ведь нехитрая, проверенная тактика.

От хаты Глумского, где должен был дежурить Попеленко, меня отделяло несколько мазанок. И я дал длинную очередь по трем серым фигуркам, крадущимся вдоль плетней. Пусть, черт возьми, проснутся мои соратники! Не хочу я оставлять Антонину, не хочу, чтобы она беззвучно редела над мучным мешком, у нас, черт возьми, все только начинается, у нас впереди целая жизнь... Это чудо, что мы встретились, а какой-то гад может все разрушить, кинув одну-единственную «феньку» из-за плетня.

С такого расстояния я не сумел попасть, а пристреляться они мне не дали, махнули через плетень — смело их с улицы, как перезревшие груши с ветки, когда трянешь как следует. Да, промазал... Зато шуму было много, десятка два-три гильз отсыпал МГ в пыльный подорожник.

Попеленко, оказывается, не спал. Его голова в серой шапчонке, сбитой набекрень, приподнялась рядом с тычком, подобно сохнувшей макитре.

Он, должно быть, давно приглядывался ко всему, что делалось на улице. Не мог он не заметить и бандитов со «шмайсерами»... Наверно, решал сложные «военные планы» — драпануть в лес или сховаться в лопухи.

Близкая пулеметная очередь придала ему уверенности, и «ястребок» высунулся из-за плетня.

— Попеленко! — крикнул я. — Сюда!

Оттуда, где скрылись бандиты, ударили на голос автоматные очереди. Пули подняли пыль на дороге и, рикошеты, противно заняли... Значит, по флангам, по огородам, шли сообщники, иначе этим троим незачем было открывать отвлекающий огонь! Я ответил очередью, как будто поддавшись искушению вступить в бессмысленную, но деятельную перестрелку.

— Чего стоишь? — закричал я «ястребку». — Беги ко мне!

— Не могу! — ответил Попеленко. — Стреляют дуже!

Я еще раз нажал на спуск. Автоматы примолкли, и я рванулся вперед, плюхнулся рядом с плетнем Попеленко в канаву с навозной жижей. Над головой пропели пули. Толстые, кургузые, как бульдоги, шмайсеровские пули. Тюф-тюф-тюф...

Сквозь щели плетня я видел белую широкую физиономию «ястребка».

— Ну, ты! — сказал я. — Беги к Глумскому. Прикройте с огородов! Ты справа, Глумский слева! По улице я их не пропущу, не бойся... И помни насчет трибунала... Это тебе боевые действия, расправа будет короткая.

— Ага! — выдохнул Попеленко и исчез.

На той стороне села, где залегли «хлопцы» Горелого, теперь работал один автомат. Наверняка двое бандитов присоединились к друзьям, что скрытно пробирались задьями. Теперь все зависело от расторопности Попеленко и Глумского. Я не мог оставить свою позицию и освободить бандитам улицу для броска.

«Шмайсер» работал почти безостановочно, с перерывами для смены обойм. Я не стал отвечать: пусть побеспокоятся, поосторожничают. Вот через улицу промчался, размахивая руками, Глумский. Я прикрыл его бросок длинной очередью.

И вскоре из-за хат бухнул винтовочный выстрел. И еще два подряд. Глумский открыл пальбу. Пусть стреляет хоть в божий свет. Они не полезут, поняв, что фланговое продвижение обнаружено. У них тоже не дивизия.

Справа застрочил автомат, наш ППШ. Попеленко! Бандиты отвечали, но вяло, короткими очередями. Чувствовалось, что серьезный бой не входит в их намерения.

Пока шла перестрелка на огородах, автомат на дальней стороне села примолк выжидательно, и я смог перебежать подальше. Рядом, по плетню, как будто кнутом ударило: чуть в сторону взял автоматчик. Справа, за стеблями подсолнухов, я видел Попеленко. Он стрелял, пригнувшись, и то и дело поглядывал по сторонам. Я воткнул сошки в землю и стал бить короткими очередями в разрез мазанок, по огородам, где притаились бандеры.

Перемещение пулемета им сразу же не понравилось — сообразили, что попадут под боковой огонь, и перестук

«шмайсеров» отдалился. Бандюги оттянулись назад, к заводу.

Им можно было попытаться обойти нас за селом, полями, еще шире растянув цепь, но уже рассвело, жнивье просматривалось на несколько сот метров.

Если бы у банды была ясная и четкая цель наступления, если бы они во что бы то ни стало хотели спасти Климаря, то просто навалились бы, не жалея себя, напропалую и кто-то на огородах проскочил бы к нам в тыл. Но, видать, рисковать им не хотелось... Автоматный треск все удалялся к заводу. Коротко взлаивал то один, то другой «шмайсер». Бандиты на всякий случай прикрывали отход. Но преследовать их было некому. Нам отбиться — и то победа!

Наступило затишье. Глумский на огородах иногда постреливал из карабина. Попеленко молчал, но я видел между мазанками на уровне обезглавленных стеблей подсолнечника его шапчонку. Да, невелико наше войско... а все-таки выстояло.

Серые облака с запада неслись над соломенными крышами, изредка от них отрывались загнутые, как спусковые курки, клочья и почти цеплялись за острые верхушки тополей. Рассвело, но петухи молчали, будто выжидая конца стрельбы, а село будто вымерло. Все, наверно, жалось к стенам под окнами или рассыпалось по погребам и подполам. Глухарчане знали, что надо делать, когда стреляют.

Но вот ухнули подряд три гранатных разрыва. Дым и пыль поднялись над гончарным заводиком. Первым пришел в себя Глумский. Забыв о своем левом фланге, сутулый, почти горбатый — маленький карабин казался в его руке длиннющей трехлинейкой, — он выбежал из-за калитки соседней мазанки.

— Чего они делают? — завопил он, не видя еще ни меня, ни Попеленко и обращаясь к вымершей улице. — Что ж это, товарищи-граждане, завод жгут!

Над крышей гончарни поднимались тонкие струйки дыма — они сочились из-под стрехи. На голос председателя сразу же отозвались глухарчане. Головы одна за другой поднимались над плетнями.

— Жгут завод! — завопил Глумский и бросился по улице к гончарне.

Он мчался на своих кривых ногах, он даже бросил

карабин, чтобы не мешал, и отчаянно размахивал руками. Я увидел, как бабка Серафима выскочила из калитки и побежала вслед за ним, придерживая длинную юбку... Уже десятки глухарчан неслись к заводу, крича, обгоняя друг друга. И самое страшное — впереди, вырвавшись из-под ног взрослых, оказались ребятишки. Они поддались общему настроению. Тут и Попеленко не выдержал. Выскочил из подсолнухов и дунул шибче всех. Ведь среди ребятни бежала его «гвардия».

Кричать, предупреждать, даже стрелять поверх голов было напрасным занятием. Ничто не остановило бы толпы, несущейся к подожженному заводу. Безоружные люди мчались навстречу шести автоматам...

Я подхватил пулемет и побежал за ними, я торопился: надо было обогнать толпу. Запасной диск болтался в кармане, как гиря, стуча по ногам. МГ тянул к земле... Я еще не научился бегать как следует после госпиталя. Рот мгновенно пересох, в легкие как будто самоварных жгучих угольков насыпали. Нет, не догнать!

Задыхаясь, я отбежал в сторону, к Барскому пепелищу, откуда хорошо был виден заводик, стоявший чуть в низине. Сменил кругляш и дал первую очередь по заводскому двору, где мельтешили фигурки бандитов.

Фигурки забегали быстрее. Толпа приближалась к гончарне, густой массой стекала по дороге.

Пришлось выпотрошить почти весь кругляш, поливая завод. Огонь не был прицельным. Но кому нравится цвирканье пуль над ухом? Темные фигурки выстроились неправильной цепочкой и, петляя между карьерами, потянулись к лесу. Я насчитал семь человек. Они четко обрисовывались над краем карьеров. Откуда взялся седьмой? Когда цепочка приблизилась к лесу, я насчитал уже шестерых. Видно, прежде померещилось, или от пота зарябило в глазах.

Цепочка скрылась за двумя обгоревшими транспортерами, снова выползла и втянулась в лес, как змея. Ну что ж, полностью отбились. На сегодня отбились. Толпа глухарчан уже вбегала во двор заводика. Дымки из-под стрехи стали гуще, но я видел, что маленький горбатый человек, став посреди двора, размахивал руками, как дирижер, и над головами людей появились багры, бабы уже бежали к ставку и колодцу с ведрами,

кто-то, подхватив вилы, лез на крышу, чтобы сбросить загоревшуюся солому.

Тучи опустились еще ниже, потемнели, и пошел дождь. Спасительный косой тяжелый дождь. Я подставил каплям обгоревшие губы. Дождь бил по щекам, по глазам, смывал темную жижу с гимнастерки. Я поднял пулемет и побрел к заводу. От гимнастерки шел пар.

Глинистая земля сразу же стала скользкой. К сапогам налипали тяжелые мокрые комья... Вот так мы отдыхаем в тылу и набираемся сил в лесной деревушке под названием Глухарка! Напишу Дубову и ребятам — животики надорвут.

Подбирая карабин Глумского, я поскользнулся и проехал метра три по глине, как по льду. И расхохотался, лежа на земле и глядя в набухшее, тяжелое небо, откуда крохотными бомбочками летели капли. Только сейчас я начал чувствовать, что дождь холодный, а мокрая гимнастерка леденеет под ветерком. Но я хохотал, подставив лицо каплям. Отбились! От Горелого отбились! И я жив, жив, жив!

5

глава



1

— Видно, они хотели ее оглушить, да не рассчитали, — сказал мне Глумский, показывая на Кривендику.

Она лежала у завялочной печи лицом вниз; юбка огромным плоским треугольником распласталась на глиняном полу, и из-под этого треугольника торчали тонкие желтые палочки-ноги в худых башмаках. Печи — они рано морщинят и высушивают людей, кожа натягивается на костях, как на сапожных колодках. И у моей Серафимы была такая же обожженная кожа, тонкие руки и ноги.

— После гулянки ей было заступать, вот и пошла, — сказал Глумский. — И не попросила замены...

— За Валериком послали? — спросил я.

— Послали.

— Домой?

Председатель искоса взглянул на меня. Приоткрыл бульдожьих зубы.

— Куда надо послал... Чего им сдалась гончарня, чего они искали? — сказал он. — Ямы вырыли. Зачем?

Сквозь балки потолка в завялочную падали капли дождя. Крыша над заводиком была почти вся сорвана



глава

5

и брошена вниз. Желтая и черная солома лежала на земле, парила под дождем. По двору бродили закопченные люди с вилами, топорами и баграми. Все были возбуждены, разговаривали, но вполголоса, поглядывая в сторону завялочной.

Дождь и багры спасли заводик, точнее, его стены. Все, что было внутри, изуродовали гранатные взрывы. Здесь, в закрытом помещении с толстыми стенами и маленькими оконцами, ударная волна похозяйничала как следует... Гончарные круги расщенило на части, даже толстые спидняки не выдержали. Опрокинуло все столы с посудой, и глечики-сырцы, оставленные с вечера, лежали на полу плоскими кусками, все еще сохранявшими некое подобие сосудов. Все стены были разукрашены красками, превращены в щербатую палитру. Желтые, красные, синие, зеленые пятна... Зачем?.. Бессмысленное, дикое разрушение, непонятная месть.

Штабель готовой посуды во дворе стал грудой черепков. Глечики, барильца, горшки, куманцы, макитры лежали разноцветной, искрящейся глазурью массой. Рядом шипела и потрескивала груда соломы. Я поднял один

из черепков — бочок расписного барильца. На нем зеленела веселая, тянущаяся лепестками вверх «сосонка». Может быть, та «сосонка», которую выводила коровьим рожком Антонина. Тонкие пальцы крепко держали коровий рожок, узор вился, трепетал, а барильце, медленно вращаясь, подставляло свой рыжий бок. В тот день я впервые увидел ее глаза, между нами возникло мгновенное ощущение родства и близости, и оно оказалось безошибочным. Антонина... Антоша.

Я положил осколок барильца в карман.

Неподалеку, на ровной, усыпанной стеклами и черепками площадке, собрались старухи. Бабка Серафима грозила лесу высоко поднятым острым желтым кулачком и поясняла, что она думает о бандитах. Говорила она, конечно, не «по-письменному».

Что искали на заводе люди Горелого? Я задавался тем же вопросом, что и председатель. Бандиты вырыли две большие ямы — одну в цехе обжига, рядом с печью, вторую — во дворе, у дальнего угла гончарни. Видно, работали всю ночь.

Клад, что ли, был здесь зарыт? Я вспомнил рассказ Сагайдачного. Искали золото? Чушь... Горелый не мог быть фантазером. Фантазеры не шли в полицию. Туда шли люди с очень трезвым представлением о материальных благах и выгодах.

Но что-то они искали! И видно, не нашли, иначе не стали бы в припадке злобы жечь гончарню. Семеренков имел какое-то отношение к этим поискам, ведь его увели перед самым нападением... А зачем им понадобилась Антонина? Семеренков не открыл им всего, что знал, и они решили прибегнуть к самому сильному средству воздействия? Я вспомнил рассказ Сагайдачного. «Младшая — напоследок...» А что же старшая? И почему Семеренков не хотел открывать какой-то тайны?

Семеренков... Может быть, он-то и был седьмым? Да, скорее всего они прихватили его с собой. Но в лес юркнула змейка из шестерых. Это я хорошо видел.

Я отозвал в сторону Глумского и Попеленко. Ватник на «ястребке» был сожжен, а белесые ресницы потемнели от копоти.

— Чего доброго, ты скоро научишься воевать, По-

пеленко, — сказал я. — Небось первым к заводу прибежал?

— Первым, — засвидетельствовал Глумский.

— Хиба мы хуже других? — спросил «ястребок».

— Ты иди в село, обеспечь наблюдение, — сказал я своему помощнику. — Там, кстати, у Семеренковых во дворе лежит Климарь. Под мешком. Надо его свезти оттуда.

Глумский внимательно посмотрел на меня. У него были узкие цепкие глаза. Челюсть проделала впечатляющее движение.

— Климарь... Так... Когда же он появился?

— На рассвете.

— А ты чего там оказался?

— Дежурил во дворе.

Попеленко, с трудом отрывая сапоги от мокрой глины, поплелся к деревне. За ним увязались Васька и остальные «гвардейцы».

— Сходим к транспортерам, — предложил я Глумскому. — Надо посмотреть на карьеры.

Он снял карабин с плеча, щелкнул затвором, проверил, есть ли патрон. Потом его сощуренные глаза еще раз скользнули по мне, остановились на гимнастерке. Он как будто изучал, все ли пуговицы на месте. Дождь выбивал из меня последние остатки тепла.

— Чего дрожишь? — спросил Глумский. — Намок?.. Возьми брезентовый плащ, там, на заводе, в казарме для горшковозов.

И как только я вернулся, накрывшись заскорузлым, жестким брезентом, председатель добавил невзначай:

— Как это ты продежурил во дворе у Семеренковых в одной гимнастерке?

Мне показалось, он усмехнулся. Когда Глумский скалит зубы, невозможно определить — собирается он вцепиться в тебя или улыбается.

— Ладно, — сказал я. — Больно догадливый. Скажи лучше: зачем Горелый пришел на гончарню?

Мы зашагали по липкой дороге. Округлые следы копыт — здесь из дальних карьеров возили глину-червинку на волах — были заполнены оранжевой водой. Она кипела под частым дождем. Пулемет оттягивал плечо.

— Ну, вот тебе и бабье лето, — сказал Глумский, обернувшись ко мне.

По его выгнутой, обтянутой суконной курткой спине вода стекала, как по крыше. Он покосился на мои сапоги, превратившиеся в начинку для глиняного теста.

— Ты что ж, в сапогах дежурил у Семеренковых?

— Отстань, — сказал я. — Мало тебе сейчас забот?

— Много, — пробурчал он. — Но ты, смотри не обидь ее, Антонину. Ты соображай, ее нельзя обидеть...

— Обязательно обижу, — сказал я. — Я для этого сюда приехал... Я обязательно обижу. Не зря же я сидел во дворе. Климарь, тот пришел цукерку* ей подарить... Тот не хотел обидеть.

— Редкость невиданная — такая девка, — уже не так сурово сказал Глумский. — Я к ней давно присматривался. Ты еще под стол лазил, а я в ней человека разглядел...

Дождь сек по брезенту с такой силой, что заглушал слова Глумского. Я подошел к нему вплотную, дуло карабина, подпрыгивавшего на горбатой спине председателя, едва не уткнулось мне в подбородок.

— Я на ней сына женить мечтал! — неожиданно выкрикнул Глумский и затряс в воздухе круглым, как кавун**, кулаком, грозя неизвестно кому. — Они же ровесники были. Дружили. Война началась, им уже по пятнадцать было... Эх, думаю, скорей бы подросли... И женил бы! — выбухнул он. — В лепешку бы расшибся, а женил... Такая девка, соображать надо!

Он снова махнул кулаком. Наверно, он женил бы сына на Антонине. Говорят, красивый был у него сын, Тарас, настоящий парубок. И смелый. Гранату бросить в вооруженных фрицев в сорок первом — это надо было иметь кое-что в душе. Вот только чеку забыл выдернуть. Пятнадцать лет!

Первый карьер был чист. На дне его валялся старый поломанный струг. Вода стекала на дно карьера ручьями. Здесь все было рыжее и красное — под цвет глины. Даже листья мать-и-мачехи, росшей по склонам карьера, казались алыми. Они впитали

* Цукерка — конфета (укр.).

** Кавун — арбуз (укр.).

пыль червинки и теперь, под дождем, отливали красным гляncем.

Скользкой тропкой, петляющей над неровными краями карьера — этой ямы, как будто пробитой в земле гигантским зазубренным осколком, — мы прошли дальше, туда, где темнели железные остовы двух бронетранспортеров. В трехстах метрах виднелся лес.

Где-то здесь, как рассказывал Гупан, Горелому, конвоировавшему эти машины, обожгло лицо. Судьба решила оправдать старое деревенское прозвище.

Как и все вокруг, бронетранспортеры вблизи отливали алым. Налет пыли и ржавчины образовал на металлe корочку. Сейчас ее полировал дождь, она поблескивала.

— Никого нет! — сказал, оборачиваясь, Глумский.

Борта транспортеров были иссечены крупными осколками «эрэсов». Ветер посвистывал в пробоях и зазубринах металла.

— Мне показалось, до этого места они шли всемером! — крикнул я в ухо Глумскому. — А потом их стало шестеро...

Здесь тропка вливалась в широкую, затоптанную волами и испещренную глубокими колеями дорогу. На ней-то и стояли бронетранспортеры. Дорога обтекала их, как река обтекает острова, с обеих сторон. А правее был карьер, край которого густо порос бурьяном репейником, мать-и-мачехой.

Глумский вошел в эти заросли и почти скрылся: серые круглые плоды репейника цеплялись за его плечи. Он глянул вниз и вздрогнул. Рука, взметнувшись над репейником, ухватила наплечную часть карабинного ремня, но тут же сползла вниз.

— Что там? — крикнул я и бросился к Глумскому, с трудом, как ядра, выметывая вперед сапоги.

Это был старый, брошенный карьер, с разрушенной ручьями выездной дорогой, которая неясно просматривалась сквозь дождь на той стороне ямы. Вода с легким воркованьем сбегала вниз по промоинам, и на дне ямы уже набралось оранжевое озеро.

Я не сразу понял, что в карьере лежит человек; почудилось, это вымазанная червинкой грудa старого

тряпья. Я, как и Глумский, оторопел, когда груда слабо зашевелилась. Беззвучно зашевелилась. Страшно.

Пригнувшись и заслоняя глаза от косо бьющих в лицо капель дождя, я разглядел в этой груде очертания тела. Ноги человека лежали в воде. Он, видимо, пытался выползти наверх и был весь покрыт слоем рыжей червинки. Но вот рука выбралась откуда-то из-под груды, как щупальце, и слабо потянулась вперед, стараясь уцепиться за что-нибудь. Пальцы хватали податливое месиво.

Я узнал эту трехпалую руку, укороченную и слабую, похожую на подбитое крыло.

2

Бросив пулемет, я прыгнул с откоса. Глумский — следом.

Бессильно барахтаясь в жиже, мы докатились до озера на дне карьера. Гончар лежал лицом вниз, у него еще хватило сил держать голову так, чтобы не захлебнуться мокрой глиной. Я встал на четвереньки — колени разъезжались в разные стороны — и перевернул Семеренкова. С помощью Глумского подбил под него брезентовый плащ.

Нигде не было следов свежей раны, одежду всюду покрывала рыжая глина, похожая на спекшуюся кровь. Мокрой пилоткой я вытер Семеренкову лицо. Открылись глубокие, как борозды от шпателя, морщины. Сейчас они стягивали лицо наискось, превращая его в гримасу боли. Семеренков дышал часто и неритмично, как будто всхлипывая.

Глумский растерянно взглянул на меня.

— Ничего, — сказал я. — На фронте, бывало, и не такие оживали.

На губах у гончара не было крови — значит, ранили не в грудь, не в легкие. Частое, неглубокое дыхание подсказывало мне, что ранение было где-то возле диафрагмы. Когда пролежишь четыре месяца в госпитале для «животников», начинаешь соображать, где у человека что заложено.

Я растегнул ватник Семеренкова и рванул на себя старенькую, латаную рубаху. Она расползлась легко, как паутина. Открылся худой, втянутый живот с лесен-

кой мышц. Нигде не было крови. Я рванул рубаху донизу. Капли били по сухой смуглой коже гончара и катышками бежали вниз. Что же случилось с ним?

Неожиданно трехпалая увечная рука Семеренкова, как будто стараясь помочь мне, коснулась живота, оставив грязные следы. И я увидел три слабые отметины под ребрами. Сперва они показались мне царапинами. Но, прикинув к Семеренкову, я понял, в чем дело. Его ударили тонким ножом. Три раза, в печень и «под дых», в нервные узлы.

Я оглянулся на Глумского. Но Глумский ничем не мог мне помочь. Он еще не понимал, в чем дело. Я указал глазами на отметины. Хуже всего то, что Семеренкова ударили тонким и длинным бандитским ножом. Эти безобидные отметинки, которые даже не кровоточили, были смертельно опасными ранениями. Раз нет следов крови снаружи, значит она разлилась внутри. Только срочная хирургическая помощь могла спасти Семеренкова. Самая срочная! Но поблизости не было ни одного врача...

— Потащили! — прошипел Глумский сквозь стиснутые зубы.

Да, не зря говорили, что Горелый настоящий садист и палач. Просто убить — этого Горелому было мало. Он бросил смертельно раненного гончара в карьер, чтобы тот долго еще карабкался по его стенам, как жук, оказавшийся в стеклянной банке. Чтобы мучился и звал людей. И хватал своей трехпалой слабой рукой глину.

Я поднял глаза. Ручьи текли к нам по промоинам. Красные ручьи. Ветер играл листьями мать-и-мачехи. Красные блестящие вспыхивали там, где стены отсекали мутное небо. Мы барахтались на дне кровавой ямы, гигантской раны в теле земли. Когда же все это кончится?

Мы поволокли Семеренкова, подтягивая края брезентового плаща, на котором он лежал. Мы не могли встать на ноги и карабкались по откосу, запуская пятаки в глину. Скользили, как по льду. Глотали жижу. Ругались. Сутулый длиннорукий Глумский полз, как паучок. Сейчас я в полной мере мог ощутить физическую силу и двужилость этого маленького человека. Он полз, выпятив нижнюю челюсть, с перекошенным лицом.

Два раза мы срывались с обрыва. Старую вывозную

дорогу размыло настолько, что она почти слилась со склоном. Это длилось долго. Мы отвоевывали подъем метр за метром.

— Стойте! — проскрипел вдруг Семеренков. — Не надо... Оставьте.

Он пришел в себя. Глаза были открыты, но смотрели не на нас, а в небо. Капли дождя падали прямо в эти открытые, немигающие, не защищенные веками глаза и скатывались, как слезы. Впалые щеки гончара совсем втянулись; казалось, еще немного, и в ямках начнет скапливаться вода.

Мы замерли. Я наклонился над Семеренковым, защищая его от дождя. Он не мог не заметить меня. Но отсутствующее выражение его глаз не изменилось.

— Печет! — сказал он, стараясь поймать ртом дождевые капли.

Глумский зачерпнул в пригоршни красной воды из ручья, вылил ему на лицо. Губы ухватили струйку.

— Они... Антонину?.. — сказал Семеренков.

Он говорил с длинными паузами. Для каждого слова требовался вдох, а вдох давался с трудом. Говорить было сейчас для него работой. Самой тяжелой в его жизни работой.

— Антонина дома, — сказал я. — Климарь убит. Все хорошо!

Семеренков прикрыл глаза. Он отдыхал. Он переживал радость. Это тоже было для него работой.

— За что? — спросил я, ближе наклоняясь к гончару, чтобы разобрать ответ.

Глумский дернул меня за рукав: нашел, мол, время, не мучай человека! Но я знал, что ждать нельзя.

— За что?

Семеренков сделал мучительное усилие. Рот дергался, и вода пузырилась в его углах. Но слова никак не выталкивались наружу, не поднимались на поверхность. Гончар засипел, вновь открыл глаза.

— Девочка, — сказал он. — Дочка... Позаботьтесь... Уберегите... Прошу...

— Да! — сказал я, кусая губы.

Здесь можно было реветь сколько угодно: косою дождь бил по лицу, все слезы мира мог бы смыть этот дождь и снести в красную кровавую лужу на дне карьера.

— Да!

— Дочка, — повторил он, словно боясь, что мы не запомним как следует. — Позаботьтесь... Прошу...

— За что? — крикнул я ему в ухо. — За что?

Я не имел права жалеть его сейчас.

— Говори! Говори же!

— Деньги, — сказал он. — Деньги... Я... действительно... сжег... Чертовы деньги... Я сразу их сжег...

— Какие деньги? Говори! Говори, ну!

— Там... были... в машинах... два мешка... Немцы... бумажные... мешки... Горелый принес... Спрятать... Я сжег... потом... Чертовы деньги... Зачем?.. Они не... поверили... Я сжег... честное слово... В печи... На обжиге... Ночью... Они не поверили... По три миллиона в мешке... Зачем мне? Честное слово, я...

Семеренков сделал попытку подняться. На миг лицо его приобрело знакомое мне просительно-жалобное выражение, так не вязавшееся с этими резкими, мужественными морщинами, прямыми и упрямыми губами, хрящеватым, с горбинкой, носом и басовитым глухим голосом — голосом капитанов и полярников.

— Честное слово... Не вру!..

Он захрипел, сию секунду выкрикнуть что-то, но локти разъехались в мокрой глине, голова упала. Лицо разгладилось — ни просьбы, ни гнева, ни гримасы чисто физического усилия не было на нем. Пульс еще слабо прощупывался.

— Зачем ты? — укоризненно сказал Глумский. — Видишь как.

Когда через полчаса нам удалось вытащить Семеренкова из карьера, он уже не дышал. Покрытые красной глиной с головы до ног, мы стояли над обрывом. Дождь усилился. Целые глыбы обрывались с откоса и, проскользнув, плюхались в озеро.

Левая, увечная рука Семеренкова была откинута в сторону. Я помнил, хорошо помнил, как три длинных тонких пальца выращивали кувшин. Это было чудо, удивительное, непостижимое, как рождение живого существа.

Сейчас пальцы судорожно сжимали мокрую червину, словно сию секунду вдохнуть жизнь и в этот маленький бесформенный комочек.

— Глумский, — сказал я, — мы должны найти Горелого.

Голос мой срывался, косые струи били в лицо и скатывались на губы соленой влагой. В двухстах метрах от нас шумел мокрый лес, где скрылась шестерка бандитов. Дождь начал смывать с лежавшего перед нами гончара слой красной глины. Червинка высвобождала тело. И комок, зажатый в пальцах, расплылся, слился с красной землей, из которой был взят.

Не так давно, сидя на завалинке, — в закатном небе плыли розовые, меняющие очертания облака — я учил этого человека жить. Я кричал на него. Если бы я знал тогда, если бы знал!

— Такого гончара не сыскать, — сказал Глумский. И совсем уж невпопад добавил: — Сына я хотел на его дочери женить... — Он посмотрел на серое низкое небо, на лес. — Горелому жить нельзя, — процедил он сквозь стиснутые бульдожьи зубы.

3

Мы несли Семеренкова по глинистой дороге, скользкая и оступаясь. Мимо разбитых бронетранспортеров, вдоль склонов карьеров. Дождь сек наши лица.

Горелый. Горелый. Мы узнали теперь, почему он так упорно держался около Глухарки. Дорогой ценой, но мы узнали его тайну. Стала ясна самая важная и самая темная страничка в его биографии — история со сгоревшими бронетранспортерами.

Горелому, конечно, было известно, какой груз конвоирует он со своим отрядом, размышляя я. Быть может, у него было секретное задание от своего бандеровского начальства — постараться прибрать деньги для нужд многочисленной агентуры, которую националисты оставляли в нашем тылу. Кто знает? В ту пору, говорят, эти бандиты начали проводить «самостоятельную» политику. Поняли, что на прежних хозяев — гитлеровцев — полагаться уже нельзя. И Горелый, наверно, вел двойную игру. Абвер все еще полагался на него. Зря!

Я посмотрел назад. Две разбитые бронированные машины выделялись на фоне леса ржавыми пятнами. Да, здесь все и разыгралось. Горелый и дружки сумели спасти два мешка. Немцев из экипажа, должно быть,

добили. К чему свидетели? Мешки, конечно же, надо было срочно спрятать. Рядом находилось немало немецких подразделений: абвер проводил эвакуацию своих секретных складов и архивов. К тому же Горелый получил сильные ожоги. Силы его были на исходе. А он не настолько доверял друзьям, чтобы вручить им на хранение бумажные мешки...

Мы шли по краю карьеров, медленно приближаясь к гончарне. Сапоги месили рыжую грязь. Этой же дорогой, поздней осенью сорок третьего, шагали полицаи, поддерживая раненого начальника. Почему Семеренков оказался в тот час на заводике, непонятно. Печи стояли холодные, глухарчане прятались в хатах. Но ведь Семеренков не мог жить без гончарного круга.

Безжизненное, покрытое каплями дождя лицо гончара покачивалось сейчас передо мной на туго натянутом брезенте. Оно выставало под дождем, и в обострившихся скулах уже угадывалась твердость и холодность камня.

Что он делал в тот несчастливый час на заводике? Крутил босыми ногами спидняк, вытаскивая диковинной формы глечик?.. Или собирал червинку для Антонины, лепившей своих зверей? И Горелый, злобный, расчетливый Горелый, фашистский гад... Спокойно, остановил себя. Не рассиропливайся. Не давай воли чувствам! У тебя нет времени. Очень важно собраться с мыслями.

Наверно, Горелый даже обрадовался гончару. Ведь это был отец Нины, человек, находящийся в полной зависимости от полицаев. Старшая дочь, которую Горелый увел в лес, превращалась теперь в заложницу. «А жива ли она, Нина? — мелькнула мысль. — Если бы она была жива и оставалась вместе с Горелым, тот не осмелился бы убить гончара».

Голова Семеренкова со слипшимися, мокрыми прядями полуседых волос покачивалась на брезенте. Антонина... Как я скажу тебе об этом? Чем смогу помочь? У меня даже не будет времени, чтобы побыть рядом, разделить горе, его первый, самый острый приступ. О старшей сестре я ничего не скажу. Наверно, вскоре после того, как полицаи увели Нину в лес, она пришла в себя и попыталась убежать или убить Горелого.

16*

В любом случае бандюги не могли выпустить ее из УРа: она знала расположение их убежищ. Горелому важно было, чтобы Семеренков все-таки считал старшую дочку живой. Чтобы она оставалась вечной заложницей.

Горелый. Ловкий, хитрый полицаи Горелый. Всех хотел перехитрить... Пальцы мои намертво вцепились в края дождевика, на котором мы несли гончара. Идти было тяжело. Гимнастерка липла к телу ледяной коркой. Пулемет впивался железными гранями в спину. Но я ощущал это, только когда возвращался мыслями из прошлого.

Итак, Горелый писклявым своим голоском приказал зарыть, упрятать до поры до времени бумажные мешки. Семеренков, едва ушли полицаи, растопил печь в завялочной и... Наверно, его взял страх при виде мешков с фашистскими орлами и надписями. И он сжег их — словно открестился от нечистой силы.

А Горелый вернулся. Отсиделся в лесу, залечил ожоги и вернулся к весне. Он не поверил Семеренкову, когда тот рассказал правду. Такого бывший начальник вспомогательной полиции просто не мог понять. Лжет гончар!.. Присвоил себе шесть миллионов. Что бы ни говорил Семеренков, бандюги ему не верили. И, страшась за судьбу дочерей, он стал темнить, изворачиваться, под разными предлогами оттягивать решающую минуту. Отсюда, видать, так удивившее меня выражение робости и заискивания. Страх и ложь изменили гончара.

Сейчас лицо Семеренкова разгладилось. Оно даже стало спокойным. Каменно-твердым, как слепок. Ушли все боли и заботы. Вместе с жизнью. «Упокоился». Вот ведь как точно говорили раньше. Упокоился... Неужели люди могут обрести полное спокойствие только со смертью?

— Глумский! — сказал я.

Председатель шагал впереди, согнувшись, сосредоточенно, с карабином за плечами.

— Постой, Глумский!

Мы осторожно опустили брезентовый плащ на обочину, где густо росли баранчики и подорожник.

— Ну? — Глумский, не оборачиваясь, глянул на меня через плечо.

— Почему Горелый тянул с этой операцией до осени? — спросил я. — Почему не постарался достать чертовы мешки раньше? Как ты думаешь?

— Что я тебе, чека? — сказал председатель. — Откуда мне известно? Да и какое это имеет сейчас значение?

— Имеет! — ответил я. — Сейчас все имеет значение.

Теперь он повернулся ко мне всем телом. Вниз, на дождевик, он старался не смотреть и поэтому как-то странно кособочился.

— Чего Горелый тянул? Ведь это не его деньги были... Небось для бандитского начальства предназначались.

Глумский задумался.

— Нет... Для себя, наверно, берег, — сказал он.

— Для себя?

— Выжидал... Если б он раньше деньги взял, пришлось бы отдать начальству. А он выжидал, как дело пойдет. Может, немцы повернутся. Мало ли... А теперь дело к зиме, самое ему время с этими деньгами смыться. Рассосаться в народе. Может, домишко где купить. Без денег он кто?.. Пошли!

Мы подняли плащ. До гончарни оставалось совсем немного. Да, председатель смотрел в корень. Конечно же, Горелый понимал, что бандитам, кроме пули, ждать нечего. Вот он и приберегал «свои» миллионы. Устроился получше и ждал. Семеренковы доставляли к роднику ежедневную дань. Варвара сообщала, обо всем, что творится вокруг. Ловко устроился Горелый... Но дело шло к зиме, надо было думать об уходе. Он посылает в село Саньку Конопатого с заданием убрать нового «ястребка» и поговорить с гончаром в последний раз. Затем Климарь уводит Семеренкова в лес. Антонина — последнее средство воздействия на упрямого гончара. А дальше... бандюгам оставалось только отомстить Семеренкову, так и не выдавшему свой «секрет». Все планы бывшего начальника полиции рухнули. Рухнули?..

— Глумский, — сказал я негромко. — Подожди, Глумский! Кажется, есть для Горелого приманка. Слушай!

Гончарня была уже рядом. К нам бежали люди...

Вернувшись в село, мы уже знали, что надо делать. Медлить было нельзя. И я оставил Антонину оплакивать отца, вручив ее заботам бабки Серафимы. Мы с Попеленко и Глумским отправились к Варваре.

Гната мы перехватили, когда он вышел из калитки ее дома. Гнат напевал песенку о «московских сла-адких грушах» и бессмысленно улыбался. Косой беспощадный дождь перешел в заунывную морось, шапчонка Гната сбилась набекрень, и дождь бисером украсил грязную шевелюру дурачка.

— Пойдем, Гнат, — сказал я и взял его за локоть.

Продолжая напевать, он послушно зашагал обратно к Варваре. Стрельба, пожар на гончарне, гибель Семеренкова и Кривендихи — все прошло мимо сознания Гната. Он был самый счастливый человек в Глухарке. Он вообще ничего не знал о второй мировой войне. Его кормили медные ободки со снарядов в УРе, он был доволен.

Мы без стука вошли в дом, оставляя мокрые следы на крашеном дощатом полу. Варвара тревожно смотрела на нас. Ее выпуклые глаза перебежали с одного лица на другое. Она тоже недавно вернулась с заводика, но уже успела переодеться. На ней была «трофейного» цвета юбка и суконный жакет.

Мы стояли среди розовых «девичьих слезок», хорошо промытых фикусов с мясистыми листьями, среди чисто побеленных стен, рушников, среди вышивок, фотокарточек в рамках. Со стены смотрел розовощекий товарищ Деревянко, бывший хозяин дома. Почему-то мне казалось, что товарищ Деревянко увековечен здесь как первая жертва Варвары.

— Здравствуйте, здравствуйте, гости, — сказала Варвара слащаво. — Может, за самогонкой на поминки?

Ее взгляд остановился на мне. Глаза у нее были властные и нежные, даже чуть сентиментальные — патока и свинец. Но она уже не могла завернуть меня в кокон или бросить, как точанку, на гончарный круг. Много крови запеклось внутри за эти дни!

Гнат уселся на корточки под вешалкой, подпирая широкой спиной стену, и смотрел на Варвару по-собачьи преданными глазами.

— Попеленко, сними с него ватник и осмотри в дру-

гой комнате, — сказал я. — А вы, Варвара Деревянко, садитесь.

— Вот как! — удивилась она. Глаза ее округлились и подняли темные полудужья бровей. — А помните, вы по-другому заходили сюда, Иван Николаевич! Совсем по-другому.

Варвара посмотрела на Глумского: для него было сказано. Она нападала, но я видел, что это от стремления преодолеть растерянность, испуг.

— Да, я заходил по-другому, — сказал я. — Ни от кого не скрываю. Садитесь.

— Нашла чем хвастаться! — отозвался Попеленко, неся на оттопыренном пальце засаленный ватник. — Много перебивало, так хвастаешься!

И он скрылся в спальне, за занавесочкой из ситчика в горошинку.

— Так я ж не от хорошей жизни, — сказала Варвара певуче.

Я вспомнил ее речитатив, который действовал на меня, как горячий нож на масло. Красивая она, Варвара, ничего не скажешь.

Она смотрела на ситчик в горошинку. Вдруг как будто опомнилась.

— А чего это вы тут хозяйничаете? Ходите, следите! Что ж это такое, а?

Гнат, услышав крик, испуганно поднял голову, перестал улыбаться. Как это у нее получалось, у Варвары: глаза загорелись, щеки запылали — сама оскорбленная невинность.

— Сядьте, — сказал я. — Успокойтесь.

— Вот еще! — рассердилась она. — Командует в моей хате!

Глумский все молчал. Стоял, прислонившись к стене, держал карабин прямо перед собой. Варвары для него как будто не существовало — думал о своем.

— Есть! — Попеленко вышел из спальни, держа что-то в кулаке. Я недаром верил в его сообразительность и сметку. — Там такой вроде кармашек; я думаю — чего это два шва? А там оно сховано...

Попеленко раскрыл плотную квадратную ладонь. На ней лежала непромокаемая прорезиненная обертка от индивидуального перевязочного пакета, свернутая вдвое. Я раскрыл обертку, достал маленький блокнот-

ный листочек. И едва успел убрать ладонь — Варвара сделала неожиданный прыжок. Ее ногти оцарапали мою руку. Попеленко оттащил Варвару на место и встал между нами.

— Ай-ай-ай! — сказал он. — До чего баба себя распускает.

— Везучий ты, Капелюх, — сказала Варвара. — Два раза смерть заходила, а ты живой! Недаром я тебя сразу отметила. Есть в тебе, за что бабы любят, — везучесть и башковитость... Я тебя тогда просила — живи здесь! Если б ты здесь остался, думаешь, я бы этим занималась?

Я смотрел на нее — лицо такое невинное и искреннее, голос звучит проникновенно. Ну кто ее разберет, эту бабью душу? Может, она не ведает, что творит? Как ребенок, проходит мимо смерти, не понимая ее смысла, не задумываясь, даже если сама виновна?

В записке цепочка слов:

«Климарь убитый. Капелюх ночует у Антонины. Семеренкова привезли мертвого. Завод порушен. Люди обижаются. Ястребки все прежние. Никакого прибытия сил с Ожина не слышать. Глумскому дали винтовку. Прошу не трогай матросика Кривенду. Скоро пойдет с отпуска. И так мать хоронит. Когда наконец выполнишь обещанное? Напиши. Жду. Подруга твоя Ясонька».

Такой был телеграфный текст.

4

Я внимательно рассмотрел записку: простой блокнотный листок, в клеточку, слова вписаны ровно, по правому верхнему углу надорван.

Гнат, увидев, что Варвара притихла, успокоился в своем углу. Он принялся напевать что-то, ожидая, когда мы наконец вернем ему ватник и отпустим в лес.

Я дал почитать записку Глумскому, затем Попеленко. «Ястребок» читал долго, по складам, шевелил толстыми губами, морщил лоб.

— Складно, — сказал он и удивленно покачал головой, повторил про себя имя «Ясонька».

Хорошие имена дают возлюбленным на Украине, ничего не скажешь.

— Вы писали? — спросил я у Варвары.

— Чего отпираться? — ответила она и не отвела глаз. — Чего зря брехать?

— Так...

Надо было бы составить протокол, акт, что ли, но я не знал, как писать официальные бумаги. Да и времени не хватало.

— Про Абросимова тоже вы написали?

— Какого Абросимова?

— Про которого Попеленко тогда рассказывал. Комсомолец! Из района ехал.

— А... Я писала. Так я ж не думала, что выйдет... С этим... как вы его называете?

Вот ведь и фамилию жертвы уже забыла.

— Где блокнот?

— Какой блокнот?

— Откуда странички вырываете.

— А-а... Что это вы удумали? Вот еще!

Кокетливым взглядом она обвела всех нас троих. Голос ее звучал нежно, почти воркующе. Неужели она действительно не понимала, что натворила?

— Ты скажи, где блокнот, Варвара, поскорее, — вмешался Попеленко. — А то сейчас начну рыться, так весь порядок тебе нарушу, ты ж знаешь, я незграбный*.

Он был психолог, Попеленко. Варвара посмотрела на его короткопалые корявые руки в дыпках и ссадинах, с неотмытыми следами сажи. Страшно было подумать, во что может превратиться чистенькая хата, если Попеленко начнет в ней хозяйничать.

— Возьми под перину, — сказала Варвара. — Только не ройся — в ногах он.

Попеленко исчез в спальне и тут же вернулся с блокнотом. Это был довоенный блокнотик, огромная ценность по военным временам. На обложке его — парашютист. Десятка два листочков оказались вырваны, от них остались лишь корешки.

Попеленко принес огрызок карандаша, он уже рассмотрел его под кружевной накидочкой на этажерке. Я проверил карандаш, почиркав им в блокноте. Да, этим огрызком были написаны аккуратные строчки. Вырвал еще один листок из блокнота.

* Незграбный — неуклюжий (укр.).

— Садитесь и пишите.

Варвара отвернулась.

— Вот еще! Никакой брехни я писать не буду. Мне самой попадет. Горелый брехни не прощает.

— Садитесь и пишите!

— Нет.

Горелый оставался для нее самой сильной и значительной фигурой в округе. Может, так оно и было.

— Пишите.

— Не-е, — спокойно отвечала она. — Я из-за этого жизни могу лишиться.

Сидела она, аккуратно собрав сапоги, суконная юбка открывала круглые полные колени, грудь высоко поднимала цепочку пуговиц на куртке. Красивая она была, Варвара. Я посмотрел на Глумского и Попеленко. «Ястребок» сделал едва уловимое движение прикладом: мол, если разок дать по спине, что получится? Я погрозил ему кулаком.

Гнат напевал в своем углу: «Вот он ходит к ней, вот он ходит к ней, все у клуню, там, где сено...»

Глумский вдруг зашевелился, закричал.

— Значит, так, — сказал он. — Если ты не напишешь, я тебя пристрелю, как бешеную собаку, и точка.

Варвара резко обернулась к нему. У Глумского были глаза-щелочки, челюсть выпятилась вперед и отвисла, обнажая зубы, он и вовсе ссутулился от своих нелегких дум, стал как горбун.

Известно, Глумский слов на ветер не бросает, а то, о чем сказал, сделает, даже если себе во вред. Это была не пустая угроза. Слишком многое стояло в глазах-щелочках. Он сегодня насмотрелся на разрушенный заводик, на Семеренкова, Кривендику. Он на многое насмотрелся с того дня, как немцы прошили автоматными очередями его сына.

— То есть как пристрелите? — Варвара растерянно взглянула на меня. С глаз ее исчезла поволока, матовый сливовый налет. И пуговицы на куртке заходили ходуном. — Это нельзя. По закону не имеет он никакого права... Скажите ему, Иван Николаевич!

Глумский смотрел мимо нас. Одна рука с красной широкой ладонью свисала почти до полу, вторая придерживала карабин.

— По закону, конечно, не положено, — разъяснил я. — Но уследить не смогу, предупреждаю!

И это было чистой правдой. Не мог я бороться с Горелым и одновременно охранять Варвару.

— Вы же председатель, — попробовала Варвара урезонить Глумского. — Вы же отвечать будете!

— Когда спросят — отвечу, — сказал Глумский. — А пристрелю тебя сегодня же.

Варвара окинула взглядом его руки, сутулые плечи, ремень карабина. Посмотреть в лицо она не решилась. Ничего приятного для нее не было в этом лице.

— Давайте карандаш, — сказала Варвара.

— Пиши аккуратно, ровно, — предупредил я. — Все точно так, как и раньше.

Она снова взглянула на Глумского.

— Хорошо, — согласилась она.

Я принялся диктовать, а она старательно, закусив губу, выводила ровные строчки:

«Климарь убитый. Капелюх ночует у Антонины. Семеренкова привезли раненого. Потом скончался. Ястребкам указал место, где захоронил деньги. Выкопали два бумажных мешка. Все село видело. Говорят пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Потом повезут в район. Никакого прибытия с Ожина не слышно. Деньги под охраной ястребков. Когда повезут напишу завтра. Твоя подруга Ясонька».

Наш план был принят окончательно, когда мы с Глумским стояли у мазанки Семеренковых и похоронные причитания доносились сразу с двух сторон. Я видел Антонину. Она застыла над телом отца. Не плакала даже. Бледная, прямая; у краев большого, в ровную ниточку растянувшегося рта застыли две незнакомые мне морщинки, две вертикальные строчки.

Она теперь осталась полной сиротой, Антонина. И старшая сестра, я знал, уже не вернется в дом.

Глумский, уткнув мощный подбородок в воротник суконной куртки, все двигал челюстью. Мы молчали. Каждый понимал, что, если сейчас Горелого оставить в покое, он, возможно, навсегда покинет эти места. Стихнут наконец выстрелы, перестанет литься кровь.

Но Глумский сказал:

— Надо добывать Горелого. Не будет нам покоя на земле.

Мы отправились к Варваре, прихватив с собой Попеленко. Было ясно, что бандюги, получив от Варвары записку, постараются захватить деньги. В село, где организована оборона, они теперь не пойдут — будут ждать «транспорт» на дороге, в засаде. Но вместе с нами незаметно, лесом, будет следовать группа бойцов. Для этого мне предстояло отправиться за помощью в райцентр. Я не сомневался, что Гупан, узнав обо всем, выделит хотя бы пяток автоматчиков.

Мы бросали Горелому крючок с наживкой. Однако бывший полицейский вовсе не был глупой рыбкой. Чтобы пойти на решительные действия, он должен был окончательно убедиться, что мы нашли деньги. Нас мог выручить только один человек — Сагайдачный.

Я внимательно прочитал записку Варвары. «Говорят пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Потом повезут в район...» Почерк ничем не отличался от первой записки. Я надорвал у листка правый верхний угол.

— Прочитай, — сказал я. — Все правильно? Поверят?

Она прочитала. Сказала, косясь на Глумского:

— Все правильно! А поверят — не поверят, не знаю. Сами соображайте.

Она была растерянна. Понимала, что, несмотря на перевес Горелого в силе, мы не страшимся, а вызываем его. Хоть Варваре и была непонятна затеянная нами игра, интуиция подсказала ей, что с нами надо считаться, как с реальной и стойкой властью. Вот почему, поразмыслив, она заискивающе сказала Глумскому:

— А может, этой запиской я вам большую помощь окажу? Зачтется мне, а? Вы ж на меня зла не держите, а?

5

Попеленко вынес Гнату ватник. Записка, аккуратно завернутая в прорезиненную оболочку, лежала в потайном клапане.

Гнат надел ватник, получил дружеский толчок в

спину и, набросив тугой мешок на плечо, отправился из хаты. На прощанье он оглянулся на Варвару, улыбнулся и запел очередную из своих бессмысленных песенок. Он заспешил в УР. Там ждут его «друзья-приятели». Они накормят его в жарко натопленной землянке и, по-дружески толкнув в спину, выпроводят назад, в Глухарку. На спине у дурачка будет тяжелый мешок с лесными трофеями. Вот такого Гната — «воны свадебку сыграли, и было там чего пить!» — я встретил однажды на старом Мишкольском шляхе.

Я и не мог предполагать тогда, как круто завернут события.

— Оставьте меня с ней! — попросил я Глумского и Попеленко.

— Ладно, — недовольно буркнул председатель, а Попеленко подмигнул мне. Мол, знаем ваших.

Варвара тут же кокетливо оправила юбку на коленях. Так оправила, что юбка почему-то задралась выше, и колени, чуть прикрытые мышиного цвета сукном, оказались вовсе на виду. Круглые, белые, как антоновка, колени. Лицо ее вспыхнуло надеждой. Может, я не забыл старое, может, прошу.

А мне надо было кое о чем спросить Варвару. Теперь, когда я не чувствовал зависимости от нее, я надеялся, что смогу узнать правду, правду у Варвары, у которой искренность лжива и ложь искренна.

Для дела эта правда не была нужна. Но я чувствовал, что уйду отсюда с каким-то незаполненным пробелом в мозгу, если не дознаюсь.

— Слушай, Варвара, — спросил я, когда захлопнулась дверь. Она вся так и подалась ко мне. — Из-за чего ты это делала? Ты его любишь?

— Кого?

— Горелого, кого же еще? Ты же для него старалась!

Если бы она любила его, все стало бы понятно. Ну, любовь, слепая страсть, куда тут денешься! Вот Мария полюбила гнусного старца Мазепу... Зачем мне все-таки нужно было это знать? Наверно, хотелось, чтобы все в жизни стало ясно и обоснованно.

— Да как вам сказать, Иван Николаевич...

Черные ресницы невинно хлопнули, прикрыв на миг сине-фиолетовые выпуклые глаза.

— Он, конечно, ничего мужчины, Горелый... Да ведь дело не в том, Иван Николаевич!.. Он обещал меня с собой забрать, обещал жизнь. Приличную! Каково-то бабе моего века будет после войны? Где они, мужики? Ну, хата справная, хозяйство. А без мужика жизнь будет пустая. Сегодня Валерик, а завтра кто? Детей как заводить?

По-моему, она не врала. Она исповедовала солидные, положительные принципы жизни. «Понимала себя».

— А он сказал — женится, деньги будут, без денег он не Горелый. Значит, моя жизнь ясная была бы. Уехали бы куда-нибудь, где нас никто не знает. Каждый должен перебеситься... а дальше хорошо бы пошло!

— И Горелый перебесится?

— А чего ж? Может, спокойно заживет. На работу заступит...

Кажется, я начинал понимать. Она не считала себя распутной девкой, Варвара, она стремилась к своей «ясности» и «обоснованности». Она пойдет к тому, кто ей эту «ясность» обеспечит. Горелый — это ее мужчина, человек в штанах, который согласен быть при ней, бабе, рядом. И то, что он бандит, не имеет никакого значения. Для Варвары важно только одно — в каком отношении находятся люди с ней самой. Остальное ее не касается.

— Ты предлагала мне остаться с тобой. Всерьез?

Она взмахнула руками, ладошки соприкоснулись с треском у подбородка, и разведенные локти образовали эффектную рамочку для ее полной высокой груди. До чего приятная, уютная женщина. Я вспомнил — ладошки у нее горячие, как хитпакет.

— Ой, боже ж мой, Иван Николаевич! С чего ж бы это я брехала? Я б Горелому тому и ни одной записочки не послала бы, провались он пропадом!.. Хай ему грець! Вы мне всегда были симпатичные, и сейчас, вот как на духу! Если б вы пообещались мне, ей-богу, бросила б того Горелого!

Да, она действительно отвечала как на духу. Иконы в доме не было, но розовощекий товарищ Деревянок, погибший при налете в бане в возрасте шестидесяти пяти лет, первый ее мужчина, смотрел на нас исповедую-

щими очами. Она совсем не считала себя сообщницей бандитов, Варвара! Отправляя записочки, она просто делала то, о чем просил ее мужчина. Если бы я «пообещался», она, очевидно, так же настойчиво и серьезно выполняла бы мои просьбы.

Понимала ли она, что из-за ее записочек гибли люди?

— Слушай, Варвара, — сказал я. — А как было бы с Ниной Семеренковой, если бы Горелый взял тебя с собой? Куда бы вы ее подевали?

Она пожала плечами.

— Жалко, конечно, девку, — сказала она. — Да ведь это ее дело. Война идет, столько всякого, не могу ж я об других жалиться.

Наверно, она очень любила бы своего мужа и своих детей, подумал я. Вот только чужих детей она бы не любила. Но об этом в иное, не военное время никто не знал бы. Ее еще ставили бы в пример старушки-моралистки. В хате или там в квартире у нее был бы идеальный порядок, буфет с посудой и все прочее, все сияло бы, все горело.

Я вышел вместе с Варварой во двор, сказал Попеленко:

— Запри ее в сарай. Никуда не выпускай. Проследи, пусть возьмет еды и теплой одежды. Все.

— А вот если бы при фашистских полициях нашли бабу, которая нашим помогала, — усмехнулся Попеленко, — дали б они ей теплые вещи!

По-прежнему сыпал мелкий, морозящий дождь. Мы с Глумским прошли за калитку.

Причитания во дворах Кривенды и Семеренкова уже стихли, только изредка раздавались возгласы, похожие на всплески.

— Ну как, полегчало? — спросил председатель. — После разговора-то с Варварой по душам?

— Нет, — сказал я. — Мерзко. Мерзко оттого, что все оказалось проще, чем думал.

Он хмуро кивнул.

— Надо организовать телегу, перевезти наши «мешки с деньгами» с заводика, — сказал я Глумскому. — И пустить слух. Для правдоподобия.

— Само собой, — сказал Глумский. — Не понимаю, что ли?

Гнат уже подошел к лесу, подумал я. Не было бы у нас какого промаху! Глумский насупленно и мрачно разглядывал меня. Снизу вверх, исподлобья. Над чем-то он размышлял своим глубинным, далеким.

— Лучше положить «мешки» на Барском пепелище, в кузне, — сказал я. — Она стоит особняком и на высотке, там легче организовать круговую оборону. На всякий случай... хотя они вряд ли сунутся.

— Сделаем, — сказал Глумский.

Он продолжал буравить меня своими прищуренными глазками.

— Думаешь, к Сагайдачному они тебя пропустят? — спросил он.

— Думаю... Вот и проверим, клюнули они на записку или нет.

Горелому был полный резон дать Сагайдачному съездить в Глухарку для «пересчета денег» и, расспросив его, окончательно убедиться, что сообщение Варвары верно. Бывший полицей не пошел бы на риск без контрольной проверки. Значит, бандюги должны были пропустить нашего посыльного, то есть меня, к Сагайдачному. Все это вытекало из правил игры, но правила-то были задуманы нами, а не Горелым. И Глумский сказал:

— Так-так...

Шел мелкий дождь. Все вокруг звенело от мороси, листья падали на мокрую землю. Поникли золотые шары в палисадниках, густо посыпалась листва в садах, пусто и неуютно стало за хатами, на огородах, и остро чувствовалось, что, кроме этих побеленных, накрытых соломой глиняных коробочек, хранящих тепло и уют, на многие версты вокруг все дико, безлюдно, холодно. Снова кто-то запричитал у Семеренковых. Я узнал голос Серафимы.

— Так-так, — повторил Глумский. — А может, я съезжу в Грушевый?

— Нет. Говорить с Сагайдачным должен я.

Глумский кивнул соглашаясь. Он знал, что я дружу со стариком. И задачка передо мной стояла нелегкая.

— А потом тебе ехать в Ожин! — Глумский вздохнул и без всякой, казалось бы, связи с предыдущим спро-

сил: — Слушай, как теперь Антонина будет, а? Одна? Пусть живет у меня... Нас со старухой только двое, дом не последний в деревне, ей будет хорошо. Негоже человеку быть единому — в старину правильно говорили. Она теперь сирота. Нет доли горше: «Чи ити в люди жити, чи дома журытысь...» *

Для председателя это была странная речь. Длинная и поэтически взволнованная. Я с удивлением посмотрел на него. Нахохлившись, убрав голову в плечи, Глумский мудрым старым дятлом стоял передо мной.

— А почему не у меня ей жить? — спросил я. — Есть кое-какие основания.

— Ты человек молодой, вольный. Мало ли что...

— Опять двадцать пять! — сказал я.

Кажется, можно было бы закончить обсуждение этой темы, но председатель, упорно и твердо следуя за какой-то, пока что неясной мне мыслью, светившейся в его прищуренных глазках, спросил, что называется, в лоб:

— А если ребенок?

В этом была четкая и здоровая крестьянская логика. Ночевал — значит, задумайся, что может последовать.

— Если ребенок, будем воспитывать, — сказал я и напыжился, ощущая себя настоящим мужчиной. — Все ясно?

— Серафима — старая бабка, и хата ваша бедная, — сказал Глумский. — Сам подумай.

И тут я догадался. Я даже всплеснул руками и присел.

— Слушай, Глумский, ты что же, хоронить меня собрался, а?

Мне теперь ясен стал этот дальний прицел и упрямая мысль, что крепко уселась в его прищипленной прямо к плечам, без пособничества шеи, голове. Красивое кино смотрел сейчас наш председатель — как мой хладный труп закладывают в Гаврилов холм, а Антонина входит невесткой-вдовой в дом Глумского и они со своей старухой нянчат внука...

— Председатель, ты всегда так далеко вперед смотришь?

— Нечего зубы скалить, — сказал Глумский.

* Строка из стихотворения Т. Г. Шевченко.

Хотел я ему сказать кое-что в духе Серафимы, но удержался. Вспомнил мальчишку, бросившего в немецких автоматчиков гранату с невыдернутой чекой. Других детей у Глумского не было. Он был разом за трех сыновей, рослый Тарас.

— Ладно, — сказал я. — Извиняюсь.

— Ты не об одном себе думай, ты вдаль гляди, — буркнул председатель. — У тебя много неприятных шансов. В Ожин после Сагайдачного ведь тебе ехать?

— Мне. Гупана уговорить не так просто.

— Вот-вот. Думаешь, они не перекроют дорогу? Дурачки?

Он трезво рассуждал, Глумский, трудно было возражать. Я бы выехал в Ожин немедленно, пока записка, которая лежала в ватнике Гната, не попала по адресу. Но как требовать от Гупана людей, не переговорив предварительно с Сагайдачным? Мне в этом раскладе выпадали две дальние дороги.

— Постараюсь выжить, — сказал я Глумскому.

— Так-то оно так... А думать о других надо. Ты не один на земле.

Он еще более насупился. Куртка его промокла насквозь. Капли влипали в нее, как в промокашку. После наших ползаний по карьеру сукно приобрело розоватый оттенок.

— Ты подумай, — сказал он.

Наверно, он не был бы председателем, если бы не умел заглядывать далеко. Но я не хотел думать о смерти. Тот, кого одолевали мрачные предчувствия, дрался с оглядкой. А если начинаешь беречь себя в бою, наверняка схлопочешь пулю. Все это были фронтовые истины, привезенные мною в Глухарку в готовом виде, проверенные опытом тысяч людей.

— Я подумаю, — пообещал я. — Но помирать не буду.

— Дай бог.

...Вот уж никогда не думал о детях. Не находил в себе отцовских чувств. Ну что приятного в пеленках и воплях? Лысые они почему-то, младенцы, глаза бессмысленные, брови поросячки, и вечно они то слюну пускают, то мочатся с идиотски серьезным видом, вылупив очи. И почему этим добром так восхищаются женщины? Но если бы у нас с Антониной... Честное слово,

эта мысль была мне приятна. Наверно, о детях начинаешь думать только, когда полюбишь их будущую мать: еще одно открытие, сделанное мной за последние дни в Глухарке. Сколько открытий! Жить стоило, факт.

Уходя, я чувствовал на своей спине настойчивый взгляд председателя. По-моему, он все еще примерял к будущему мысль о внуке. То есть о моем сыне, который мог остаться сиротой.

6

За годы войны в Глухарке научились быстро, не по-деревенски, а по-военному, по-фронтовому хоронить убитых. Без ночнин и долгих обрядов. То бомбежка, то полиция с обыском, то продовольственные реквизиции в пользу доблестных германских войск... Теперь вот, когда все должно успокоиться, бандеры под боком. Кто знает, когда снова нагрянут, чего доброго, и не успеешь с похоронами.

К полудню на Гавриловом холме были вырыты две могилки, и Лебедка потащила по усаженной плакучими вербами дороге телегу с наспех сколоченными из грубых досок-самопилок гробами. Следом потянулись под дождем глухарчане — кто рогожкой накрылся, кто немецким шелестящим маскхалатом, а кто в чем пришлось: в шинели или ватнике, всепогодной одежке. Я держался сзади. Не хотелось мешать процессии со своим пулеметом. Рядом с Антониной, взяв ее за руку, шла Серафима.

Маляс, оглядываясь на меня, шептал своей супруге:

— Слыхала? На гончарне два мешка денег откопали... Вот чего «зеленые» ковырялись! Ковырялись, да не нашли. А Глумский откопал!

Малясика ахала, разводила короткими ручками, толкала Маляса в бок и тоже оглядывалась, как бы требуя у меня подтверждения. Изредка мелькала в веренице намокших людей курточка Варвары. Мы решили отпустить ее на похороны, чтобы ни у кого не возникало ненужных вопросов. Неподалеку от Варвары шел Попеленко с автоматом. Валерик, держа в руке бескозырку, шагал за телегой. Иногда он отыскивал взглядом Варвару. Может быть, сочувствия искал?

До кладбища Кривендиху и Семеренкова везли на

одной телеге, рядышком; смерть как будто породнила их — оба и рабогали на одном заводе, и погибли в одно время от бандитской руки, казалось, и похоронят их вместе, но на Гавриловом холме пути их разошлись: здесь, среди крестов, обелисков и ничем не обозначенных холмиков, у глухарчан были потомственные земельные владения с незыблемыми границами, подобно приусадебным участкам. Гончар отправился к своей рано умершей Семеренчихе на западный склон холма, а Кривендиху отнесли на восточный склон.

Сойки и вороны, надсадно крича, сновали между ивами и березами. Узкая, с экономией сил вырытая могилка Семеренкова напоминала окоп для круговой обороны с бруствером на обе стороны. На Гавриловом холме земля была желто-песчаная, рассыпчатая. Хоть гончары имели дело всю жизнь с глиной, но хоронили их как положено, в сухом песке.

— Не в свой час помер, — вздохнул рядом один из семидесятилетних близнюков Голенух.

А когда в свой час?.. Война приучила нас, солдат, к мысли, что естественно умирать в молодости. Когда на фронте убивало пожилого, такого, как Семеренков, мы тоже удивлялись, жалели: чего он попал сюда, батя, ему бы жить да жить!

Я видел черный, козырьком нависавший надо лбом платок Антонины. Она стояла прямо, и рядом с ней Серафима казалась особенно старенькой и согнутой. Я не подходил сейчас к Антонине. Наверно, ей хотелось остаться наедине с собой, а точнее, с отцом. Они прожили вместе жизнь, все восемнадцать лет — а это уже жизнь, — и сейчас никто не должен был мешать ей.

Что я знал об их отношениях? Совсем немного. Лишь малая доля любви открылась мне, когда я услышал однажды, как гончар сказал: «Антоша», и когда я почувствовал, сколько горя и радости стояло за этим именем. И еще я видел, как Семеренков, вращая круг с тонким и легким глечиком, оборачивался к дочери, ища совета или поддержки.

Я мог лишь догадываться о том, что это значит — настоящая отцовская, дочерняя или сыновняя любовь, мог лишь прислушиваться сквозь глухоту своего детства к невнятным чужим голосам. Серафима чудесная бабка, но так не бывает, чтобы бабка заменила отца и

мать. Нет, мне лучше было не подходить сейчас к Антонине.

Маляс и чернолицый хмурый Крот уложили на окоп поперек две суковатые палки, на палки поставили гроб, подвели веревки. Бабка Серафима разразилась ритуальными украинскими и белорусскими причитаниями: «На кого ж ты сиротинушку», да «Вечный работник», да «Кто же, детухны*, дом обогреет»... Много неругательных слов нашлось у Серафимы в эту минуту. И все вокруг разрыдались, запричитали, Маляс заплакал навзрыд.

Я стоял, опершись о ствол МГ. После всего, что пришлось пережить в карьере, кладбищенская церемония не могла по-настоящему тронуть меня. Слезы отпустились сухим пайком.

Антонина замерла: ни возгласа, ни движения.

— Стойте! — закричал вдруг Глумский. — Стойте! Дайте сказать!

Он опоздал к церемонии похорон и теперь поднимался, намокший и взъерошенный, на вершину холма. Все приумолкли. Глумский, который говорит речь, причем по собственному почину, — это было в диковинку. Он даже на собрании, где его выбрали председателем, не произнес и десяти слов.

— Товарищи! — сказал Глумский, сдернув с головы мокрый картуз и скомкав его своей красной пятерней, как тряпку.

Звездочка с соседнего обелиска возвышалась над Глумским — а это был невысокий обелиск.

— Товарищи! Сегодня мы хороним еще двух наших односельчан. Еще двух, товарищи. Вы помните, до войны кладбище у нас было совсем невеликое, сидело на «Гавриле» как шапка и к долу не ползло. А теперь? Сами видите!

Старушки всхлипнули, сдавленно вздохнула толпа.

Я только теперь разглядел, что за обелиск был рядом с председателем. «Тарас Глумский» — темнела надпись на некрашеной фанерке. И цифры: «1926—1941». Больше никаких слов: ни «геройски погиб», ни «в борьбе с фашистскими захватчиками». Глумские не любили слов, они предпочитали держать их в себе.

* Детухны — деточки (белорус., местн.).

Но сейчас председателя прорвало!

— Вот мы стоим с вами здесь — беспартийные большевики... — он коротко, резко взглянул в мою сторону, добавил: — И комсомольцы! Партийные, лучшие наши мужики на фронте. Кто poleg в чужих краях, а кто сражается, сами вы это знаете лучше меня — ваша же родня.

Единодушный сдвоенный вздох был ему в ответ.

— И хороним мы еще двух наших односельчан, которые, получается, погибли от рук фашистов. Ну да, фашисты вроде ушли, а некоторые недобитки остались. Но мы им, товарищи, не дадим жить вольготно, пусть у нас силенок маловато, но ихней бандитской, бандеровской власти не бывать! И они это тоже, убивцы, знают, хоронятся по лесам да кусают. И еще толкуют, что они «щирые украинцы». А мы с вами кто же? Я вот сегодня последние слова товарища Семеренкова, лучшего нашего гончара, слушал, присутствовал при его кончине. Это хорошая была душа — тихая, но хорошая. И нестерпимо больно стало, товарищи. Думаю: хватит. Хватит, чтоб фашисты убивали хороших людей! Я вот говорю — которые здесь у нас есть мужики, способные стрелять: Малайс, Крот, Валерик Кривенда, — берите оружие, мы его вам дадим, сами знаете, этого добра хватает. И фашистов добьем! Пока нашим друзьям-родственникам трудно приходится на фронтах, мы здесь их поддержим.

Я вдруг подумал: а ведь это Абросимов говорит. Постаревший, сгорбившийся от возраста и тяжелого труда Абросимов, пылкий, наивный составитель зажигательных планов. Или, может, говорил пятнадцатилетний Тарас Глумский?

— Мы им, товарищи, покажем, чем крепка Советская власть! — сказал председатель и поднял в воздух кулак, как гигантская свекла прикрепленный к длинной костлявой руке. — Я сам, видите, оружие взял при своих годах и «белом билете». И ничего, воюю. А сейчас, товарищи, салют нашим односельчанам, погибшим от рук фашистов!

Он снял с плеча карабин, и Попеленко с готовностью поднял свой автомат высоко над головой, и я отвел затвор, и загремело на Гавриловом холме. Вороны поднялись галдящей стаей и понеслись прочь.



Маляс и Крот принялись, отбросив палки, опускать мокрый гроб. Антонина стояла, не шелохнувшись, даже не вздрогнула при выстрелах.

Рядом со мной истошно завопил разбуженный ребенок. Это Параска Ермаченкова притащилась сюда со своим первенцем Иваном, отца не знающим, которого недавно спасла от удушения моя Серафима. Параска, неумеца, принялась раскачивать ребенка из стороны в сторону, как будто хотела забросить на вербу.

Физиономия Ивана величиной с ладошку, нос пугавкой, мелькнула передо мной. Обычная порослячья младенческая физиономия. Но я взглянул на нее повнимательнее. Нет, ничего был парень. Громче всех он орал.

Я обернулся к Антонине. И она почувствовала мой взгляд, подняла глаза. Посмотрела внимательно, как будто не узнавая вначале, но вот словно что-то сдвинулось в зрачках, упала шторка, и, хотя выражение лица не изменилось, она смотрела, как смотрят на своего, близкого. Я вспомнил опасения Глумского и с яростью, с болью подумал: выживу! Ни в чем не отступлю перед врагом, но выживу. Не оставлю ее. Я хочу нянчить наших детей. Ни от чего не хочу отказываться, что положено человеку в жизни.

— Решил всех вооружить? — спросил я, нагнувшись к Глумскому. — Думаешь, Маляс нас усилит?

Глухарчане, возвращаясь с кладбища, растянулись длинной цепочкой. Сейчас эта цепочка приближалась к озимому клину, ярко зеленовшему под дождем. Тропа, которая вела к роднику, четко пересекала озимь.

Председатель ответил не сразу. Сначала посмотрел по сторонам. Сказал тихо:

— Есть соображение. Нам ведь надо подловить Горелого в любом случае.

— В каком это «любом»?

— Даже если ты не приведешь из Ожина помощь.

— Председатель! — не выдержал я. — Перестань подписывать похоронки! Может, тебе эта идея нравится, а мне нет.

— И мне не нравится, — сказал Глумский спокойно. — Просто я привык за колхоз думать, ты не поймешь. А чтобы ты доскакал куда надо, я Справного дам.

— Справного?

Если бы Глумский пообещал вручить мне заправленный бронетранспортер, я бы удивился не больше. Справный!.. Глумский на него надышаться не мог. Покупал овес по бешеной цене и платил, распродал на базаре своих кур или масло: колхозная касса частенько пустовала.

Справный! Королевский жеребец с горностаевой полосой вдоль хвоста. Гордость и слава Глухарки!

Я с изумлением посмотрел на председателя. Смятый картуз сидел на нем залихватски, набекрень.

— Слушай, «ястребков» много, а Справный на всю округу один, — сказал я. — Ты не оговорился?

— Я не такой старый — заговариваться, — буркнул Глумский. — Справный тебя вынесет. Через любую беду перескочит. Бери!

7

Поминки справляли у Кривендики, но не во дворе, где еще стояли столы и лавки, напоминавшие о недавней гулянке, а в хате, которая без хозяйки казалась пустой и огромной. Поминали недолго. Да и с чего было засиживаться? Кусок никому не шел в горло.

У калитки ко мне подошел Валерик, тронул за плечо. Глаза его были заплаканы. За плечо он забросил немецкий автомат, не новый, конечно, но тщательно очищенный от ржавчины, смазанный автомат — подарок Глумского. Глухарка при желании могла бы вооружить целую роту.

— Это правда? — спросил Валерик шепотом.

— Что правда?

— Что мне Глумский сказал.

Мы стояли неподалеку от поленницы, той самой... Когда это было? Неужели только вчера? По поленьям, по бересте, по сучкам стекали светлые капли. Лицо Валерика хранило следы вчерашнего происшествия. Бескозырка прикрывала опухшее ухо. Но это был мой союзник и друг.

— Глумский если говорит, то говорит правду, — сказал я. — А ты о чем все-таки?

— Про Варвару, — прошептал он, оглянувшись.

Я смотрел, как уходит к дому Антонина. Одна. Она шла прямо, как всегда, словно держа на плече

воображаемое коромысло. Я знал — на людях она ничем не выдаст своих переживаний. Но что будет с ней, когда она войдет в свою пустую хату?

— Пристрелить ее мало, Варвару! — выдохнул Валерик.

— Там уже есть один, который пристрелит, — сказал я безжалостно.

— Эх! — моряк покачал головой. — Ведь я думал, это у нас серьезно.

— А Нонна?

— Не Нонна — Виктория! — поправил он меня.

— Хорошо, Виктория. Воевать-то будешь?

— Буду! — крикнул Валерик со злостью. — Только поскорее бы! Мне завтра в обратный путь. Успеем?

— Успеем! Вместе и пойдем в Ожин. По дороге навоюемся.

— Вот и хорошо, — вздохнул он. — Эх... Некультурно вышло!

— Да забудь ты о Варваре!

— Тебе-то что, — сказал Валерик. — У тебя какие заботы?

Антонина стояла в темных сенях, прижавшись лбом и ладонями к внутренней, продырявленной пулями двери. Я осторожно взял ее за плечи, повернул к себе. В полусумраке я близко видел ее блестящие глаза. Они спрашивали. Каждый кристаллик расширенных глубоких зрачков спрашивал: за что?

За что?

Она спрашивала у меня — более сильного, старшего. Как я мог ответить ей? Десятки народов на земле были втянуты в эту долгую войну. И нам досталось больше всех, на нас всей тяжестью рухнул фашизм. Но и у нас горе распределялось неравномерно. Кого-то оно выбирало постоянной мишенью. Било сплеча, до полного сиротства, а то и вовсе снимало под корень.

Я взял ее за плечи и, пригнувшись, уперся лбом в ее лоб. Мы стояли так, и я чувствовал, как ее отчаяние, ее страшная, замкнувшаяся в себе тоска, ее боль, готовая здесь, в пустой хате, разрастись еще сильнее и стиснуть горло, постепенно стихают, смягчаются, словно мое тело принимало их на себя, как электрический раз-

ряд. Мне было легче справиться с этим, ведь я был опытнее и старше. Каждый из нас, повоевавших, был намного старше тех, кто оставался в тылу.

И мы стояли так, и я чувствовал, что эта переливающаяся в меня боль, странная неподвижная ласка сближают нас еще больше, чем радость прикосновений, которую мы открыли для себя ночью. В этой уплотненной войной жизни все отмерялось нам щедрой дозой: радость и горе; не приходилось ни от чего отказываться.

Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы не Серафима. Она вдруг закашляла за моей спиной, зачертыхалась и зашаркала ногами:

— Вот грязь! Подохнуть можно с такого дождя. А ты чего уставился, бандитская рожа? У, кобель.

Последнее относилось к Буркану. Он стучал хвостом по стоякам двери, как будто барабанную дробь отбивал. И было от чего. В одной руке Серафима держала пузатый глечик с молоком, а в другой кошелку с хлебом и колбасой.

— С голоду помрете, стоячи в калидорчике, — сказала Серафима. — О-ох, веку мало, да горя много... А все же надо о живом думать. Встречай, серденько, куму-сваху.

Антонина пришла в себя, провела Серафиму в дом и усадила. Я был рад бабке. По правде говоря, я забыл про нее — не до того было. Но она не таила зла, ругательница Серафима. Первая пришла в дом.

— Разве ж можно ей голодать? — сказала бабка. — Вон какая стала. Одни глазищи. Да, — вспомнила она. — Там тебя нехристь этот ждет, Попеленко. Я его не пустила. Велел передать: Гнат пришел. Тоже радости! Или вы Гната в свое войско берете? Вы его гетманом зачислите!

— Серафима! — сказал я. — Не клади хулу. Лучше покорми ее, Серафима, она в самом деле ничего не ела сегодня.

И торопливо вышел в сени. Там, поблескивая металлом, стоял МГ. Антонина шагнула следом и удержала за рукав. Она смотрела на меня и требовала ответного прямого взгляда.

— Скоро вернусь, — выпалил я. — Не беспокойся.

«Немедленно сообщи, когда коммунары выедут в Ожин с деньгами. Твой Ясенек».

Я рассматриваю присланную из УРа записку во дворе у Глумского, прикрыв ее от дождя телом. Ишь ты, «Ясенек». Трогательные какие имена. Она Ясонька, он Ясенек. А мы «коммунары». Так у них принято называть нашего брата: «коммунары», «советчики», «красные». Они думают, это ругательство.

...Во дворе настойчиво скребется копытом Справный. Идет дождь.

— Ну что ж, все в порядке, — говорю я Глумскому. — Они клюнули. Можно ехать к Сагайдачному. Уверен — не тронут.

— Похоже, — соглашается председатель.

— Мешки в кузне? Под охраной? — спрашиваю я.

— Да. Там Попеленко, Валерик и Маляс.

Глумский распахивает двери сарая. Глаза жеребца вспыхивают красноватым отблеском. Справный протягивает сквозь жерди перегородки тонкую морду, всхрапывает, втягивая воздух и выворачивая нижнюю розовую губу. Ноздри у него атласные, нежные.

— Он резвый, но не дикий, — предупреждает Глумский, снимая со стены кавалерийское седло. — Бояться не надо. Слушаться тебя будет, привык, что хозяева меняются...

Рука председателя, как скребок, проводит по спине Справного. Затем Глумский набрасывает потник на холку и сдвигает его назад по хребту, по шерсти, чтобы та не сбилась под седлом и не натерла лошади спину.

Во всех движениях Глумского — хозяйственность, предусмотрительность и спокойствие. Председатель не дает своей любви прорваться наружу, но она угадывается в этих скупых движениях — любовь, замаскированная под заботливость.

— Никогда у меня не было такой лошади, — говорю я.

— У меня тоже!

Он гулко хлопает тяжелой ладошкой по брюху жеребца, чтобы тот выдохнул воздух, и ловко затягивает подпругу.

— Не гони, — предупреждает он, — сам пойдет. А если придется гнать, не давай потом стоять, выва-

живай. Так же, сам знаешь, насчет питья. Пулемет берешь?

— Да.

Глумский хмурится.

— Ладно, поперек приторочим, к луке, — решает он. — Если потребуется, расстегни баранчик, понял? Запасные диски возьми в сидор, за плечи. И смотри, не побей жеребцу спину.

— А себе? — спрашиваю я.

Но председатель только хмыкает. На моей спине, мол, не репу сеять. Заживет.

— Начинает признавать! — ворчит председатель, взнуздывая жеребца. — Сначала все по Горелому сучал. Он его баловал, Горелый. Белым хлебом, сахарком баловал... У детишек сахарку не было, а у Справного всегда был. Да!

Вот как: любил он животных, Горелый. Милая черта. В самом деле, ведь лошадь Абросимова он отпустил, даже вожжи были аккуратно привязаны к кузову брички, чтоб не запуталась коняга.

— Ну, гореловский выкормыш, — говорю я, ухватывая поводья. — У меня сахару для тебя нет!

— За Горелого его не вини, — сердится Глумский.

Мы приторочиваем пулемет к седлу. Легкий скрип мокрого песка на дорожке заставляет меня резко обернуться.

Крот!.. На нем тяжелые немецкие сапоги с подковками и короткими голенищами, оставляющие фигурные отпечатки на влажной земле, подшитые кожей галифе. Старый, аккуратно залатанный жупан и казацкая папаха. По-парадному вырядился!

— Чего? — спрашивает Глумский, загораживая спину жеребца.

У Крота, все знают в селе, «тяжелый» глаз.

— Кузню мою заняли! — мнетя с ноги на ногу Крот.

— Знаю, — отвечает Глумский. — Временно.

Я тем временем укладываю запасные диски в мешок. Жеребец перебирает тонкими крепкими ногами, белые «чулки», резко выделяющиеся на темно-гнедой шерсти, порхают над землей, как гигантские бабочки.

— Правду говорят, что вы в кузне два мешка денег ховаете? — интересуется Крот. — Те самые?

— Те самые.

— Это надо ж... — Крот снимает почему-то папаху, скребет в затылке. — Мабуть, тысяч сто будет?..

— По три миллиона в мешке, — отвечаю я. — Так написано.

Пусть прочувствует!

— Три миллиона? — переспрашивает Крот.

Рука его, собиравшаяся водрузить папаху на место, замирает. Нельзя стоять с накрытой головой, когда перед глазами проплывает денежный поток. Миллион — волшебное слово. Каждый знает, что это очень много. Крот тоже знает. Он заботливо откладывает в скрыню* каждый карбованец. Ведет денежкам счет. Сыновья-мешочники каждый раз привозят выручку, и от колхозной кузни ему перепадает немало. Не бедный он человек, совсем не бедный.

Но тут шесть миллионов. Выкопать из земли, как старый горшок! На фоне этой находки вся скопидомская жизнь Крота блекнет и теряет смысл. Трудно Кроту. Стоит он как вол, жует губами.

— Так-так... И что ж теперь с ними делать будете, а?

Его черные, графитовые глаза наблюдают за мной и Глумским. Они почти не выделяются на обожженном, словно покрытом слоем окалины, лице, эти глаза.

— Пересчитаем, составим акт, — отвечаю я. — Вот еду за Сагайдачным. Потом сдадим в район.

Крот, как будто не поверив мне, смотрит на Глумского. Тот мрачно кивает: так!

— Ну, правильно, — говорит наконец Крот. И вздыхает. — Вот она, война: она раздевает, она и награждает.

— Тебя она раздела? — не выдерживаю я.

Помню, помню я обломок кирпича, просвистевший возле уха. Человеческая злоба оставляет заметный след в памяти.

— Я насчет участия... насчет вооруженной помощи, — обращается Крот к Глумскому. — Хочу способствовать.

Он достает из галифе армейский довоенный револьвер.

— Вот нашел... почистил. Чего ж, раз надо...

* Скрыня — сундук (укр.).

Глумский провожает меня на огороды. Тропка от его сарая тянется к старому Мишкольскому тракту.

— Стремена по ноге? — спрашивает он.

— По ноге.

Жеребец, стоя на месте, играет подо мной, как лодка на волне. Каждая его мышца переливается, просит хода.

— Не нравится мне Крот, — говорю я.

— И мне не нравится. Но людей не хватает.

— Лишь бы он не дознался... насчет того, что в бумажных мешках.

— Не дознается!

8

Я делаю лишь легкое движение поводьями, и Справный тут же, с места, берет рысью, чуть вывернув голову налево, к жилью, как будто не желая расставаться со своим селом — это у него, очевидно, манера прощания. Он как будто неспешно идет, Справный, шутя. Но тропа стремительно скользит под коня, а дождь, вяло моросящий с утихшего, безветренного неба, начинает сечь лицо. Оглянувшись, я вижу маленького Глумского. С каждой секундой он становится все меньше.

Седло мягко ходит вверх-вниз подо мной, бока лошади, сжатые коленями, мерно вздымаются, пружинят стремени, и вот кукурузное поле остается позади, как желтоватый росчерк, отбегает за круп жеребца ржаной, чисто убранный клин, чуть сиреневый под дождем, капустные гряды на Семеновом урочище разворачиваются полосами, и остро торчащие вверх и вперед уши Справного, уже оказываются на фоне туманного и мокрого леса. Да, это конь!

Вскоре Справный перестает выворачивать голову и чуть-чуть наддаёт. Мы летим по дороге, пересекающей мрачный и густой лес, как по ущелью. Изредка копыто глухо бьет в корень, и звук удара раздается на весь лес. Сойки мечутся над нами и быстро отстают.

Справный бежит уверенно и легко, как будто век он бегал так, на Грушевый из Глухарки, и его уверенность передается мне. Никто не сможет задержать этого как бы скользящего над землей коня. Мимо — вересковая поляна, на которой смутно просматривается фиолетовая пена сопветий, сосновый бор с шевронами подсочки на

красноватых стволах — в нем и в этот дождливый день сухо и гулко, как в ангаре, и густо пахнет смолой, текущей из переполненных жестяных воронок... Березняк... Здесь, вбежав в черно-белую пестроту стволов, Справный вдруг настораживается, выгибает длинную, кажущуюся особенно тонкой отсюда, сверху, шею, стрижет ушами и пофыркивает.

На всякий случай прижимаю коленями бока жеребца — бью каблуками — кажется, у кавалеристов это называется «дать шенкелей», и Справный откликается на мое неумелое управление, он переходит в галоп. Я едва успеваю отрываться на стременах от седла, чтобы не плюхнуться на круп не в лад ходу, пулемет больно задевает о ноги, но лес уже кончается. Жеребец, щадя губы, слушается подтянутых удил и вновь сбивается на рысь; меня возносит к трем яблоням-кислицам, как на самолете, и вот уже открывается Грушевый — одинокий хутор, один из тысяч полесских хуторов, нахохленный и сонный под дождем.

Меня пропустили к Сагайдачному!.. Ключули. Значит, и обратный путь будет свободен.

Старик, выслушав меня, достает свою «катушу» и начинает стучать обломком напильника по кремню. Искры уходят вверх, минуя обожженный трут, и мировой посредник нервничает. Напильник в тонких, сухих пальцах мечется вверх-вниз, бьет по камню с характерным сухим треском. Увы, огня нет. Я мог бы помочь Сагайдачному, достав заветный коробок со спичками, но знаю, что для него работа с кресалом — священнодействие. Стариковская причуда? Но, может быть, в семьдесят лет это особенно важно — самому добывать свой огонь?

Наконец одна из искр залетает в обожженный трут, как пчела в улей, пристраивается там, растет, пухнет на глазах, и Сагайдачный, поднеся трут к вытянутым бледным губам, раздувает его.

За окнами — дождливый сумрак, в стеклах пенсне у Сагайдачного светятся два желтых огонька, но глаз его я не различаю, они скрыты за блестящими стеклышками.

Зато я вижу, как смотрят на меня католический глиняный Христос с колючим венком на голове, и богоматерь из складня, и Будда, сидящий скрестив ноги, и бельмастый, кудлатый Зевс, и похожий на орла с немецкого кителя крылатый Ра... Успокойся, говорят они, все уже было, все уже видели мы — и праведников, страстно желающих уничтожить зло, и торжествующих грешников, и грешников казненных, и казненных же праведников. И все повторялось, повторялось... Почему-то моя уверенность в том, что Сагайдачный поможет мне, улетучивается.

Я отворачиваюсь от богов. У них божьи дела, у меня — человеческие.

Тускло светятся тисненными золотом слова на корешках книг, мерцают хрустальные подвесочки старинных бра, веера источают какой-то непонятный сладкий запах. Мы одни на этом книжном острове, если не считать тонколицей молодой женщины в соломенной шляпке, которая улыбается с фотографии сквозь полумрак. В сенах стучит толкушкой бывшая деревенская красавица по имени Мария, пришедшая в этот дом, чтобы сменить женщину в соломенной шляпке, но так и оставшаяся довеском к памяти о ней.

Сагайдачный раскурил свою тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Вот ведь человек — курил жесточайшую мужицкую махру, а дым вился интеллигентными светлыми колечками.

— Значит, ты предлагаешь мне принять участие в афере... обмане, — сказал Сагайдачный. — На вашем языке это, конечно, называется военной хитростью?

— Иначе с ними не справиться. Все зависит от вас. Только вам они поверят.

Почему-то у меня был виноватый тон. Я как будто просил прощения за то, что вынужден прибегать к хитрости.

— Семеренкова они бросили в карьер, — сказал я. — Ранили и бросили. Чтоб помучился.

Чуть дрогнули пальцы, державшие папироску.

— Я не скрываю, что это опасно, — добавил я. — Они же звери! Фашисты!

— Э, разве в этом дело? — сказал Сагайдачный. — Смерти и страданий я не боюсь. Вообще, проблемы соматического существования меня не волнуют. Но нарушить основу своей жизни, ее принцип... ради чего? В данной точке земного шара, в данное время одним Горелым станет меньше. Но, как феникс, Горелый возродится еще где-то. В любые времена было достаточно садистов.

Этого я боялся больше всего. Когда Сагайдачный принимался рассуждать, все теряло фундамент, становилось зыбким. Я крепче уцепился в подлокотники кресла с высокой драной спинкой. Сколько людей сживали в этом кресле до меня! И все они уходили ни с чем.

— Ты думаешь, я их мало видел на своем веку, Горелых? — спросил Сагайдачный. — Нет, все, что мы можем противопоставить несправедливости, — это крепость духа и реалистический взгляд на вещи. «Разумное наслаждение настоящим — это единственная разумная забота о будущем».

— Марк Аврелий?

— Монтень.

— Он не воевал, ваш Монтень! — сказал я, держась за подлокотники. — Он сидел в замке и философствовал.

— А до этого он воевал, — торжествующе улыбнулся старик. — И много. Он был опытным бойцом, гулякой и задирой.

— Ага, все-таки был! — выкрикнул я, чувствуя, что все рушится.

— Ты полон жажды мщения, понимаю, — сказал Сагайдачный.

— Дело не в мщении!

— Хорошо. Пусть не мщение, просто злость. А что ты видишь со стороны Горелого? Разве не то же? Не злость? Злость — вообще болезнь человечества. Она как мозоль. Человечество натерло ее, шествуя по пути прогресса! Увы, я не мозольный оператор...

Он погасил папироску в медном цветке лотоса. Пальцы чуть заметно дрожали. Не так-то просто давался разговор и Сагайдачному, хотя он и старался укрыться за иронией.

— Ты просишь слишком многого, — сказал он после длительного молчания. — Участвовать в вашей... э, опе-

рации... это чересчур. Право! Сейчас мне так покойно, хорошо. Моей защитой стала старость. Слава богу, старость — благословенное время. Брось этих бандитов, Иван Николаевич. Уверю, они сами уйдут. И все устроится.

Он повернул голову так, что я увидел под стеклами голубенькие глазки. Они часто и жалобно моргали.

Мне почему-то расхотелось спорить и убеждать. Неужели он не понимает? Как можно не понимать! Перед моими глазами был Семеренков, утонувший в гигантской кровавой яме. Какие тут нужны слова? Эх, товарищ мировой посредник!

— Вы отказываетесь, Мирон Олегович? — решил я поставить точку.

— Извини, но... отказываюсь. Да, извини, отказываюсь!

— Ладно! — я встал. — Ладно, Мирон Олегович! После того как вы помогли мне тогда, на гулянке, я думал... Ладно!

Меня ждал в Глухарке Глумский. Что ж, придется его огорчить. Постараемся придумать еще что-нибудь. Без Сагайдачного. Оставим старика в его нейтральной стране.

— Иван Николаевич!.. Ваня! — Сагайдачный поднялся вслед за мной, нашаривая растопыренными пальцами край стола, как слепой. Стеклышки пенске запотели. — Ах, боже мой, как вы, молодые, жестоки. Как жестоки! Куда же ты? Если с тобой что случится, я себя, себя винить буду! Ну, посмотри на вещи разумно. Война на исходе!

Он пытался выбраться из-за стола.

Обидно мне было и горько. Все рушилось. Мы упускали верный шанс уничтожить бандитов. Честное слово, я бы ничего не пожалел для него, Сагайдачного, если бы он позвал на помощь. Я пробился бы к его Грушевому острову, даже если бы горел весь разделявший нас лес! Но мне не хотелось, чтобы он думал, будто я какой-то мстительный тип, который удаляется навсегда в злобе.

— Спасибо за все, что смогли сделать, Мирон Олегович, — сказал я.

Чуть заметным пятнышком виднелась в сгущающемся сумраке фотография молодой женщины на полке.

Мне казалось, что она поняла бы меня лучше, чем Сагайдачный.

— Пойдите! — крикнул старик.

Я выбежал на крыльцо. Мария Тихоновна не обратила на меня ни малейшего внимания, возилась с мешанкой. Она в полной мере усвоила уроки философского спокойствия. Но Монтень и Ренар не могли служить ей опорой, как Сагайдачному. Ее утешали кабанчик, куры, корова и старая Лысуха.

Я снял шинель, которую набросил на Справного, чтобы тот не остудился под дождем, надел ее на себя и впрыгнул в седло. Шинель остро пахла конским потом.

— Иван Николаевич! — выкрикнул Сагайдачный тонким, сдавленным голосом. Пенсне он держал в пальцах, как бабочку. Он плохо видел в сумраке и щурился...

До последней минуты я, несмотря ни на что, верил в Сагайдачного, верил в нашу дружбу!

Справный вынес меня из двора — пулемет задел ветку яблони, и лицо обдало дождевой гроздью. Жалко мне было старика. Но я не хотел давать волю этому чувству.

От трех кислиц Справный пошел галопом, и я не стал сдерживать его.

— Ну и что ты теперь предлагаешь? — мрачно спросил Глумский.

Он как будто и не ожидал ничего хорошего от моей поездки. Или, быть может, как умудренный жизнью человек, успел подготовиться к неудаче?

— Если они не поверят нам без Сагайдачного, пойдем в УР, — сказал я. — Нас теперь не так уж мало. Отыщем их!

Глумский кивнул.

9

— Вот я и вернулся, — сказал я Антонине.

Она встретила меня на пороге. Припала к пахнувшей Справным шинели и провела пальцами по щеке, словно стирая дорожную грязь и усталость. И в самом деле, когда она коснулась лица, усталость, боль и все невзгоды как будто улетучились. Я переживал незна-

комую мне радость возвращения домой. Раньше все мои дома были временными, вокзальными.

На лавке, у окна, лежал темной грудой полушубок. Здесь она ждала. Было темно, пусто и неудобно в хате, было страшно. Из пробитой, расщепленной пулями двери тянуло холодом, планка догорела; но она сидела и ждала.

Я прижал ко рту ее ладони, я целовал их. Никогда не подозревал в себе столько нежности и любви.

Потом я налил в плошку ружейного масла — олии у нас не было, зажег отвердевший от нагара фитиль и вышел умываться. Буркан стучал хвостом о мои сапоги. Котелок с кулешом, стоявший у порога, свидетельствовал, что пес встал на продуктивное довольствие.

Что ж, отложим все заботы до завтра, решил я.

...Всю ночь за окнами шелестел дождь. Мы лежали на жестком деревянном топчане, накрытом матрасом, в котором потрескивало и шуршало сено. Мы лежали прижавшись, то засыпая, то просыпаясь, мы как будто летели сквозь ночь. Было ощущение затяжного прыжка, когда падаешь сквозь облака, и тугой воздух проносится мимо, и земля вращается внизу — то встает косо, то укладывается ровным зеленым, обманчиво мягким ковром, то возносится над головой.

Мы были тихи, как дети, прислушивались к дыханию друг друга, не поднимая головы. Я не хотел трогать ее после всего, что она пережила сегодня, это было бы кощунственно — чувства, которые я испытывал к ней, вдруг переплавились бы в приступ себялюбия, в требовательный и грубый инстинкт.

Никто не знал, может, это была последняя наша ночь, никто не знал, до каких пределов уплотнило наш век военное время, и мне было чуть грустно, вкус горькой крушинной коры примешался к радости, которую давала нам застенчивая, целомудренная близость.

Она была рядом со мной — теплая, дышащая, пахнущая, живое существо, чудо, женщина. «Я люблю тебя», — беззвучно шептал я в ее теплую щеку... И она, словно услышав, еще крепче прижималась ко мне, и мы проваливались в дремоту, чуткую, прерывающуюся без конца дремоту, и сквозь сон, мне казалось, я слышал ее ответные слова, а дождь все шелестел в темных окнах, и в сенях возился и стучал лапой наш сторож Буркан.

Нам было хорошо молчать и слушать дыхание друг друга, мы открывали не изведенные еще источники счастья, и, просыпаясь после короткого забытья, я вдруг улыбался от радостной мысли — если нам хорошо в эту ночь, когда все ужасы, страхи не улетучились, были живы, реальны, то что же ждет потом?

Открытия следовали за открытиями: то я вдруг удивлялся тому, как она, длинная, тонкая, сильная, прижавшись ко мне, становится такой маленькой и так уютно и ловко умещается рядом, словно впаянная, неотделимая, то разглядывал ее глаза, которые ночью становились черными и необъяснимо глубокими, то поражался, как можно одновременно ощущать и тяжесть и невесомость ее головы, лежавшей на сгибе моей руки.

Я засыпал и просыпался, казалось, лишь для того, чтобы испытать радость нового открытия. Было совершенно удивительным посмотреть на нее в полной темноте и, не произнося ни звука, не шевеля даже губами, позвать: «Антоша», — и почувствовать, как она откликается всем телом, почувствовать движение ресниц, шелест их и слышать немой, беззвучный отклик: «Что, что?» — и снова сказать: «Антоша, Антоша...» И провалиться в короткий и чуткий сон.

Мы летели сквозь ночь, и обрывки каких-то неясных сновидений проносились мимо, как клочья облаков.

На рассвете залаял и запрыгал от возбуждения Буркан. Я тотчас бросился к пулемету — это пробуждение вдруг слилось со вчерашним, мне показалось на миг, что я сейчас услышу поскрипывание проволоочки, которая нащупывает зубцы щеколды. Но, придвинувшись к окну, я увидел торчавшие над плетнем, у ворот, оглобли и узнал белую холку старой Лысухи. Сагайдачный постучал кнутовищем по столбу ворот.

— Ну вот и наши первые гости, — сказал я Антонине. — Будем встречать.

10

Она исчезла в сенях, звякнула умывальником, переоделась за занавеской, сделала несколько гибких и таинственных движений, закалывая волосы, и через не-

сколько минут вышла к Сагайдачному на редкость свежей и хорошенькой, словно не было летящей от сна к бодрствованию ночи, не было вчерашних страшных часов на Гавриловом холме, старушечьих причитаний и пулеметного треска. Она вышла с достоинством хозяйки дома, которая должна принять гостя как положено, чего бы это ей ни стоило. Я смотрел на нее с удивлением. Где она научилась всему?

— Искренне сочувствую вашему горю, Антонина, — сказал старик.

Она сжала губы.

Сагайдачный, склонив свой голый тыквообразный череп, поцеловал ей руку. Антонина не испугалась, не сделала ни одного жеманно-стыдливое движения, а царски разрешила Сагайдачному коснуться сухими губами тыльной стороны ладони, и затем рука легко выскользнула из его пальцев. Как будто ей была знакома эта церемония!

Сагайдачный с победно-торжествующим видом взглянул на меня голубенькими утренними глазками: какова?

Я и сам еще не знал какова.

— Я приехал сказать, что принимаю предложение, — сказал Сагайдачный торжественно. — У меня только одна просьба. Накормите меня завтраком!

Антонина чуть заметно кивнула мне и вышла к сараю, к тощим своим курам. На ней было то самое домотканое, крашенное черноклёном платье. Сагайдачный проводил ее взглядом. Только сейчас, при свете разгоревшейся плошки, я увидел, что под глазом у него тонкая синяя полоса.

— Ты не представляешь, какая это радость смотреть на красивую юную женщину, — сказал мировой посредник. — Даже горе бессильно перед ней.

— Представляю! — ответил я, растапливая печку.

— Нет, милый мой. Доживи сначала до семидесяти лет. Пусть твое зрение очистится от страсти и приобретет истинную зоркость. Тут нужны глаза старика.

— Кстати, что это у вас под глазом? — спросил я.

Он погрозил мне тонким пальцем. У Сагайдачного было странное настроение — смесь скорби и удализма. Мне даже показалось, что от него слегка пахнет самогонкой. В такой ранний час!

— Заметил все-таки! — сказал он. — Под глазом у меня небольшой синяк. После тебя ко мне приезжал Горелый.

Я так и замер у печи. Как же это я не догадался! Ну да, узнав, что Сагайдачный не хочет ехать пересчитывать деньги, они должны были сами подтолкнуть его на это.

— Ты растапливай, — сказал Сагайдачный. — Не беспокойся. Я сказал именно то, что нужно: вы просили меня приехать в Глухарку, подписать акт о найденных миллионах, а я отказался. В сущности, я ведь не солгал, не обманул его, правда?

Я даже поперхнулся. Неужели старика всерьез беспокоил этот вопрос — как бы не солгать. Кому?

— Горелый сказал, что я должен поехать. Я пояснил, что не принимаю участия в официальных мероприятиях. Я нейтрален, как Швейцария! Он приказал поехать и доложить ему обо всем. Я отказался. И он... э... применил легкие меры физического воздействия. Не хотел причинить мне большой боли, даже предупредил: снимите пенсне.

Ну конечно, подумал я. Пенсне надо было беречь. Ведь Сагайдачный должен еще пересчитать деньги.

— Я сказал: хорошо. Думаешь, от испуга или жажды мести? Ничуть... Могу я закурить в этом доме?

Он принялся высекать огонь из своего капризного кремня.

На толстой глиняной тарелке перед Сагайдачным пофыркивала глазунья со шкварками. Старик ловко управлялся с самодельным ножом и трезубой, домашнего литья вилкой. И в то же время разговаривал с Антониной, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей.

— Знаешь высказывание: «Всю свою жизнь он сидел на приставном стуле»? — спросил Сагайдачный у меня.

— Это... Монтень? — сказал я, машинально продолжая нашу давнюю игру.

— Во времена Монтеня не было приставных стульев. Это Ренар. Так вот... Я сидел на таком приставном стуле, и это было хорошо. Я мог наблюдать! Мне видны были и оркестр, и галерка, и бельэтаж, и партер, и

статисты, выглядывающие из-за кулис, и дирижер, вернее, человек, который воображает, что дирижирует, и суфлеры. И даже правительственную ложу я видел... Меня же никто не замечал. Представь себе, это приятно — сидеть на приставном стуле! А ты пришел и согнал меня! Поставил перед идиотски глупым вопросом: либо я должен сказать им правду и, таким образом, предать тебя, либо я не должен говорить им правды, обмануть их. Вот ведь как! Альтернатива! И я вынужден был ввязаться в ваше дело. Теперь справляю поминки по моей прежней, милой и спокойной жизни... А почему все это произошло?

Он поднял вилку с куском яичницы, рассматривая ее на свет и как будто любясь сочными красками.

— Потому что я позволил себе полюбить тебя, Иван Николаевич, а любовь в конечном счете всегда вынуждает нас страдать.

Мы с Антониной переглянулись.

— Да, да... Не удивляйтесь. И вы будете страдать. От разлук, от переживаний, от обид со стороны детей! Не думайте, что ускользнете. Надо платить за счастье привязанности и любви. Но, — он проглотил яичницу, раскрыв рот, как птенец, разом, — зато мы кое-что приобретаем. Вот вы кормите меня завтраком, как заглянувшего на огонек родственника. Быть родственником — это хорошо!

Я сумел разглядеть глаза старика за овальными стеклышками. Они не шутили, они были серьезны, эти глаза.

— В сущности, обманывать мне не впервые, — сказал он. — Болезни свои обманул —, а их было в достатке. Живу! Марию Тихоновну, жену, обманул — беден оказался...

Он выпил большую кружку чая, заваренного на сушеных грушах, и аккуратно вытер губы платком.

— Это было так приятно, — сказал Сагайдачный, глядя на Антонину, — посидеть с вами, ощутить искреннее участие и заботу... Ну, а теперь за дела, молодой человек!

Он поднялся и снова галантно поцеловал ей руку. У порога остановился и поклонился Антонине. И Антонина ответила ему поклоном. По-моему, они понравились друг другу.

— А что? — сказал Сагайдачный, надевая картуз. — Старики способны вновь ощутить свою молодость только через других.

Мы вышли к телеге. Лысуха уныло ждала, в гриве ее светились мелкие капли воды. Все затянуло моросью.

— Спасибо вам, — сказал я.

— Что за народ! — ответил Сагайдачный. — Лезет в пекло и еще благодарит. Смотри, береги себя!

Он вздохнул и посмотрел в сторону леса. Деревьев не было видно, лишь угадывалась вдали густая темная масса. Дорога тянулась туда светлой, поблескивающей колеями полосой. По обе стороны стояли обезглавленные, загнутые стебли подсолнухов.

— Да, вот еще... — сказал Сагайдачный тихо. — Ты ведь знаешь, Иван Николаевич, я атеист. Но меня все же занимает, как меня похоронят.

— Ну, хватит вам, Мирон Олегович! — возмутился я.

— Помолчи! — попросил старик серьезно. — Не люблю этого комсомольско-молодежного оптимизма... Я вот думаю: что поставят над моими бренными останками? Крест? Нет! Камень-валун? Претенциозно. Знаете, поставьте этот ваш обелиск со звездой. Не очень, прямо скажем, выдающееся мемориальное изобретение, но... Пусть у меня там будет ощущение, что я приобщился к этой вашей современной жизни. Что я не чужд тому, что будет жить после меня. Ведь, кажется, все это прочно, а? Глядя на таких, как ты, иного вывода не сделаешь. И если великолепно налаженная фашистская машина не выдержала... Прочно, да?

— Прочно, Мирон Олегович!

— Вот и хорошо. Значит, договорились? И не думай, у меня вовсе не мрачное настроение. Напротив.

Он заговорщицки склонился к моему уху и прошептал:

— «Бувае, іноді стары не знае сам, чого здраіе, нэначе стане моладый, і засывае як уміе...» * Ну, кто?

— Шевченко, — ответил я, на этот раз без ошибки продолжив нашу старую игру.

* «Бывает, вдруг на старика находит радость неизвестно почему, и он как будто вновь становится молодым и поет как умеет...»

Мы с Попеленко смотрим, как уходит Гнат. Он вразвалочку, перебрасывая через лужи тяжелые дырявые ботинки, шагает по улице. Правая рука Гната придерживает пустой мешок, левая зацепилась большим пальцем за желтый провод, перепоясывающий ватник, и ладонь висит сама по себе, как варежка. Шапочка, считая на солдата-недоростка, чудом держится на нечесаной гриве деревенского дурачка, издали она словно птица на стог сена.

«Ма-асковские сладкие груши, она ела их на свадьбе...» — напевает Гнат. Сквозь унылую мелкую осеннюю морось он несет не доступный никому мир своего воображения. Там быют в бубны, осыпают молодых хмелем, пляшут, целуются.

Рослая, чуть сгорбленная фигура постепенно скрывается в мутно-серой завесе дождя, как в дыму. Еще доносится неразборчивая песня. Но через двадцать-тридцать минут Гнат будет в лесу. В потайном клапанчике ватника, прошитом двойной стежкой, завернутый в прорезиненную обертку от индпакета, лежит блокнотный листок. На нем выведенные рукой Варвары четкие, ровные строки:

«Мешки с деньгами вывозят завтра на рассвете. Сегодня приехал Сагайдачный. Никого в район не посылали. Повезут Глумский и ястребки. Когда же выполнишь обещанное? Жду не дождусь. Ясонька».

Мы прислушиваемся. Где-то за околицей хлопает кнут пастушка, блеет на пустыре коза. Песни уже не слышно. Гнат унес наш крючок с наживкой, и невидимая леска потянулась за ним из Глухарки. Давай, Гнат, ни пуха ни пера.

Попеленко вздыхает, трет обшлагом шинели кожух своего ППШ. Я чувствую: сомнения и страхи выются вокруг него, как осы у колодца.

— Товарищ Капелюх! — не выдерживает Попеленко. — Я так понимаю, что мы выходим на бандитов?

— Правильно понимаешь.

— А кто ж село останется охранять?

— Никто.

Он качает головой с прискорбием.

— Так нельзя, — говорит, поразмыслив. — Так я не могу. Неправильно политически! У меня ж детей полная хата, вы сами знаете. На кого ж я их брошу? А если какой бандера заглянет? Вам-то хорошо! А мне смену растить надо!

Он отворачивается, как будто в сердцах, но глаз его зорко следит за мной из-за приподнятого ворота. Что ж, придется выложить все. До поры до времени я молчал. Щадил его, ждал. Казалось, в «ястребке» просыпается боец. Как он помчался навстречу бандитам, к заводу, когда заметил, что его попеленятам угрожает опасность!

— Попеленко, — говорю я, — хорошо жить, когда тебя жалеют?

— Так не меня ж, — отвечает он. — То детей!

— Но ты так привык к жалости, что переключаешь ее на себя.

Он моргает. Мол, это все рассуждения.

— Штебленка помнишь?

— Ну?

— Помнишь, как ты Варваре лошадь давал за три метра ситчика?

— Ну... что ж, товарищ Капелюх! Я ж признал ошибку! Повинился я уже!

— На твоей Лебедке Климарь погнался за Штебленком. Иначе б Штебленок ушел, понял? Ты погубил своего товарища!

Попеленко издает странный, сдавленный звук, как будто заглатывая баклажан. Глаза его выкатываются и застывают.

— Как же это? — наконец спрашивает «ястребок».

— Так.

— Я ж... я ж... разве я мог?..

— Мог. Если б дальше своего носа поглядел. За ситчиком погнался! Дети раздеты! Все, мол, тебе простят. А дети Штебленка тебе ситчик простят? А?

Я беру его за воротник — рука сама тянется, пальцы произвольно сжимают жесткое сукно.

— А Кривендиху не хочешь ли на свой счет записать? А Семеренкова? Если бы ты прорвался в Ожин, они были бы живы. Пуль испугался? «Раны» своей испугался? Кого пожалел — детей или себя?

Он, приоткрыв рот, часто дышит мне в лицо. Мы схо-

димся с ним глаза в глаза. Кажется, я начинаю заводиться. Бывает ведь — вдруг окатит злостью, даже свет застит.

— Абросимова не хочешь вспомнить? Проболтался о его приезде! Тоже не подумал? Закуску на столе увидел, растерялся? Детей своих пожалел, да? Хватит спекулировать на детях, Попеленко!

Он отступает вплотную к плетню.

— Виноват, — бормочет он. — То ж от дурасти, то ж не зрада *... Я ж... политически...

Пальцы сами разжимаются. Но Попеленко так и остается стоять, съжившись и прижавшись к плетню. Злость как-то сразу улетучивается. Жалею я его, своего белобрового «ястребка». Недостойное, штатское, тыловое чувство — жалость! Если б я мог, я бы оставил Попеленку в селе, при детях. Пусть растит свою «гвардию», селу будут нужны мужики, ох как нужны. Но у нас нет сейчас бойцов. Попеленко с его автоматом — половина ударной силы у Глумского. По крайней мере, «ястребок» умеет стрелять. Пожалее я его сегодня — завтра Горелый перебьет все село. Уж он-то постарается отомстить за обман, Горелый, если справится с нами в лесу и узнает, что мы везли в мешках...

У жалости есть оборотная сторона.

— Воевать будешь?

— Буду.

— Помни — с тебя особый спрос.

...Он все еще стоит у тына, выпучив глаза, как будто видит перед собой тени убитых Семеренкова, Кривендихи, Абросимова.

Я ухожу. Пусть подумает. Пусть сам решит. Не все же приказывать ему именем трибунала.

У кузни меня встречают Валерик, Маляс и Крот. Все трое прячутся от дождя в густом ивняке и ольховнике. Маляс небрежно, по-партизански — дулом вниз — забросил карабин за спину. Бывалый вояка! Но лицо выдает его, это лицо мальчишки, которому разрешили поддержать автомобильный руль.

Крот суров и неподступен. Жупан его перепоясывает

* Зрада — измена (укр.).

широкий кожаный офицерский ремень, отвисающий на животе от тяжести кобуры со старым армейским револьвером. Револьвер привязан цепочкой к крючку жупана, как вокзальная кружка к бачку. Вдруг добро потереется?

Вид у нашего воинства не очень бравый, в почетные караулы оно не годится. Валерик, правда, как всегда, хорош: в тугом бушлатике, из-под которого проглядывает «морская душа», в бескозырке с метровыми лентами, с немецким автоматом на груди, с оттопыренными от гранат карманами — он, кажется, только что, как и положено моряку, потопил свой корабль и теперь готовится дорого продать свою жизнь на суше.

— Вот Крот гранат принес, — говорит Валерик, ловко подбрасывает в воздух гранату, по-жонглерски подхватывает. — Культурно!

— Запас ликвидировал, — охотно поясняет Крот. — Раз нужно обществу, бог с ней, с рыбой.

Я берусь за кованую тяжелую ручку двери, и Крот тут же тянется, чтобы заглянуть в кузню. Ему не терпится узнать, как выглядят миллионы.

— Принеси счета, Крот, — говорю я.

— Счета?.. Это можно.

В другое время он бы отказал. На все просьбы у кузнеца установленный ответ: «Одному дашь, другому не откажешь». Однако сейчас речь идет о подсчете миллионов.

— И безмен принеси!

Крот уходит оторопелый, шелестя своими добротными, подшитыми позади кожей галифе. Трудно ему... В кузне лежат деньги, которые приходится взвешивать, как просо. Эдакие переживания под занавес войны!

В полутемной кузне — свет сочится лишь из маленького оконца под потолком — в углу за столиком сидят Сагайдачный и Глумский. Столик забросан красненькими тридцатирублевками, синими пятерками с изображением летчика, зелененькими трешками с солдатами в касках. Вся колхозная касса, выручка от продажи последних горшков и глечиков, лежит на изрезанных грязных досках, как осенний разноцветный букет.

У ног Глумского два длинных бумажных мешка. В такие мешки немецкие похоронные команды упаковывали покойников. Пронумеровывали их и отправляли

куда надо. Аккуратисты ведь. Я осматриваю мешки. В них пластинки немецкого пороха. На ощупь, сквозь толстый слой бумаги, они напоминают гибкие и плотные денежные пачки. Находчивый мужик Глумский!

— Учтите, они скорее всего встретят вас поблизости от Глухарки, в лесу, — говорю я Сагайдачному. — Будьте готовы к четким ответам.

— Я-то что? Вот вы готовы ли?

— Ничего. Выеду в Ожин с темнотой, проскочу! — это я Глумскому. — Буду ждать вас с автоматчиками близ опушки. Я присоединюсь к вам, а они пойдут скрытно, лесом, чуть позади.

Глумский кивает.

— Если меня не будет на опушке, возвращайтесь обротно.

— Ну-ну, — отвечает Глумский.

Он угрюмо царапает стол толстым, чечевичеобразным ногтем. Что-то есть у него на уме, но он не хочет поделиться со мной.

Скрипит дверь. Крот протягивает мне счета и безмен с длинным рычагом и передвижной гирькой. Графитовые его глазки скользят по тридцатирублевкам на столе, по бумажным мешкам.

— Не нравится мне этот Крот! — говорю я, когда дверь за кузнецом закрывается.

— Разве вас не учили в школе, — спрашивает, улыбаясь, Сагайдачный, — что у крестьянина две души?

— Учили. Но когда дело доходит до стрельбы, две души ни к чему.

Я ставлю счета и безмен на стол. Счета хорошие, из настоящей кости. Наверно, Крот хранит их в заветном месте, как Серафима свою «Борьбу миров». Весь день пальцы Крота делают тяжелую, грязную работу, вечером же они, перебирая костяшки счетов, служат душе. Какой душе?..

— Кстати, сколько весу должно быть в трех миллионах? — спрашивает Сагайдачный. — Вдруг они и поинтересуются, а я даже не представляю.

С таким же успехом он мог спросить, как гарпунят китов в Гренландии. Я больше ста рублей в жизни не держал в руке.

— Прикинем, сколько колхозная касса весит, — предлагает Глумский, — и помножим!

Он сгребает корявыми пальцами тридцатирублевки, пятерки и трешки, перевязывает их бечевкой и подвешивает к безмену. Отводит гирьку... Стрелка не шелохнется.

— Н-да, — сконфуженно говорит Глумский. — Не тянет наш кооператив на безмене. А бывало, у инкассатора сумка плечо гнула. До войны!

— Э, голубчик, — в тон ему замечает Сагайдачный. — Мало ли что было. У моей мамочки бриллиантовое кольцо своей тяжестью натирало шею, после бала приходилось прибегать к маслам. До революции!

Председатель колхоза и бывший мировой посредник с интересом смотрят друг на друга.

— Надо сказать, ваша выдумка не лишена смысла, — милостиво роняет Сагайдачный. — Ни во что люди не верят так охотно, как в клады и в то, что у ближнего много денег. Психологический феномен! Замечали ли вы, что самые богатые люди — это ваши соседи? Сколько раз приходили ко мне, рылись в подполе, в погребке, искали фамильные сокровища... Никто ничего не нашел! Но спросите у Крота, кто такой Сагайдачный, и он скажет: это тот, кто прячет пуды золота под хатой.

— Не нравится мне Крот, — упрямо повторяю я. — Ни одной души не вижу в нем.

— А что делать? — взрывается Глумский. — Я без него своего плана выполнить не могу!

— Какого еще плана?

— Такого... Если ты не придешь на опушку с автоматчиками, мы все равно двинем против Горелого, понял? И его прибьем!

Так вот что было на уме у председателя...

— Как одни?

— Послушайте, не посвящайте меня в свои планы! — умоляюще вскрикивает Сагайдачный. — Достаточно, хватит!

Но Глумский не обращает внимания на мирового посредника. Он в горячке неожиданно вспыхнувшего военного азарта.

— С телегой пойдем я, Крот и Маляс, понял? Горелый знает, что нас должно быть трое, так? А Попеленко и Валерик будут на телеге под брезентом с автоматами и гранатами. Мы их мешками прикроем с боков.

Когда бандеры выйдут из леса, мы вроде испугаемся, бросим оружие, понял? А Попеленко и Валерик подпустят и ударят в упор из автоматов... И гранатами, понял?

Он волнуется, Глумский, то и дело повторяет «понял?» и режет ногтем стол. Это первая в его жизни военная операция.

Я не узнаю председателя. А может, вот так неожиданно и проявляется талант партизанских хитроумных вождей?

— Рискованно, — говорю я. — Беспокойно мне за вас.

— А ты не беспокойся, — советует Глумский.

Сагайдачный слушает, чуть скривившись. Пальцы его играют костяшками счетов. Он слушает нас, как детей, увлеченных собственной выдумкой и поверивших в нее.

— Ты скажи и делай свое дело, — продолжает Глумский. — И постарайся не запалить Справного.

В голосе председателя командирская уверенность. Он очень изменился с тех пор, как взял в руки карабин. Не случайно, наверно, наш лесной миролюбивый край дал столько вожakov и командиров. В Полесье не редкостью было, если какой-нибудь тугодум-садовод или колхозный бухгалтер, уйдя в лес с дробовиком, а то и просто с топором, возвращался во главе целого отряда. С чего-то они начинали? Может, вот с такой же телеги?

— Ох, карбонарии, — тихо шепчет Сагайдачный. — Воители... Этот трюк уже был. Под стенами Трои... Закурим, председатель, на прощанье?

Согнувшись, он бьет кресалом по кремню, добывая огонь.

Глумский терпеливо ждет. Наконец тощая самодельная папироска и сигарка пэтээровского калибра тянутся к тлеющему фитилю. Скоро нам провожать Сагайдачного. Где-то на дороге мирового посредника встретит Горелый или кто-нибудь из его подручных. Основные силы бандитов, возможно, следят за Ожинским шляхом, чтобы не выпустить нашего посыльного. Вот почему мне придется дожидаться сумерек... С каждой минутой нервное напряжение нарастает. Скорее бы в путь! Ждать да догонять — нет ничего хуже.

— Ну, ты уж слишком его не жалеешь, — говорит Глумский и вытирает мокрый круп Справного ладонью. Приглашенная шерсть блестит, как лаковая. Справный, косясь, переступает с ноги на ногу, идет боком, ему не терпится. — Ты, если нужно, гони, — продолжает Глумский. — Он выдюжит. Крепких кровей!

Жеребец, изогнув шею, тянется к председателю мягкими розовыми губами, тычется в ладонь. На ладони — корка черного хлеба. Нет в селе сахара. Дети забыли, как он выглядит. Никто не скажет в Глухарке: белый, как сахар. Скажет: белый, как мел. Мелу у нас достаточно.

— В Ожине на чужие руки не оставляй.

Справный быстро сжевывает корку. При нашей бедности и чернушка лакомство. Председатель, вздыхая, смотрит на жеребца. Мысленно прощается, что ли? Да, дорога у нас будет с фейерверком, с треском... Если Горелый догадается выставить засаду.

А он, жеребец, как будто предчувствуя опасный путь, волнуется, шумно тянет воздух ноздрями, лоснящаяся шерсть его мелко вздрагивает, словно от озноба. Глумский между тем деловито вставляет ему в пасть, оттянув нежные губы, удила. Железо звякает о снежную кость, Справный дергается, ему не нравится металл, но председатель, успокаивающе ворча, застегивает удила кляпышком.

— Хорош!

Длинная, сухая морда жеребца вдруг как бы сама собой подбрасывается кверху. Глумский смеется. Первый раз слышу, как он смеется, — получается это у него неловко, неумело, смех напоминает кашель. Но Справному в отличие от глухарчан смех этот знаком, он как бы в ответ толкает Глумского мордой в плечо, пофыркивает. На какую-то секунду небритая щека председателя прижимается к атласно-блестящей скуле жеребца.

— Да, определенно признает, — сипло говорит Глумский и отстраняется. — Мы ведь казацкого роду, — поясняет он мне смущенно. — Лошадники.

Справный косит на нас длинным, в остром разрезе веком, глазом. Оглавль, уходящий под коротко остриженную челку на лбу, нащечные ремни, нахрапок — вся

уздечка плотно сидит на сухой красивой морде жеребца.

— В Ожине на чужие руки не оставляй, — повторяет председатель. — Уведут!

— Ладно.

— Уж если приспичит, ты ему дай плеткой по животу, — Глумский протягивает короткий хлыст. — Ну уж только держись! Озверееет!

Забираюсь в седло. Справный ходит подо мной из стороны в сторону. Небо еще чуть высветляется каким-то дальним заоблачным светом, но в лесу, наверно, совсем уже темно.

Только что Гнат принес записку для Варвары. Всего три слова: «Жди. Буду. Ясенек». Многозначительность Горелого нам понятна. «Ясенек» расспросил Сагайдачного. Теперь он твердо намерен захватить два бумажных мешка, по три миллиона в каждом, уничтожить при этом «ястребков» и победителем заехать в Глухарку: попрощаться, навести порядок...

— Серафима, — спрашиваю я, — что тебе привезти из Ожина?

Тон у меня такой бодрый, что самому противно. Пока Серафима обдумывает ответ, я достаю из тумбочки заветную коробку спичек и два индпакета, которые подарила мне в госпитале медсестра. Что еще можно подарить солдатику? Кто воевал, тот знает цену индпакету. Спички — за пазуху, индпакеты — в сидор, туда, где лежат три запасных диска к МГ и сотня патронов россыпью.

— Если б ты товарища Гупана привез в мешке, вот спасибо, — отвечает Серафима. — Я б ему, ироду, все бока цепом поотбивала. Из-за него все ночи глаз не смыкаю. К чему такое расстройство нервной системы на старость лет?

— Я думал, ты уже привыкла.

— Как же, привыкнешь! Только и делов, что молчишь, как будто мышью подавилась.

К дождю словно примешали чернил. С каждой каплей меркнет день. Ох и темнотища будет в лесу!

Прощанье коротко.

— Слушай, — говорю я Антонине. — А почему бы тебе пока, на время, не переехать к Глумскому? У них никого нет... детей... Тебе хорошо было бы!

— Нет!

Она обводит взглядом просторную и нескладную ма-занку, стол с глиняными львами и рыбами, печь, расписанную глухарским орнаментом.

По стеклу, дрожа, вычерчивая извилистые дорожки, бегут капли. От печи уютно веет теплом, уголья на поду освещают хату красным переливающимся светом.

— Я приеду завтра... Ты не волнуйся, если задержусь.

Она смотрит на меня. Осторожно касается лица прохладными кончиками пальцев. Это ее привычный жест. Она словно лепит меня. А может, запоминает осязанием?

На шее у Антонины бьется жилка. Мелко-мелко. Бьется там, где длинная прямая линия шеи вдруг переходит в плавную округленность маленького уха.

— Слушай, у тебя паспорт есть?

Дурацкий, конечно, вопрос. Ну какие в Глухарке паспорта?

— Получим в сельсовете твой паспорт, поедem в Ожин, — говорю я. — Чтоб все было как у людей...

Она кладет пальцы на мои губы, и я стихаю. В самом деле, уж больно становлюсь деловым. Она серьезно и внимательно смотрит на меня. Я утыкаюсь лицом в ее шею, чувствую губами пульсирующую жилку. Не хочу, чтобы она так внимательно рассматривала меня: догадается, что боюсь. Сейчас, рядом с Антониной, я начинаю бояться длинной и темной дороги. Чувствую, как много могу потерять!

— Пора... Мне пора!

Она отстраняется. Протягивает мне узелок со сниданком*. Я укладываю узелок в сидор.

— Не забудь, что Глумский очень хорошо к тебе относится... как к дочери! — говорю я, забрасывая сидор за спину.

Две лямки привычно ложатся на шинель, на плечи,

* Сниданок — завтрак (укр.).

где сохранились петельки от погон и потемневшие, давно не чищенные пуговицы со звездочками.

Лицо Антонины вдруг искажается, как у человека, сисящегося сделать глоток. Ей с трудом даются слова, будто она заново учится говорить:

— Я... буду... ждать...

Ухожу не оборачиваясь. В какой-то книжке, помнится, прочитал, что именно так поступают настоящие мужчины: они мучаются, заходятся от тоски, но глядят только вперед, ступают ровно и жестко.

Но, отойдя от хаты к воротам, где привязан Справный, я останавливаюсь и поворачиваюсь. Ну их к дьяволу, книжки! Мало ли кто как уходит в книжках. А мы с ней живые, такие, как есть, нечего нам себя придумывать.

Антонина замерла у тына, прямая, высокая, она стоит под дождем, и голова ее желтеет в сумерках, как августовский подсолнух.

6

глава



1

До леса я разрешаю Справному пройти легкой рысью. Пусть разогреется. Тяжелый сидор чувствительно постукивает по спине. В нем как-никак три сотни патронов.

Коленями я ощущаю, как мерно и ровно раздуваются бока жеребца.

Дорога уже не видна, остается только довериться Справному, его чутью. Он молниеносно выбрасывает каждое из своих подкованных копыт, определяя наперед, где оно опустится. В его узкой длинной голове спрятан хитрейший арифмометр.

Дождь летит в лицо, холодит щеки, ветер ровно гудит в дырчатом кожухе пулемета. В темноте только запахи, которыми густо насыщен влажный воздух, подсказывают, где я проезжаю. Вот тяжелый и гнилостный запах вянущей картофельной ботвы сменяется горькими ароматами жнивья... Въехали в яровой клин. Дальше — луг с высокой отавой, от него веет свежестью яснотки и ромашки. Лес надвигается неясной громадой. Еще за сто метров он предупреждает о себе запахами папоротника, крапивы и хвой.

294



глава

6

Справный влетает в лес как в глухую ночь. Ничего не видать, даже ушей жеребца, лишь ощущается давление двух стен из деревьев, близко подступивших к дороге. Стук копыт эхом гуляет справа налево и слева направо. Гулко в лесу. Наверно, за километр слышен конский топот.

Дорога входит в сосновый «предбанник», это я чувствую по тому, что над головой слегка светлеет и волна хвойного тепла выплескивается на нас со Справным. Он даже в дождь хранит тепло, наш знаменитый «предбанник».

Десять дней назад я лежал в этом соснячке, глядя в небо и наслаждаясь покоем и тишиной. Здесь пробежала, едва касаясь копытами земли, тонконогая, легкая косуля, и ее, как ножом, прирезали короткой точной очередью из «шмайсера». С этого все и началось для меня. Всего лишь десять дней тому!

Справный выносит меня в Шарую рощу. Здесь стоит гул — дождь бьет в жесткие листья, кажется, будто полчища жуков готовятся к отлету в темноте. Я пригибаюсь к прикрепленному к передней луке пулемету, чтобы не

295

хлестнуло в лицо шальной веткой. Шарая роща, Шарая роща... Черный, хищный, как птичья лапа, горелый дубовый сук, карканье черной зловещей птицы... Чуть похлопываю Справного хлыстом, совсем легонько. Жеребец с удовольствием прибавляет ходу. Он весь как будто вытягивается, и я представляю, как его острая морда, подавшись вперед, режет сейчас воздух.

Седло начинает прыгать подо мной, и сидор бьет по лопаткам равномерно, как трамбовочный молот.

Наконец-то Шарая роща с ее гулом уходит назад, отваливает, как льдина от речного берега. Мы несемся теперь по смешанному лесу, густому, пахнущему болотом и мятой. Неужели проскочим? Молодец, Справный. Жми, несись. Копыта жеребца равномерно отмахивают метры, дыхания его даже не слышно.

Кажется, что деревья, пропустив нас, смыкаются позади, как волны. Та-та-та-та — стучат копыта. Чах-чах-чах — отдает в лесу. Давай, Справный, давай...

Темнота густо смешана с влагой, она бьет в глаза, выжимает слезу. Азарт скачки овладевает мной. Боязнь ночного леса, выстрела в упор исчезает, азарт погоняет меня, а вместе со мной и Справного. Мы доскачем, Справный, мы им покажем — бывшему твоему хозяину и его друзьям. Мы им напомним и Абросимова, и Штебленка, и Кривендику, и Семеренкова... И тех безвестных, многих безвестных, мы тоже напомним.

Справный взлетает на пригорок, стук копыт вязнет в песке, но скорость бега остается прежней. На вершине пригорка веет теплом, а через минуту мы снова спускаемся в сырой и холодный лес. Здесь вокруг болота, и дорога идет по насыпи. Хлесть! — я на миг приподнялся, оторвался от луки, и ветка тут же сорвала с меня сержантскую фуражечку. Не удержал спущенный на подбородок ремешок. Но не останавливаться же! Ветром разметало волосы, смочило дождем, пригладило холодком. Ладно, черт с ней, с фуражкой. Глаза целы — и хорошо. Прорвемся, Справный, прорвемся!

Впереди из темноты, с середины дороги, раздается нестройно, в два голоса:

— Стой! Стой!

Значит, ждали все-таки... Ждали! Как будто дождем



под рубаху хлестнуло. Заморозило кожу до пупырышек, а рука уже сама по себе, не дожидаясь приказаний, бьет жеребца плетью под брюхо, у ног, по самому болючему.

Справного швыряет вперед, как снаряд «катюши» по рейкам. Тугой воздух ударяет в наклоненную голову. Слышно, как сзади, где-то далеко, шлепаются о землю комя вывороченной копытами земли.

— Стой! — это сбоку, справа и слева, из темноты, из дождя, из деревьев.

— Стой! — это уже за спиной, хрипло и испуганно, из-под града земляных ошметков.

Они чуть подрастерялись, проворонили несколько секунд, а несколько секунд для меня сейчас целая жизнь.

Та-та-та-та... Сзади, из «шмайсера». Очередь рвет воздух возле уха, свистит. Та-та-та-та... Из другого автомата. Высоко, по листе, по сучьям. А копыта: тах-та-та-тах, тах-та-та-тах... А дорога — в спасительный поворот. Я ощущаю его по легкому наклону Справного, облегчаю ему поворот, чуть свешиваюсь с седла.

Сзади та-та-та-та вперебой, длинно, из двух автоматов. Копыта — тах-та-тах...

Снова две длинные очереди, до пределов обоймы, до упора подавателя в затвор. Поздно, поздно! Справный ушел за деревья, пули щиплют щепу, щелкают о сучья. Седло прыгает подо мной, воздух давит холодом голову, закладывает уши. Дорога снова выпрямляется.

Справный все еще взбешен коварным ударом плети, он зажимает зубами железные удила, сейчас его ничем не остановишь, пока не пристанет. Не так далеко уже и до Инши, река сдержит коня.

И снова:

— Стой!

Сколько же их рассыпалось по дороге?.. Голос грубый, граммофонный. Ну давай, Справный. Рвись! Еще разок! Плетью — по низу. Они выставили на шляхе двойную засаду. Выстроили дубль. Рвись, Справный!

И вдруг слева резкий, фальцетом, вскрик:

— Справный!

И свист. В два пальца, с высокой ноты на низкую, по-особому. И опять визгливо:

— Справный!

Это Горелый. Человек с обожженной щекой и вы-

соким, как будто сорванным, голосом. Копыта жеребца вдруг идут юзом по мокрой земле, он упирается ими. Он останавливает бег!

Чувствую, как натягивается правый повод. Жеребец выворачивает голову к той стороне дороги, откуда раздался окрик.

— Справный! — остро и резко звучит фальцет в лесу. И снова свист с медленным затуханием.

Справный помнит своего бывшего хозяина! А, черт! Он помнит сахар, руки, свист, голос. Бросаю на миг поводья, чтобы обмануть жеребца. Ну, отпусти удила. Рву правый повод — резко, чтобы причинить боль, заставить жеребца забыть о голосе, призывном свисте. Пусть порвет губу. До крови. Я плохой хозяин. Жесток. Но пусть хоть боль заставит Справного забыть о добрых ладонях и сахаре.

Жеребец держит удила, как в клещах. Он прислушивается к лесу, он медленно шагает по дороге. О, черт, я теряю спасительные секунды!

Мы не подумали об этом — о том, что Справный может до сих пор помнить Горелого. Может до сих пор любить!

— Справный! — на этот раз радостно, особенно визгливо!

Справный останавливается. Я снова повторяю свой маневр, бью плетью под живот. Удила наконец высвобождаются от хватки зубов, я рву поводья, режу губу. Скачи, Справный, уходи, не верь своей памяти, не верь тем ладоням!

Но жеребец, вместо того чтобы рвануться вперед, взвизгивает на дыбы и ржет. Громко, призывно ржет. Он жалуется на мою жестокость, на удила, разрезавшие нежную губу, на хлыст, он зовет своего бывшего доброго хозяина, зовет того, кто никогда не бил его и не рвал, хитря, удила на сторону.

Я едва не скатываюсь с седла. Держусь за пулемет, чтобы удержаться. Ноги упираются в донца стремян, чувствую, как натянулись путлища. Вот-вот упаду. Что ж ты делаешь, Справный? Не стой на месте, не стой! Вперед, ну!

Оттуда, где звучал призывный голос и свист, бьет автомат.

Пламя чуть высветляет ветки в стороне от доро-

ги. Будто там примус разжигают, в лесу. Все! Это все...

Справный, рванись вперед! Горелый стреляет на твое ржанье, ты слишком крупная мишень, чтобы он не попал. Пока пули прошли стороной. Еще секунда у нас есть, ну! Я бью его хлыстом, он вертится, переступает с ноги на ногу и ржет. Это не ржанье, а крик боли и досады. Снова очередь.

Ах ты ж, Справный, что ты наделал, дурак!.. Коленями, икрами, лодыжками, всей внутренней поверхностью ног, сжавших с обеих сторон круп жеребца, я чувствую, как вздрагивает лошадь под строчкой пуль. Слышу глухое чваканье. Все. Рву карабинчик, высвобождая МГ. Справный хрипит. Ему прошили весь левый бок. Он заваливается.

2

Так и не успев снять пулемет, я прыгаю в темноту, стремительно перебросившись через седло. Лишь бы не попасть под Справного!

Коснувшись земли, тут же громко кричу от боли. Нога! Досталась ей одна из пуль. На крик снова стреляют с той стороны дороги. На этот раз в два автомата. Огоньки пульсируют между деревьями, я вижу короткие начальные трассы пуль, вылетающих из стволов. Но Справный, завалиясь на бок, заслонил меня своим телом. На этот раз он спасает меня, принимает обе очереди. Хрипит. Копыто его, дернувшись, больно бьет меня по другой, здоровой ноге. Сдерживаю крик.

Там, где лежит Справный, что-то переливается, булькает и мягко-мягко хлопает. Я знаю, что это хлопает. Кровавые пузыри на губах агонизирующего Справного.

На дороге слышны голоса. Это приближаются бандиты из первой засады, неудачно обстрелявшие меня на ходу. Я подползаю к жеребцу. Он уже не бьется, только пускает пузыри. Здорово досталось Справному, недолго ему мучиться.

Я нащупываю седло, переднюю луку. Пулемета нет. Только обрывки крепкого двойного шпагата попадают в мои пальцы да прохладный железный карабинчик. Видно, МГ при падении жеребца ударился о землю, веревка не выдержала, и пулемет отлетел в сторону. Я ша-

рю по мокрой склизкой земле, ворошу листья. Пальцы хватают только жижу. Спокойно, говорю я себе, без паники!

Бандиты из первого кордона уже в двухстах-трехстах метрах.

— Ну, чего там? — кричат они. — Тоже упустили?

Горелый и его сообщник с граммофонным голосом не отвечают. Видимо, прислушиваются. Спокойно, говорю я себе, без паники. Есть еще несколько секунд. Они тоже не полезут в темноту наобум. Сначала окружают то место, где упал Справный, чтобы взять меня живьем или добить наверняка, в упор.

Горелый молча ждет подкрепления. Осторожно шарю по земле. Пулемет исчез. Диски в сидоре на моей спине превратились в бесполезный груз. Ну ладно, что же... Две гранаты — этого хватит, чтобы причинить бандерам неприятности. Хотя одного-то укокошу. Даже если они окружают меня и не дадут времени для второго броска, все-таки одну гранату я брошу и, надеюсь, не промахнусь. А зубы стучат мелкой дрожью, и сердце бьется бешено. Страшно помирать в темном лесу. Ох как страшно!

Я нащупываю гранаты: ребристую шестисотграммовую «феньку» и легкую, с гладкими боками РГ-42 — «бочонок». РГ откладываю. Это для себя. А вот «феньку» надо бросить. Ее осколки разлетаются на двести метров. Ее положено бросать только из-за укрытия. Сейчас это не имеет значения. Да и в группе Дубова «феньки» бросали из любых позиций, надеясь, что «свой» осколок не тронет.

В левый сапог точно грелку положили. В нем склизко стало. Но сейчас нечего об этом думать. Кровь не успеет вытечь.

— Шуко! — кричит Горелый. Ну и визгливый у него голос. Как можно подчиняться человеку с таким голосом? — Шуко и Семенко! Зайдите на тот бок шляха, там «ястребок» где-то валяется.

Сам Горелый остается на месте. Он не хочет рисковать накануне решающей операции. Вот гад! Кому ты поверил, Справный, глупый конь? Обманули тебя! И меня ты подвел. Я стараюсь успокоиться, стискиваю зубы.

Прислушиваюсь. Осторожно чвакают сапоги по мокрой земле. Шуко и Семенко идут не спеша. Они же знают про миллионы и тоже не хотят рисковать. Мил-

лионы для них сейчас — это воля, свобода, сытая жизнь, спокойствие.

Ничего, Глумский завтра утром вас успокоит. Его не проведешь, как Справного, воспоминанием о сахаре.

Чвак-чвак. Через некоторое время опять: чвак-чвак. Идут осторожно, не разговаривают. Все притихли. И тут до меня доносится со стороны обочины позванивание. Едва слышное, слабое-слабое. Как будто кто-то тихонько бьет пальцем по пластинкам ксилофона. Это утяжеленные дождевые капли, скатываясь с листьев, стучат о металл. О металл!

Я отползаю туда, где так тихо и нежно позванивает. И нащупываю ствол своего МГ! В раструб пламегасителя набралась земля, я счищаю ее пальцем. Сердце бьется радостными толчками. Пулемет со мной!

Чвак-чвак... В сапоге — сотня градусов, он горит изнутри, под кирзой уже не грелка, а свежие угольки с костра. Но не стоит сейчас думать о ноге.

Эх, Антоша, не думал я, что так получится. Одна надежда — забудешь со временем. Забудешь, переболеешь, жизнь возьмет свое.

Чвак-чвак... Идите, идите. Вот черт, пальцы трясутся. На фронте не было так страшно. Там я никогда не чувствовал себя одиноким. Осторожно снимаю сошки с держателя. Постой, Иван Капелюх, спокойно. Не спеши. Что ты хватаешься за МГ, как будто в нем спасение? В нем и смерть твоя. Срежешь одного из них в темноте, а остальные махнут гранатой. С пулеметом ночью не повоюешь. Ты постарайся уцелеть, Иван Капелюх, сын мамы Изабеллы, внук бабки Серафимы, ты покрути шариками, расшевели их как следует! Уйми дрожь, успокой пальцы, продуй мозги.

Чвак-чвак... Чвак-чвак...

Если притаиться неподалеку, выждать утра и сбегать силы, то можно нанести неожиданный удар по бандитах. Ведь они здесь, наверно, будут ждать «транспорт с деньгами». Вот тут-то МГ сможет сделать настоящую работу. Утром он станет зрячим. Ну как, Капелюх? Да, надо уползать. Уползти, затаиться, перевязать ногу, чтоб не истечь кровью, и дожидаться утра. Да, да!

Я с трудом подтягиваюсь к раненой ноге и пытаюсь снять сапог. Резко, ножом, бьет по нервам. Возбуждение, которое сняло первую вспышку боли, уже прошло.

За голенищем того же сапога нащупываю финку. Вставляю ее острием под кирзу, жму. Голенище натягивается, давит на рану. Ох и тошно!.. Надрежаю кирзу.

Чвак-чвак. Метрах в пятидесяти-шестидесяти. Стаскиваю сапог. Стряхиваю кровь на землю. Кажется, она еще не успела загустеть. Пусть остается лужей! Сапог закладываю голенищем за ремень. Пригодится. А главное, им не надо знать, куда меня ранило.

Дотрагиваюсь до ноги. Рана сквозная, в голени, почти посредине, наверно, задело кость. Авось не перебило. Сверху голень твердая, прочная. Спокойно, говорю я себе, когда пальцы ощупывают края выходного отверстия. Там липко... Спокойно, это всего лишь дырка. И не где-нибудь, а в ноге. Самое обыкновенное сквозное пулевое ранение. Как говорят врачи, вульгарис. Спокойно, спокойно!

Кровь не бьет толчками ни из входного, ни из выходного отверстий. Значит, сосуды не перебиты. Но все-таки ее надо беречь, кровь. Обрывком шпагата перетягиваю ногу чуть ниже колена. Пока сойдет.

Чвак-чвак!

Шаги приблизились. Сую в карман окровавленную портянку. Тихонько, отводя сучья, чтобы не хрустнули, ползу в лес. Цепляюсь левой рукой за траву, за мох, подтягиваю раненую ногу и, отталкиваясь здоровой, медленно переносу тело. МГ в правой руке. Хорошо, что идет дождь! Земля мягкая, веточки влажные и гибкие, я ползу, как по перине, бесшумно.

Чвак-чвак.

Это на дороге. Но я уже метров на десять углубился в лес. Уже на десять с половиной. На одиннадцать!.. Папоротник стряхивает на голову крупные капли. Они приятно холодят. В перетянутой шпагатом ноге стучит, пульсирует, шатуном ходит боль. Это ничего. Перетерпим. Двенадцать с половиной метров. Мох, мокрый мох. Он выручает, гасит все звуки. Одно плохо — мох впитал дождевые капли, нет ни одной колдобинки, где скопилась бы вода. Пить хочется нестерпимо. Это рана и испуг выжали из меня всю влагу. Тело потное. Даже шинель прилипла к лопаткам.

Дыхание становится неровным и оглушительно громким. Оно начинает напоминать паровозный сип. Так, во всяком случае, мне кажется.

На дороге голоса.

— Старшой! — зовет бас. — Тут конь... Больше нема никого!

Старшой — это, надо полагать, сам вожак, Горелый. Пока они изучают дорогу, отползаю еще дальше. Нащупываю толстый сосновый ствол, укладываюсь за ним. Все-таки защита. Приклад у МГ влажный, холодный. Я слизываю с него крупные капли. Вода пахнет маслом, жирнит губы. Будут они меня искать или бросят?

— Зажги фонарик, Семенко! — приказывает Горелый. — А вы встаньте по сторонам, наготове. Рассредоточьтесь!

Вот как, у них и фонарик. Неплохо экипируют бандитов в УРе. Я проверяю, плотно ли сидит диск, не погнуло ли его при падении пулемета. Кажется, все в порядке. Если один из них, тот, что с фонариком — как его, Семенко? — наткнется на меня, недолго он будет светить. Что ж, Семенко так Семенко. Все же Глумскому будет завтра полегче.

Страшно. Но зубы больше не выбивают дробь. И мысли стали яснее, четче. Значит, свылся с обстановочкой. Привычка — первый враг страха. На войне всем боязно. Важно, кто быстрее привыкнет.

3

Фонарик у бандита никак не хочет загораться. Я отползаю еще на несколько метров к новой сосне. С потревоженной ветки на МГ россыпью падают крупные капли. Ощущение такое, будто на весь лес ударили в барабан.

На дороге вспыхивает клинышек света, сквозь туманный воздух он кажется мутным и слабым. Вот бы они все собрались к этому клинышку! Но Горелый не дурак. Он остается в темноте. И те двое тоже. Впереди, с фонариком, лишь Семенко. Почему бандюг только четверо? Двое, наверно, занимают иной пост.

В ногу стучит, ухает.

Клинышек света ходит из стороны в сторону. Серая невнятная масса возникает в луче. Вдруг в этой массе вспыхивает фиолетовый огонек, как будто драгоценный камень светится. Это мертвый глаз Справного попал под луч фонарика. Глупый, глупый конь...

— Кровищи натекло! — кричит Семенко.

Голос у него молодой, напуганный, чуть вибрирующий. Наверно, совсем еще мальцом подался к Горелому в полицаи, соблазнила его легкая жизнь.

— А ты что ж думал, лошадь соляркой заправлена? — спрашивает бас. И хохочет, не дожидаясь ответа. Смех нарочитый. Он сам себя подбадривает, бас. Лесные люди, они боятся темного молчаливого леса! Им, оказывается, тоже страшно.

— Это не лошадиная кровь, это с него натекло, в сторонке, — отвечает юный Семенко. — Целая лужа!

Значит, наткнулся на то место, где я снимал сапог. Но лужи там не могло быть. Семенко преувеличивает.

— Вот и иди по следу, — приказывает ему Горелый. — А мы рядом, цепью.

Пудобней устанавливаю МГ. Дулом к светлому клинышку. Эх ты, Семенко, балбес — тебя, как Справного, подведут под огонь. Стаскиваю сидор и трясую ближнюю сосенку. Все равно на дороге разговаривают. Подставляю под ветви сидор с промятой посредине ямкой. По брезенту стучат капли, сбегая в ложбинку. Я вылизываю ее. Глотка на полтора набралось воды. Хоть напиться перед смертью. Главное — не думать теперь о том, что остается после тебя в этом мире. Об Антонине не думать. Пулемет, гранаты — вот и все твои заботы теперь.

— А чего идти? — спрашивает Семенко. — Тут с него полведра вытекло. Куда он уйдет? Пополз сдыхать!

Это он, конечно, сильно преувеличивает. В его интересах преувеличивать.

— Ищи, где след! — приказывает Горелый, как псу.

Он небось за деревом стоит, атаман. Прячется.

— Вот вроде примято! — говорит Семенко, и я вижу, как свет фонарика сходит с дороги и чуть-чуть приближается ко мне.

— Давай-давай! — Это бас.

Клинышек света становится меньше, уже. Семенко нагибается, рассматривает мох.

— Опять лужа! — говорит он торжествующе. — Кровищи!

Врет он... Пусть врет!

— Давай-давай! — оживляется Горелый. — Ищи... Не мог я его не подцепить!

— Старшой не упустит! — лстиво отзывается бас.

Они чуть осмелели, разговаривают во весь голос, хрустят ветками, шутят. Две кровавые лужи — они хорошо знают, что это значит.

Фонарик приближается еще на несколько метров. Ну, иди-иди, Семенко, к своей судьбе. В ноге ухает без конца. Ладно, недолго терпеть. Иди, Семенко. Прыгает клинышек света. Дергается туда-сюда.

— А ловко ты его, Старшой! — звучит повеселевший бас. — В темноте-то!

— Не нахваливай. Сами-то промазали! — и Горелый добавляет довольно сложное, с переходами, ругательство. Странно это, когда ругаются фальцетом. Особенно мерзостно.

Фонарик приближается на полтора-два метра. Еще немного, и свет его начнет доставать до сосны, за которой я лежу.

— Ищи, ищи, Семенко!

Ветка над головой чуть высветляется. Видно, как на ней подрагивают белые, словно жемчужинки, капли. Я прикипаю к земле, прячусь за ствол. Вдруг фонарик гаснет. Снова темень.

— Ну чего? — визжит Горелый.

— Лампочка, что ли, — сконфуженно отвечает Семенко. Щелкает металлическая крышка фонарика, что-то тяжело падает на землю — это, видимо, Семенко выпустил из рук автомат, возясь с фонариком.

— Какая там лампочка? — спрашивает Горелый. — Ты это брось... Брых, пойдй посмотри, что там?

Теперь я их всех знаю по именам или кличкам: Горелый, Брых, Семенко и Щуко. Ладно, будем знакомы.

— И впрямь не горит, — откликается после некоторой паузы Брых. — Не работает!

Молодец, Семенко. Не так-то ты прост. Соображаешь.

— А ну его к черту, «ястребка», — басит Щуко. — За ночь подохнет. Что мы будем по темноте лазить? Раз кровяшка выхлестала, значит ты ему в бок врезал, Старшой. Все правильно!

Горелый молчит. Неподалеку шепчутся Брых и Семенко.

— А у тебя запасной нет?

— Откуда? Последняя.

— Вот черт.

Семенко сопит. Волнуется. Что он там сделал с лампочкой? Выкрутил, наверно, стеклянную головку из цоколя.

— Ладно, — говорит Горелый после некоторого размышления. — Дайте-ка по лесу напоследок.

Четыре огня вспыхивают передо мной. Бьются, дрожат, плюются короткими трассерами. Лес весь грохочет. С сосны на голову падают куски коры, хвоя. Дерево прикрывает меня от пуль.

Грохот разом обрывается. Едкой гарью пахнет в лесу. Ух, лопатки снова стали мокрыми. Кажется, весь был выжат, как жмых после пресса, а струйки пота снова стекают по бокам. Расшатывают они мне нервную систему, сволочи.

— Пошли уберем коня, — говорит Горелый. — Чтоб не валялся на дороге.

Ух!.. Я вздыхаю облегченно. Будем жить! Теперь можно заняться ногой.

Слышно, как они пыхтят и кряхтят на дороге, оттаскивая в сторону Справного. Я вытираю пальцы мокрым мхом и разрываю зубами оболочку индпакета. Здесь бинт, салфетка и два тампона. Прикладываю тампоны к входному и выходному отверстиям. Почему это человек не может привыкнуть к боли?.. Стягиваю ногу бинтом. Теперь разрезаю тугую бечевку. Чувствую, как по всем сосудам кровь возвращается в онемевшую ногу.

Поверх перевязки, как онучу, наматываю портянку, чтоб не мерзла нога. Вот когда снова бечевочка пригодилась.

На шляхе вспыхивает огонек сигарки. Видно, отволокли лошадь за кювет и прикрыли ветвями. Работа сделана.

— Ну что, пойдём? — спрашивает бас.

— А Глузд?

— Пошли. Глузд и Миней подойдут к Инше, — отвечает Горелый.

Значит, они не собираются устраивать засаду здесь! Это был временный кордон, а настоящая засада будет возле Инши, у реки. Сапоги топчут по дороге... Они уходят! Оставляют меня подыхать. Дать очередь вслед? Э, нет. Глупости, Капелюх. В самом деле, нервишки рас-

шатались. Дождаться Глумского! Предупредить! Дождать до рассвета!

Впрочем, что предупреждать? Они и так знают, что их ждет засада. Глумский уже не свернет. Мне надо ползти за бандитами к Инше, вот что... Если смогу добраться до места засады и затаюсь там поблизости, то утром, во время боя, МГ окажется в тылу у бандитов. Лучшей помощи Глумскому не оказать. Надо постараться, Капелюх!

4

Я закидываю сидор за спину. Поверх сидора, на плечах, — пулемет. Выползаю к дороге. Когда переваливаю через небольшой кювет, пальцы попадают в грязь. Лужа!

Я спиваю слой воды, скопившейся поверх грязи. Вкус ее горьковатый, видать, настоялась на осеннем листе. В армии мы всегда носили фляги. А вот сегодня я дал промашку. Не хотелось в этот дождливый день брать с собой воду.

Лакаю как пес. Вода приятно булькает и холодит тело изнутри. На лбу появляется испарина. Хватит пить. А то ослабею, изойду потом... Нет, рана в ноге — хорошая рана. Вот «животнику» не пришлось бы попить. «Животнику» питье как яд.

Лежу в мокром кювете и отдыхаю. До Инши дальний путь, километра, должно быть, три. Пешком пройти — суший пустяк.

Снова медленно ползу по дороге, останавливаюсь, прислушиваюсь. Почему-то наибольшие мучения доставляет теперь не нога, а шея. Трудно держать голову на весу. Каждый позвонок звенит от боли. Чтобы боль стихла, я все чаще ложусь на спину. Это не простая процедура — приходится снимать МГ и сидор. Зато, как только затылок погружается в мягкую холодную землю, сознание становится чище, яснее. Руки и ноги разбросаны на дороге. В лицо, в глаза падает мелкий дождь. Кажется, будто плывешь в темноте.

Можно было бы попробовать доковылять до реки с помощью палки, но я боюсь разбередить рану, боюсь кровотечения.

Еще метров сто. Чувствую, немеют сбитые и исца-

рапанные пальцы. Прячу их под шинель, отогреваю. Пусть понежатся там. Дрожащие, неповоротливые, «тупые» пальцы пулеметчику ни к чему. Пулеметчик, как пианист или скрипач, пуще всего должен беречь руки. Ноги — это не так важно. Шарифетжанов, которого Дубов оставил прикрывать отход группы под Мерейфой, полчаса сдерживал немцев. Как потом выяснилось, с перебитыми ногами...

Проползаю еще немного. Каждый выброс руки и ноги, каждый «рывок» — это сантиметров тридцать. На счет триста я отдыхаю.

Жалко, что нет часов. Были у меня когда-то карманные, трофейные, штамповка, да кто-то в госпитале приделал к ним ножки. Звезд не видно, так что о времени трудно судить. Еще не очень поздно, до петухов далеко, но от кромешной тьмы, от неумолчного звона дождя кажется, что ночь длится бесконечно и вот-вот исчерпает свой срок.

Позади метров четыреста. Руки и ноги становятся вялыми, перед глазами ходят светлые круги. Надо отдыхать чаще, решаю я. Время еще есть, ни к чему спешить.

Вдруг как кипятком из чайника — а в ту ли сторону ползу? Что, если задурманенная голова заставила меня повернуть не к Инше, а обратно, к Глухарке?

Ночь, вокруг ночь. Протяни руку — и ухватишь кусок плотной тьмы. Если бы не дорога, я мог бы кружить по лесу, вертеться вокруг себя, как собака, старающаяся поймать собственный хвост. Ночь, ночь, мелкие капли дождя, сеющиеся с неба, — и больше ничего. Если бы проступили звезды!

Ногу приливами и отливами пилит нудная боль — как будто кто-то продел сквозь рану струну и водит ею туда-сюда. Но самое неприятное еще только начинается — озноб. Он пока легонько пощипывает изнутри, то уголек положит под кожу, то ледышку. После любого ранения начинается озноб. Он выматывает, злит, заставляет нервничать, медленно, как жук-древоточец, истончает волю. Я видел в госпитале, что он проделывает с ранеными. Здоровые повоевавшие мужики, неробкого десятка, рыдали навзрыд, будто загодя себя хоронили, капризничали, паниковали, озноб похозяйничал в их мозгу, все переставил с места на место.

Стаскиваю сидор и достаю припасы, которые дала

мне Антонина. С трудом развязываю края хустки: пальцы задубели. Краюха ржаного хлеба, сало с желтой коркой, огурец. «Чумацкий набор». Есть не хочется, но я медленно жую. У сала почему-то дегтярный привкус, оно так и норовит выскользнуть. Ешь! Ешь! Пока что это единственное лекарство от озноба, от слабости, дрожи в суставах.

Во рту пересохло. Язык как шабер. Ржаная корка — перекошенным патроном — ни назад, ни вперед. Выручай, огурец. Толстокожий, крепкий, бугорчатый. Он хрустит на зубах, щедро льет холодную влагу. Я жую, уткнувшись лбом в согнутую руку, прислушиваясь одним ухом к монотонному звону дождя.

Темнотища. Стоит закрыть глаза, как голова начинает кружиться. Куда ползу? Где Инша, где Глухарка? Дорога бродит из стороны в сторону, словно стрелка испорченного компаса, — то на запад повернет, то на восток. Она вертится, дорога, без всякого скрипа вертится, хорошо смазанная дождем.

Важно не изменять положения, когда останавливаешься для отдыха. Голова всегда должна указывать на Иншу. И еще надо держаться поближе к кювету, чтобы можно было проверить, не пополз ли нечаянно перевернувшись, не повернул ли.

Я жую, вбиваю в себя калории насильно, как будто банником загоняю в ствол. Хорошо еще, что изрезанные кишки молчат, жернова не крутятся, осколки не играют в чехарду. Две боли разом не вмещаются в человеческом теле, одна, более сильная, всегда перешибает другую.

Струна туда-сюда ходит сквозь ногу, цепляет края раны, берedit кость. Не меняя положения — головой к Ожину, к реке Инше, — подтягиваю раненую ногу, на ощупь проверяю повязку под самодельной онучей. Бинт промок лишь слегка. Значит, все в порядке.

Легкий металлический звон раздается на дороге. Что это? Бубенцы? Или коровье болтало? Приподнимаю голову, прислушиваясь... А... Это позванивают в сидоре, заброшенном за спину, патроны. Значит, меня трясет озноб. Надо ползти. Шинель промокла насквозь, мне нужно двигаться, двигаться. Я поправляю МГ, сползший к шее, и выбрасываю вперед руку.

Следующую сотню метров проползаю с несколькими

остановками. На это уходит около часа. Так, по крайней мере, мне кажется. Время сейчас течет совсем по-другому, за ним не уследить. Оно разбилось на мельчайшие частицы, словно на дождевики, и сочится с черного неба. Ясно: если дело и дальше пойдет так, мне не добраться до Инши. Нужно сделать решительный маршбросок.

Сползаю в кювет. Где-то неподалеку испуганно вскрикивает неясность. Ладно, кричи. Горелый не услышит, далеко ушел. Нащупываю ствол небольшой березки, растущей на взгорке. Главное — срезать ее так, чтобы все время быть головой к Инше, не поворачиваться.

Финским ножом подрезаю березку у самой земли, там, где толстые сучки. Пальцы сильно зябнут. Зябнут, хотя они все время в работе. Отогреваю их под шинелью, но финка все равно сидит в руке некрепко. Счищаю с березки все ветки, оставив только нижний крепкий сучок. С ним мой «костыль» будет удобнее упираться под мышку. Выдержи, нога. Не подведи!

Но в какой стороне дорога? Пока я крутился возле березки, потерял ориентировку. Куда ползти? Сердце выстукивает тревожную дробь. А, была не была. Достая из-за пазухи коробок спичек, чиркаю. Слабый огонек высвечивает в трех-четыре метра край кювета. Все ясно: Инша справа, Глухарка слева.

Выбираюсь на дорогу. Теперь можно попробовать встать. Страшновато! Не забыть, главное, все время быть лицом к Инше. Не поворачиваться.

Понедобнее устраиваю на спине МГ. Ноги трясутся. Опираясь на палку, приподнимаюсь. Стою. Пошатаюсь, но стою! Осторожно переношу тяжесть тела на раненую ногу. Патроны в сидоре мелко-мелко позванивают. Струна в ране — это уже не струна, а ножовка, даже двуручная пила, она бешено ходит туда-сюда. Но нога держит. Крепка еще кость.

Делаю шаг, помогая больной ноге костылем. Теперь главное — идти вперед, сколько хватит сил, не останавливаясь. Опять мучает жажда, но для того, чтобы напиться из лужи, нужно лечь, а я боюсь расслабиться. Надо шагать, шагать! Пусть шажки мелкие, но все же это ходьба, а не беспомощное ползание.

Прыгаю по шляху, как ворона с подбитыми крыльями. Сердце колотится, полы мокрой шинели бьют под

коленки, как будто норовят сшибить на землю, губы спеклись. Да, маловато в тебе силенок, Капелюх. Мина-«лягушка», изобретение немецкого технического гения, выпила из тебя соки.

Но ничего. Допрыгаем. Доковыляем. Хотели добить меня, фашисты? От злости начинаю скакать метровыми прыжками. И оступаюсь. Лежу на песчаном шляхе, дышу часто, как кролик. Дождь льет за ворот, капли ползут вглубь.

5

Дорога идет вниз! Скоро река. Сидор и МГ начинают подталкивать в спину. В груди бухает, как в колокол.

Ковыляю в сторону, в кювет, и сажусь, точнее, плюхаюсь задом на песок. Разбросав поги, опираюсь о сидор как о спинку сиденья.

Нога плавится и горит, горит и плавится. Наверно, опять кровь пошла. Но нет сил нагнуться и перебинтовать.

Прислушиваюсь. Над головой, высоко-высоко, легкое гудение. Так гудят только сосны. Стараюсь вспомнить, как выглядит берег реки в том месте, где шлях спускается к броду через Иншу.

Сейчас я в сосновом бору. Деревья здесь рослые, хвоя у них только на макушке — легкими зелеными облачками, приклеившимися к стволам. Сейчас эти невидимые в темноте гудящие облака роняют крупные, тяжелые капли.

Бор, вспоминаю я, обрывается метрах в трехстах от реки. Дальше — открытая влажная пойма, заливные луга, поросшие высоким мятликом и конским щавелем. У воды — кустарник, островки которого пунктиром тянутся по кромке берега. Ольха, верба. Что там еще, на берегу? Голова мутная, ленивая. Позванивают патроны в сидоре, и шинель, выгретая изнутри во время ходьбы, начинает липнуть к спине холодным мокрым компрессом. Хотя ночь еще не забелилась, ни одного светлого клочка над головой, я чувствую, что до рассвета не так уж далеко.

Что же еще на берегу? Справа, метрах в ста от до-

роги, песчаный холм, он как крепостная башня поднимается над поймой, и вода плещется у его основания.

Горелый со своими бандюгами затаится где-нибудь поблизости, в кустарнике, чтобы встретить наших около реки. Удобное место для засады. Вперед пути нет, а телегу быстро не развернешь на песчаной дороге.

Правда, Горелый может перейти бродом на ту сторону и напасть на «ястребков», когда они будут выходить из воды. Это хуже. Это совсем плохо. Как мне перебраться через реку?

Шинель леденит спину. Патроны звенят, как медяки в пригоршне. Хочется пить. Жуя обшлаг шинели зубами, выжимаю из него воду. Она пахнет сукном, машиной. Что представляет тот берег? Песок. Большая пологая полоса песка. Там летом до войны останавливалась газогенераторная «летучка». Шофер подливал воду, а пассажиры загорали на желтом, прогретом солнцем пляже... Редкие кустики прибрежной лозы. Лес — в полукилометре, где начинается гать. Берег открыт, не очень хорош для внезапного нападения. Скорее всего Горелый затаится у холма.

Холм!.. Пулемет на такой высоте — царь и бог. Гранатой не достанешь, автоматами не подавишь. Догадается ли Горелый послать на высоту хотя бы одного автоматчика?

Я оставляю березовый костыль. Сейчас он мне уже не нужен. Дальше надо пробираться бесшумно.

Ползу по сухому песчаному кювету. Здесь не так будут заметны следы, как на дороге. Надеяться, что дождь все смое, нельзя. Дождь мелкий, а рассвет, возможно, уже доспевает за горизонтом, вот-вот взойдет, как опара.

Кювет весь в старых хвойных иглах. Они впиваются в пальцы, в мякоть ладони. То и дело останавливаюсь. Тихо. Только бы на холме не было никого.

Слой иголок на дне кювета кончается. Сверху уже не падают тяжелые, крепкие капли, пахнущие хвоей. Глухой шум над головой исчезает. Дорога вошла в пойму, в луга. Проползаю еще немного вниз по круто спускающемуся кювету. Края его стали скользкими — глина. Скоро я смогу напиться.

Снова останавливаюсь и слушаю. Мягко, едва слышно шелестит в траве дождь.

Кажется, я различаю, как шумит Инша. Брод: там мелко, течение быстрое. Через этот брод я переправлялся на сноповозке кривого старикашки. Совсем недавно.

Чуть-чуть продвигаюсь вперед. Нет, это не журчанье реки, это человеческий говор. Люди тихо переговариваются между собой. Бандиты! Да, да, кто ж еще? Мне везет! Не зря полз на брюхе и скакал по песчаному шляху, как сорвавшееся с огорода пугало. Они на этом берегу, под холмом!

Будь осторожен! В такую мокрую безветренную ночь звуки скажут, как водомерки по гладкой воде. Я выкарабкиваюсь из кювета и, волоча МГ, забираюсь вправо от дороги. Ползу по высокой траве. Это не отава, а весенняя, присохшая уже, застекленевшая трава. Пропадает луг.

Лицо утыкается в жесткие острые стебли. Осока! Оставляю МГ и чуть проползаю вперед. Так и есть, бочажок. Вода в нем чистая и холодная, пахнет родниковой свежестью. Сбившееся дыхание не дает напиться досыта, я спешу, не в силах сдержать себя, погружаю губы в воду и тут же захлебываюсь. Кашель, кажется, готов разорвать легкие!

Я хожу ходуном, зажимаю рот ладонью, душу себя. Только бы не выдаться Горелому, не открыться!

Чувствую, как глаза, налившиеся слезами, вылезают из орбит. Вот-вот взорвусь, разлечусь на части.

Успеваю — уже в каких-то конвульсиях — сбросить с плеча сидор, натянуть на голову шинель и, упав лицом в осоку, откашливаюсь. Потом долго прислушиваюсь к ночи. Из глаз катятся слезы удушья. Оказывается, можно считать себя бывалым солдатом и совершать такие грубые промахи!

Близится конец ночи. Какая-то световая передвижка ощущается в ней. Ни одного просвета нигде, но темнота чуть-чуть подлинняла, стала пожиже. Надо спешить.

Возвращаюсь к МГ. Здесь он, в трех шагах. Но куда ползти? Пока я вертелся у бочажка, «потерял» Иншу. Стой! Ведь пулемет лежит по ходу движения, стволом вперед. Он указывает на холм.

По песку медленно взбираюсь вверх. Чуть обрисовываются контуры холма. Как матовое стекло, начинает светлеть небо.

Снизу доносится негромкий говорок. Такой мирный, неторопливый, дружелюбный. Словно у пастухов в ночном.

Наконец — чувствуется по легкому утреннему ветерку, обдувающему лицо, — вершинка! Здесь растут невысокие березки и сосенки. Это я слышу по характерным дождевым звукам. В березовые листья капли бьют дробно и звучно, а в сосновой, низко расположенной хвое шипят, как в свежем кострище.

На всякий случай достаю нож. Прислушиваюсь. Кажется, на вершинке никого нет. Отползаю чуть в сторону, прощупываю, прослушиваю все пространство вокруг, держа нож наготове. Страх снова возвращается. В рукопашной всегда страшно.

Кажется, никого нет. Пусто! Позволяю себе немного полежать на земле. Главное сейчас — не расслабиться, не поддаться ложной мысли, что цель достигнута.

Сначала перебинтовываю ногу. Пальцы чужие, торчат враспорырку, как сучки. Бинт отяжелел, он влажен от крови. Достаю второй индпакет. Меняю повязку, а глаза слипаются. Если разрешить себе, можно заснуть враз, несмотря на озноб и холод. Заснуть как окаменеть, с бинтом в руке.

Завязываю бинт, накручиваю онучу. От подножия холма сочится невнятный говорок. Достаю из сидора немецкий складной шомпол, свинчиваю его, прочищаю ершиком ствол МГ, чтобы не осталось там земли.

Светает. Кажется, будто сами дождевые капли наливаются светом. Они несут на землю свет из-за облаков, где хозяйничают солнечные лучи.

Уже поблескивает река. На ее фоне проступают силуэты растущих рядом березок и сосенок. Сейчас я вижу, какие они чахлые и кривые. Здесь им холодно, неуютно, но они вцепились и держатся за высоту как настоящие солдаты. А может, здесь росли раньше рослые стройные деревья, но их посрезало снарядами?

Когда света набирается достаточно, чтобы проявить всю вершинку, я вижу остатки траншей и блиндажей, торчащие из земли расщепленные комли бревен, воронки, уже заросшие травой. Когда шли бои, не одну тонну

металла вогнали в эту высотку. Только кривые деревца и уцелели... Конечно же, холм заметен, как зуб во рту младенца. Но лучшей позиции для НП* в округе нет.

Выбираю себе удобный окопчик на краю холма, под двумя березками. Осторожно высвобождаю сошки из держателя и устанавливаю свой пулемет дулом к дороге. Выглядываю из травы. Подо мной, метрах в ста пятидесяти, светлеет среди темного еще луга Ожинский шлях. Здесь он как бы раструбом, расширяясь, входит в реку. Шепоток доносится из ивняка, растущего у кювета. ближе к холму. За шляхом вдоль реки кустарник тянется густыми зелеными островками. На том берегу Инши — широкая пляжная полоса. Позиция у меня превосходная. Круговой обзор.

Проверяю ориентиры, зоны обстрела. Две гранаты кладу перед собой в песок. Теперь, чтобы взять высотку, им потребуется по меньшей мере миномет. Пусть доставят!

Ну, все готово. Все в порядке. Беспокойства и страхи улечиваются, даже боль чуть пригасла. Струна ходит в ноге не с такой яростью и злобой, как ночью. Вот только холод донимает. Надо терпеть. Немного осталось.

Уже все вокруг высветлело. Видны разводья от быстрого течения на реке. Мир оживает, ночная тишина рассеивается. Стриж проносится над моей головой. В бору покрикивает сойка. Хорошо, что сойки не любят жить у реки, иначе я не смог бы так тихо подняться на холм.

Странные звуки доносятся из-за бора. Как будто кто-то неумело и робко подул во флейту, наугад перебирая клапаны. Звуки бьются друг о друга, звенят, дрожат, переливаются. Я замираю в ожидании чего-то удивительного, волшебного. Звуки растут, становятся громче и вот повисают над высоткой, над моей головой. Это грустные, жалующиеся, непонятные крики. И когда я понимаю, что это, голоса уже тают за рекой. Улетели на юг птицы-журавли! Поднялись рано-рано для большого перелета и клином прошли над туманной землей.

Слышала ли журавлей Антонина? Лучше не думать об этом сейчас. Лучше не думать!

* НП — наблюдательный пункт.

Внизу журчит прерванная было беседа. Кажется, это хорошие твои друзья расположились под холмом, неспешно толкуют о семьях, о любви, о детях, о прожитых годах, о рыбалке. Они никогда никого не вешали, не вырезали звезд на лбу, не били ножом под ребра. Спустись — угостят чаем, пропахшим дымком и ивовыми листьями, дадут удочку, наживку, возьмут с собой на рыбалку... Спустись к ним, Капельюх!

6

Совсем рассвело. Видны седые ивовые листья на кустах под холмом. Теперь я различаю две шапки. Они чуть покачиваются. Оттуда и долетает журчащая речь. Где же остальные? Присматриваюсь, прислушиваюсь. Что за чертовщина? Со стороны бора доносится песня. Кто-то идет и горланит по лесу.

Через минуту я различаю мотив «Гали молодой». Две шапочки внизу передвинулись к краю кустарника. Замерли. Ждут.

Ой, ты Галю, Галю молодая,
Чому ты не вмерла, як була малая?

В самом деле, «чому»? Если б ты вмерла, у этого идиота, лишённого всякого слуха, не было бы повода орать на весь лес, накликать на себя беду. А может, человек нарочно кричит во всю глотку? Хочет предупредить: мол, иду по своим делам, никого не трогаю, и вы меня не трогайте, главное, не застрелите по ошибке.

Вот на дороге, спускающейся к реке от соснового бора, появляется фигура. Это плотный, кряжистый человек в галифе, жупане и папахе. Он не пьян, не шатается, но кричит громко. Должно быть, давно он уже распевает свою «Галю», потому что голос у него сел, сипит, как сорванный паровозный свисток. И все-таки этот искаженный голос кажется мне знакомым.

Когда я различаю пояс, перехватывающий жупан, желтую кривульку револьверной кобуры на животе, тяжёлую цепочку, я, конечно, узнаю певуна. Крот! Но куда это он так бодро вышагивает? В Ожин? Может быть, его послал Глумский?

Двое выходят из кустов навстречу Кроту. Допелся!

У бандитов «шмайсеры» наготове, ленивая, сонная походка.

Я проверяю, крепко ли воткнулись сошки в землю. Если бандиты примутся за Крота, мне придется раньше срока вступить в дело. Пальцы чуть дрожат. Прижимаю к плечу приклад и посвободнее держу рукоять. Ствол успокаивается. Регулирую прицельную планку. Глаза видят еще хорошо. Набегает слеза, но это ничего, МГ — не снайперская винтовка, он бьет густо.

Крот достает из кобуры револьвер. Стволы «шмайсеров» поднимаются, я вытираю слезу и прижимаю подбородок к прохладному гладкому дереву. Так... Но Крот отбрасывает револьвер за кювет! Отставить пулемет. Наблюаю. Стволы «шмайсеров» снова опустились. Двое становятся по обе стороны дороги, ждут, когда Крот подойдет вплотную.

Он размахивает руками, показывает в сторону Глухарки, откуда пришел, объясняет что-то. Говорит громко. До меня долетают отдельные слова: «Гроши»... «Брезент»... «Схованы»*. Так ведь это же он рассказывает об уловке Глумского, о спрятанных под брезентом «ястребках». Пришел сюда выторговать свою долю! Все проясняется.

Крот догадался, что бандиты постараются перехватить телегу с деньгами. Незаметно скрылся. И теперь продает секреты Глумского!

Бандюги ведут Крота за дорогу, к большому зеленому островку на берегу реки. Там у них, очевидно, КП**. Из ивняка выходят еще двое с автоматами. Один из этих двух, в кубанке, в сапогах с высокими, напуском, голенищами, спрашивает что-то у Крота. Голос его звучит визгливо, на однообразной высокой ноте. Крот отвечает, сипит. Он снова начинает указывать в сторону Глухарки, он спешит, как будто боится, что его не поймут, размахивает руками.

Меня трясет. Озноб это или чувство омерзения, не знаю. Я бью себя кулаками по скулам, чувствительно бью. Согрейся, Капелюх. Согрейся и успокойся. Ну что тут удивительного? Человек, который бросал обломками кирпичей в детвору, пришел за своей долей к Горелому.

* Гроши — деньги; схованы — спрятаны (укр.).

** КП — командный пункт.



И никакой души труженика в нем нет, не путай черные корявые руки с душой. Не может он, Крот, перенести, чтобы два мешка с деньгами вот так, за здорово живешь, были отданы государству. Измучился он, Крот, от этой мысли. И нашел выход.

Горелый, повернувшись к ивняку, окликает кого-то. Выходят еще двое. Ага, вот и вся банда в сборе.

Ловлю в прицел семь темных фигурок за дорогой. Планка прыгает, мечется от кювета к кустарнику. Нет, нет, спешить нельзя. Еще не пришло время. Я только распугаю их. Ускользнут в ивняк. Надо ждать.

Что же надумал Горелый? Если он решит идти на встречу Глумскому, придется все-таки стрелять. Не оставаться же памятником на этой красивой высотке.

Горелый осматривает окрестность. Взгляд его на секунду задерживается на холме. Впечатление такое, будто мы столкнулись с ним глазами. Но нет, он не может видеть меня — трава скрывает. Горелый указывает в сторону Ожина, на речку, что-то говорит.

Двое бандитов, только что вышедших из ивняка, снова скрываются в кустах, а через минуту появляются с пулеметом. Один несет МГ, а второй — тяжелую складную треногу и короб для ленты в двести пятьдесят патронов. Они намерены установить станкач. Это серьезное оружие.

Первый — рослый, с пулеметом — нерешительно входит в воду по голенища и оглядывается. Командир жестом посылает его вперед.

Река сизая, холодная, она поднялась от дождя, и на середине брода вода рослому пулеметчику уже по грудь. От второго, маленького, над водой только голова, тренога да короб.

Бандиты медленно пробираются на тот берег. Наконец выходят на широкую песчаную полосу. Отряхиваются, как псы. На обоих короткие овчинные полушубки. Наши, красноармейские, довоенные. Не замерзнешь в таких, даже если в реке искупаешься. Пулеметчики смотрят на Горелого. Тот машет рукой — мол, дальше, и они идут к небольшому лозовому островку на песке, который, как клочок серой шерсти, торчит из пляжной полосы.

Второй номер ставит треногу за лозняком, они начинают крепить пулемет, возятся с винтами наводки, вре-

менами зябко передергиваются, звучно хлопают себя ладонями по бокам, прыгают.

Теперь все становится ясно. Горелый даст телеге и сопровождающим ее «ястребкам» войти в реку. Воды стало много, и те, кто скрывается под брезентом, будут вынуждены подняться, выдать себя.

И вот тогда, наверно, заговорит станкач. А позади глухарчан встанет заслон из четырех автоматов. Горелый хочет мастерски разыграть эту финальную сцену, показать во всем блеске свое превосходство. В самом деле, ловушка хитроумная и обидная для «ястребков». Вся затея Глумского будет выглядеть беспомощной и нелепой. Уж Горелый поиздевается досыта, прежде чем утопит наших в Инше...

Молодец, атаман. Понятно, почему тебя так бесприкословно слушаются бандюги, несмотря на тонкий, писклявый голосок. Но самые лучшие военные замыслы может испортить какая-нибудь маленькая неувязочка. Случайность. К примеру, пулемет на холме.

Сверим наши планы, атаман!

Один из бандюг, нарезав лозы, подчищает дорогу у брода. Горелый знает, что мелкий дождь не успеет замывать все следы. До чего предусмотрительный!

Меня трясет от озноба. Скорее бы. Догадается ли председатель, что Крот не просто сбежал, а предал нас?

Сеет мелкий дождичек. Несколько березовых листьев, сорвавшихся с ветвей, прилипли к кожуху МГ.

Двое пулеметчиков все еще возятся на том берегу у треноги. Крутят стволом, просматривают сектора, намечают ориентиры. Второй номер — маленький, щупленький. Это, очевидно, Семенко. Не надо бы тебе пристраиваться вторым номером, Семенко. Не могу я отблагодарить тебя за погасший фонарик.

Пулеметчики укрылись за лозовым кустом, но передо мной они как на ладошке. Желтая песчаная полоса панорамно разворачивается с высоты. Мокрый песок кажется плотным, твердым, на нем извилистые полосы мелких барханов. Тяну к себе МГ. До чего же тяжел! Как я раньше таскал его? Переставляю на новую позицию, дулом к реке.

Станкач надо уничтожить прежде всего, иначе под его прикрытием Горелый с друзьями смогут уйти бродом на ту сторону. А без станкача бандиты окажутся

прижатыми к реке. За островком ивняка, в котором они скрываются, тянется метров сто открытого луга. Может быть, нам удастся охватить этот островок! Тогда Горелому никуда не деться.

Просматриваю позицию станкача через прицел. Надо не забыть взять чуть повыше, ведь стреляю через реку.

У шляха оживание. Горелый похлопал по плечу Крота. Видать, сторговались. Все пятеро, бандиты и Крот, направляются к ивняку, скрываются в нем. Теперь будет тихо, пока не появится телега. Началась игра. Теперь каждый — охотник. И каждый — дичь.

Ждать — нет ничего хуже. Как только замерло все вокруг в ожидании, разболелась рана. Пошла в ход тупая ножовка. Вжиг-вжиг. Голова норовит уткнуться в сгиб локтя. Извиваюсь в шинели, стараюсь разогнать кровь по жилам. Ничего, выдюжим! Вспомни Дубова: восемь ран, а все воет.

Сеет мелкий дождь. Вот ведь как оборвалось бабье лето, на самой макушке поехало к зиме, не дождалось михайлова дня. Все стихло под холодным дождем. Темно-зеленая, кое-где синеватая и сиреневая полоса бора, хорошо промытый, изумрудный луг с глазками бочагов, глядящих из-за осоки в мутное небо, пустая полоса дороги, седой, поблескивающий серебром ивняк на берегу Инши, темная, мутная река, вся в желтых пятнышках плывущих по ней листьев, широкая пляжная полоса.

Какая мирная осенняя картина. Неужели наступят дни, когда все это будет тем, что есть, — тишина не покажется никому мнимой, предгрозовой, клок лозы станет просто кломом лозы, а не ориентиром, холм — холмом, не господствующей высотой, река — рекой, а не естественным препятствием?

Скорее бы!

7

Впереди идет Глумский, узнать его нетрудно. Горбатый карлик с карабином под мышкой. За ним Леbedка тянет длинную сноповозку, грядки которой накрыты брезентом. На сноповозке Маляс. Карабин у него за спиной, в руках вожжи.

Может, твоя хитрость и удалась бы, Глумский.

Но в ивняке — Крот. Он не просто дезертировал, он предал тебя, председатель. Он все рассчитал. Тебе плыть по Инше, а ему весь вечер считать на счетах.

Сноповозка скрипит, мало-помалу приближаясь к Инше. Я жду. Держу руки на груди, грею, успокаиваю их. Пусть телега подойдет к ивняку поближе.

Весь кожух МГ в березовых листочках. Сердце стучит прямо в ладонь, согревающуюся под шинелью. Стучит тяжело и часто, как танковый дизель. Телега приближается. Я извлекаю ладони осторожно, будто они вот-вот рассыплются, разлетятся на мелкие стекляшки. Дышу на пальцы.

Тихо. Лишь скрипят втулки у сноповозки. Виляя колесами, она ползет по дороге. Блестит мокрая шерсть Леbedки. Карабин Глумского смотрит в песок. Еще пять, десять, двадцать метров... Теперь «ястребки», если окажутся проворными, смогут отрезать ивовый островок, где прячутся бандиты, от полосы кустарника.

Прижимаю к щеке приклад. Рукоять удобно лежит в ладони. Дерево гладкое, ласковое, притертое. На планке — деление в сто пятьдесят метров. Вырез планки наползает на выступ мушки, а за мушкой появляются двое тесно лежащих за рекой, на песчаной полосе, людей. Треногу они глубоко вкопали в землю и теперь лежат за пулеметом. Двое: рослый и маленький. Ты сам напротился, Семенко, никто тебя не звал к Горелому.

Беру чуть повыше. Нажимаю гашетку. Очередь длинная. Трясется, захлебывается частым кашлем пулемет. На секунду отрываю глаза от прицела. Промазал. Высоко взял!

Один из бандитов бросил станкач и бежит по песчаной косе вверх от реки к густому кустарнику, а второй храбро возится с винтами наводки. Видно, вертикальный у них закреплен наглухо, они ведь не собирались брать рассеяние по высоте.

Снова стреляю. Пулеметчик на том берегу уже поднял ствол станкача, бьет по холму. Наугад, второпях, ловит цель. Пули стучат по откосу, визжат в воздухе. Стреляю, тщательно целясь, двумя короткими очередями. Глухо, от упора сошек в песок, стучит мой МГ.

Станкач замолкает.

Второй бандит уже в двадцати метрах от кустарника. Бежать по мокрому песку тяжело. Это тот, крупный.

21*

рослый; значит, у пулемета был Семенко. Выжидаю и бью ровной, длинной очередью по горизонтали, вдоль сизой полосы кустарника, к которому бежит бандит. Он сам врывается в очередь. Туловище ныряет в лозняк, а сапоги остаются на песке. Так они и лежат, сапоги, широко раскинувшись, носками в стороны.

Станкач задрал ствол в небо. Пулеметчик навалился грудью на приклад, вцепился в большой двойной короб с лентой. Шапка слетела с него, голова круглая, мышинная, коротко стриженная. Не шевелится.

Переносу пулемет. Как там Глумский? Лебедка стоит посреди шляха, спокойно стоит, как будто она родилась и выросла под стук очередей.

Глумский, Попеленко и Валерик лежат в кювете. Не стреляют, прислушиваются. В ивняке тоже молчат. Расчет станкача погиб на их глазах. Они стараются понять, в чем дело.

Я приподнимаюсь.

— Глумский! — кричу что есть мочи. — Они там, в кустах! Отрезайте! По лугу, по лугу! Их четверо!

Теперь меня заметили. Из ивняка по холму бьют автоматы. Но «шмайсер» хорош только в ближнем бою. Пули летят с большим рассеянием, посвистывают в стороне. Вскоре стрельба прекращается.

Вижу, как Валерик, подпрыгивая, несется по лугу. Матросские ленты вьются за ним, как стрижи. Он понял меня, стремится обойти ивовый островок с тыла, чтобы отрезать его от тянущейся вдоль берега зеленой полосы густого кустарника.

Трава цепляется за широкие флотские клеши. Валерик оступается, падает. И кстати, потому что из ивняка начинают стрелять по нему. Но за морячком уже бегут Попеленко и Глумский.

Где же Маляс? А... В высокой траве, на лугу, застыла темная закорючка, вроде запятой. Это сжался Маляс. Карабин он поднял дулом вверх и, не глядя, дергает затвором, стреляет.

Валерик встает, но по нему снова бьют из автомата. Почему только из одного?

Оглядываю ивовый островок. Все становится понятным. Маленькие очажки ряби передвигаются по поверхности кустарника. Бандиты спешат уйти туда, где за небольшой открытой луговой полосой серебрится новый

островок. Спешат уйти, пока их не отрезали. А один из автоматчиков прикрывает.

Валерик несется скачками в высокой луговой траве. Падает. Не поднимается больше, но стреляет по ивняку. Попеленко и Глумский бегут к полосе луга, разделяющей островки, чтобы опередить Горелого.

Успеют или нет? Глумский сильно отстает. Он немолод уже, мал ростом, то и дело спотыкается о кочки, падает. Попеленко, заметив это, приостанавливается, оглядывается. Эх, скорее, Попеленко!

Ивовые ветки снова начинают подрагивать. Бандиты продираются подалее от холма. Огонь МГ, хотя и неприцельный, неточный, мешает им. Пули густо сыплются в ивняк. Кругляш вот-вот кончится, придется сделать перерыв для смены дисков с лентами.

Попеленко, застывший было на лугу в ожидании Глумского, вдруг подпрыгивает, как заяц, и мчится вперед, на перехват бандитов. Все-таки решил.

Жми, Попеленко! Не трусь!

Меняю кругляш. Попеленко уже подбежал к дальнему краю ивового островка. Залег. Вижу, как Валерик встает, но тут же опускается опять в траву. Ранен, видимо. Но ползет к ивняку поближе.

На луговую полосу за кустарником выскакивают трое бандитов. Попеленко стреляет. Трое падают и, прикрывая друг друга огнем, ползут по лугу к дальнему спасительному кустарнику.

Далеко они. Одна надежда — на густоту огня. Стреляю по трем темным фигуркам, извивающимся ужами в траве. Очередь длинная-длинная. Березовые листки один за другим сворачиваются на кожихе. Отпускаю гашетку, когда диск опустошен, и рукоять затвора остается в отброшенном положении. Трое бандюг останавливаются. Не нравятся им на лугу.

Глумский спешит на помощь Попеленко. Стреляет из карабина на ходу. Бандюги бросаются обратно в ивняк, откуда высочили. Один из них ковыляет, отстает. Бьет автомат Попеленко. Тот, что отставал, падает. Лежит.

Молодец, Попеленко. Выручил.

Теперь с высоты вся расстановка сил как на ладони. Ивовый островок окружен. Дальний выход из него сторожат Глумский и Попеленко. Слева — луг, за лугом — спасительный сосновый бор, но здесь залег

со своим автоматом Валерик. Видно, морячок ранен, но стрелять может. Кроме того, луг простреливается моим пулеметом. Добежать до бора бандерам не удастся.

Холм замыкает кольцо окружения. Здесь им не проскочить.

Конечно, бандиты — их осталось только трое, Крот не в счет — могут попробовать перебраться через реку, к которой примыкает ивовый островок. Но течение все равно вынесет к броду, под холм, в полосу прицельного огня.

Горелый сам загнал себя в ловушку. Вот что значит вовремя не занять господствующей высоты. У бывшего командира вспомогательной полиции бандитское мышление. Он предпочитает прятаться в густом кустарнике.

Меняю диск и, пользуясь временным затишьем, набиваю патронами пустую ленту. Один за другим золотистые патроны входят в гнезда. Бой еще не кончен.

8

Кое-где ивняк начинает шевелиться. Даю несколько коротких очередей. Пусть знают, что за кустарником следят.

Глумский приподнимается из травы. Встает во весь рост. Это ему почти ничем не угрожает. Голова едва торчит из высоких зарослей мятлика. Рядом встает Попеленко. Ишь ты, осмелел. Почувствовал сладкий вкус победы.

— Э, выходите без оружия, по одному! — кричит он, и эхо разбегается по лугу. — Сдавайтесь!

Громко кричит Попеленко, по-хозяйски. Это Горелому-то!

Но сдаваться бандеры, конечно, не будут. За ними числится многовато грехов. На милосердие суда надеяться нечего.

Внезапно один из бандитов выскакивает из ивняка и бежит через луг к бору. Это отчаянная попытка пробиться в одиночку. Он бежит прямо на Валерика, не видя его. Черный блин бескозырки приподнимается. Жив, курилка! Взмах руки — и навстречу бандиту по крутой траектории несется маленькое черное ядро. Тот ничком падает в траву, ладони накрывают затылок.

Граната шлепается о землю неподалеку, но взрыва нет. Запал, наверно, отсырел. Крот выдал Валерику из своих запасов что похуже.

Бандит снова вскакивает и мчится на морячка. В правой руке у него автомат. С высоты уже поздно стрелять. Фигура бандита почти закрыла Валерика. Могут попасть в морячка.

Из кустов, ободренные успехом товарища, выскакивают еще двое. Снова в траве приподнимается черный блин, взмах руки. Бандит уже не боится, вскидывает автомат. Он хорошо видит Валерика. Ловлю его в прицел. Будь что будет... В эту секунду взрыв. Сработал запал! Бандита нет. Бескозырка приподнимается из травы, как черный подсолнечник. Двое убираются в ивняк.

— Сдавайтесь! — кричит Попеленко. Он трясет автоматом в ярости. — Сдавайтесь!

Крик его убегает к бору и возвращается многослойным эхом. Даже лес требует: «Сдавайтесь!» В ивняке осталось двое бандитов и Крот. Ветви начинают шевелиться вблизи от дороги. Я не стреляю. К холму пусть выходят. Пожалуйста.

Трое выбегают из кустарника. Пускаются на заячью хитрость: один мчится по дороге к бору, два других прыгают в реку и тут же ныряют.

Мне не до них. Первый бандит, огромный, без шапки, мчится по дороге, а там лежит Маляс. Он время от времени меняет обоймы в карабине и, не глядя по сторонам, стреляет в небо.

— Маляс! — кричу я.

Где там! Ничего не видит и не слышит наш браваый охотничек. Приподнявшись, глядя поверх прицела, я веером стреляю по дороге. Хорошо видно, как укладывается в песок строчка пуль, догоняя бандита. Ках-ках-ках-ках — дергается МГ.

Бандит падает. Садится, подняв руки. Не стреляй, мол.

Только сейчас до Маляса доходит, что его окликали. Он поднимается из кювета. Видит поблизости противника с поднятыми руками, испуганно вскидывает карабин. Бандит еще выше тянет руки. Встать он, видно, не может.

Вот и первый наш пленный. Взял Малясом.

Осматриваю реку. Где же те двое? Инша пуста,

ни волны, ни всплеска, только рябь от дождя шершавит воду да проплывают, крутясь, желтые листья.

Куда они занырнули?

На том берегу тишина. Тренога с МГ, пулеметчик, заснувший, навалившись на приклад. Сапоги носками врозь на песчаной полосе у лозняка.

Меня не оставляет ощущение, что среди тех двух, нырнувших в воду, был Горелый. Неужели ушел? Пуста река. Вот дьявольщина!

Подползаю к краю холма. Отсюда к реке крутой песчаный спуск, почти обрыв. Вижу — в воде, на мелком, по-тюленьи выставив голову, лежит человек. Как раз подо мной. Отдыхает. Вот, значит, как. Решил перхитрить. Пробраться под самым холмом.

Человек ползком выбирается из воды под обрыв. Автомата у него нет. Видно, утопил в реке. Слышно, как он дышит. Правая рука висит плетью.

Подтягиваю к себе гранату. Глядя вниз, нащупываю кольцо чеки. Бандит тихонько крадется вдоль откоса вниз по течению. Еще немного — и уйдет в мертвую зону. «Ястребки» по ту сторону холма. Не догонят.

— Э! — окликаю я негромко и вывешиваю за край обрыва «феньку».

Человек поднимает голову. Левая половина лица темная, вся в ямках ожогов. Горелый!

Граната висит над ним, как плод, готовый сорваться с ветки. Горелый дышит запаленно: ххи-ах, ххи-ах... Смотрит на «феньку». Вижу, как дергается его рот.

Он поднимает левую руку, не отрывая глаз от гранаты. Правая висит, с порванного рукава падают алые капли. Губы его все время в нервном тике. Вот он, Горелый! Садист. Главный мой враг. По его вине на земле осталось немало сирот и вдов. Убийца Семеренкова и Абросимова! Что ж, добрался я до него все-таки. Из последних сил, но добрался. Посмотрели мы друг другу в глаза напоследок. Сверили все наши планы.

Пальцы сами собой выпрямляют усики предохранительной чеки и тянут кольцо. Все. Чека в левой руке. «фенька» в правой, над головой Горелого. Стоит выпустить гранату — пружина отбросит в воздух спусковой рычаг, щелкнет капсюль-воспламенитель, и через три секунды... От осколков тяжелой рифленой гранаты

под откосом нигде не скрыгся. Горелый замер. Стоит под обрывом, боясь сделать движение.

Пора ему, атаману, ответить за все. Нет ему места на земле среди живых!

Отсюда, с откоса, весь Горелый — это обожженное узкое лицо и поднятая вверх ладонь. Губы у атамана дергаются, он облизывает их языком. Нет во мне иных чувств, кроме омерзения и ненависти.

Шестисотграммовая граната подрагивает в руке, сама просится. Рычаг, стремясь высвободиться, давит на пальцы все сильнее.

Лицо Горелого покрывается крупными каплями влаги. Это не дождь. Дождь сеет с неба мелкий... Залихватскую кубанку атаман оставил в Инше. Волосы у него прямые, редкие, лоб маленький, сплюснутый. Как он выглядел, интересно, в черной полицейской форме?

Ладонь одубела от напряжения. Вот-вот не сдержит рычага. Горелый облизывается. Молчит. Бонится слово сказать, боится поколебать воздух, чтобы не сорвался железный рифленый плод.

Никто ни в чем не упрекнет меня. Ведь внизу Горелый! Зверь. Выродок. Фашист. Велико искушение дать рычагу нечаянно отскочить от запала. Тогда ничего не останется, как выпустить гранату.

Он, наверно, думает, что это я с ним играю перед тем, как убить. Он меня по своим меркам мерит.

Нет, я не выпущу тяжелую ребристую «феньку». Мы его возьмем живым. Проведем по селу. Пусть посмотрят глухарчане на бандитского атамана. Пусть знают: фашистской банды не существует, черная ее власть кончилась. Мы достаточно сильны, чтобы довести Горелого до суда, чтобы судить его по советским законам.

Горелый часто моргает. Кажется, он начинает догадываться, что я не собираюсь его подрывать. Переступает с ноги на ногу: осмелел. Хоть он и ранен, но все же опасен. Хитрый зверюга. Я ведь не знаю, что за оружие спрятано у него под одеждой. И «ястребков» не могу вызвать под обрыв, иначе граната перестанет быть для Горелого смертельной угрозой.

— Раздевайся, — говорю я Горелому. — И не делай лишних движений.

Он одной рукой, морщась, стаскивает рубаху, сни-

мает галифе, сапоги. Из-за пояса на песок падает пистолет. Горелый пробует закрыть его ступней.

— Отбрось ногой в воду, — приказываю я. — Ну!

Он чуть медлит. Для того чтобы подобрать пистолет, поднять его и выстрелить, Горелому нужно гораздо больше времени, чем мне. Я просто разожму пальцы — и все. К тому же он может и промазать, а я нет. Еще дальше выдвигаю гранату и держу ее теперь только большим и средним пальцами.

Горелый смотрит. Облизывает губы.

Ох, велико искушение. Пусть только послушается атаман! Но Горелый не хочет умирать под откосом. Он согласен хоть на небольшую отсрочку. Пистолет оказывается в воде.

— Отойди на три шага!

Атаман стоит подо мной в одних кальсонах, не отрывая глаз от гранаты. «Гипнотизирует» ее.

— Теперь иди к дороге!

Он пятится. Держит здоровую руку кверху. Медленно, увязая в мокром песке, идет к дороге, на которой показался Попеленко с автоматом. Я сжимаю концы чеки и вновь вставляю ее в отверстие рычага. Развожу усики. Жалко просто так бросать гранату в воду. Добро все-таки.

— Попеленко! Прими его! — кричу я. — И сразу стреляй, если что...

И вздыхаю облегченно. Все правильно. Хорошо, что граната не выскользнула из ладони. Мы покажем глухарчанам, что Советская власть тверда и нерушима. Мы не опустимся до мщения. Час Закона наступил. Надо вернуть людям спокойствие, веру в справедливость.

Там, под склоном холма, Попеленко наставляет на Горелого дуло автомата. Ох и устал же я!

Вижу: маленький Глумский, поддерживая Валерика, ведет его по лугу. Он где-то под мышкой у морячка — как живой костыль. А на дороге... что это? Маляс, бросив карабин, свертывает сидящему бандюге самокрутку.

Да ведь это Крот сидит на песке, разбросав ноги! Крот — только без папахи, без жупана и ремня с кобурой. Он оставил всю амуницию, чтобы побыстрее добегать до соснового бора.

Но где же шестой бандюга? Бежал?

У меня уже нет сил. Бой окончен. Голова падает на согнутую руку, на мокрый рукав шинели. Глаза закрываются. Теперь я могу позволить себе отдохнуть. Ребята не дадут замерзнуть.

Телега мягко переваливается на песчаном шляхе. Под головой у меня лежит бумажный мешок с пороховыми плитками. Я вижу рядом Валерика. Губа у него закушена от боли. Увидев, что я открыл глаза, он подмигивает, корчит рожицу — бывалый, обстрелянный морской пехотинец.

— Куда? — спрашиваю я.

— Бедро. Четвертая отметка... Ничего. Главное — культурно получилось. Один только бандера и ушел.

Лебедка лениво тянет длинную сноповозку. Приподнявшись, вижу Глумского с Малясом. Они ведут под дулами карабинов Горелого и Крота. У атамана рука перевязана. Крот с головой, обмотанной лоскутьями чьей-то рубахи, шагает ссутулившись, кожаная подшивка на его галифе в виде огромного сердца угрюмо ходит складкой туда-сюда. Маляс целит в эту подшивку.

Неужели все? Все! Победа!

Над головой проплывает черная обгоревшая дубовая ветвь. Она вся в каплях дождя. Мы проходим Шарую рощу. С низкого неба по-прежнему моросит. Поскрипывают втулки.

От «предбанника» веет теплом и густым хвойным запахом. Скоро Глухарка.

Попеленко шагает впереди всех. Гордо шагает, вывесив автомат на груди. Хочет первым войти в село. Пусть испытает это чувство — победного возвращения. Может, все-таки получится из него добрый вояка.

Мы войдем в Глухарку молча, под скрип втулок. Не плачь, Антонина, скажу я. Все хорошо. Здравствуй. Будет еще ясное утро, будет чистая роса на озими. Здравствуй!

9

Что было потом?

Горелого отвезли в Ожин. Банда Шмученки так и не смогла взять райцентр. Со Второго Украинского перебросили в Полесье авиадесантный полк. Дела на фронтах шли неплохо, и командование могло позволить

себе такую роскошь. Банду истребили. Но после боев в Ожине стало еще меньше домов, а пепелищ и труб прибавилось.

Следствие длилось долго. Горелого повесили осенью сорок пятого вместе с несколькими эсэсовскими карателями. На совести его оказалось около трехсот собственноручно расстрелянных им людей. Так что фамилии Семеренкова, его старшей дочери Нины и шестнадцатилетнего Абросимова фигурировали в длинном списке жертв. Они лишь замыкали список.

Крота тоже судили, но гораздо раньше и, учитывая, что его сотрудничество с бандитами не успело привести к трагическим последствиям, а также ранение, ограничились высылкой на три года. Вернувшись, он опять занялся кузнечным делом, завел новые счеты, безмен и вскоре покрыл свою хату железом. Это была первая в Глухарке хата под железной крышей.

Варвару приговорили к пяти годам. В заключении она вела себя образцово, перевыполняла всякие нормы, и ее, по зачету, освободили досрочно. В Глухарку Варвара не вернулась — вышла замуж за старшину-конвойра. Ей всегда нравились военные.

В госпитале я пролежал долго. К моему ранению добавилось воспаление легких, и врачам пришлось повозиться. Гупан ездил в Киев и достал сульфидин, это меня спасло. Но несколько дней и ночей я болтал черт знает что, а Антонина сидела у койки и слушала.

Валерик, который попал в госпиталь вместе со мной, уверял, что в основном я признавался в любви и выполнил за эти несколько суток пожизненную норму... Валерик выписался раньше и уехал на Черноморский флот. Он спешил: товарищи дрались уже где-то под Белградом.

Попеленко, когда было покончено с бандитами, неожиданно пошел работать в милицию. Его служба в «ястребках» получила, таким образом, логическое развитие. Старший его сын, наблюдательный Васька, тоже через некоторое время пошел по стопам отца. Таким образом, как ярко и образно писала Ожинская районная газета, возникла «новая династия людей в синих шинелях». Попеленко оказался хорошим милиционером, но никак не мог дослужиться до звания младшего сер-

жанта, потому что допускал промашки в такой области, как борьба с самогоповарением.

Эти беды Попеленко были мне хорошо знакомы, потому что «ястребок» вновь оказался под моим началом. После того как я выздоровел, Гупан предложил мне поехать в Киев, в высшую милицейскую школу. Он хотел, чтобы мое знакомство с законом, о котором однажды ночью он прочитал мне столь краткую лекцию, было продолжено на ином уровне. Поразмыслив, я согласился. Антонина уехала вместе со мной. Свадьба наша состоялась в Глухарке зимой. Посажеными были Сагайдачный и Глумский.

Гончарный заводик к зиме снова задымил. Правда, никто уже не делал таких глечиков, как Семеренков. Чуть позже, в мирное время, когда хлеба стало вдосталь и люди смогли заняться искусством, из Киева приезжали научные сотрудники за «семеренковскими» глечиками, чтобы выставить их в музей.

Бабка Серафима пошла вновь работать в завялочный цех. Некому было заменить Кривендику, и бабка сказала председателю, что она в прошлом так ужарилась, что может сто лет стоять у печей, «будто живой мумей».

Мы с Антониной провели в Киеве три с половиной года. Откровенно говоря, нам пришлось нелегко. Даже очень нелегко. В сорок пятом, ранним летом, у нас родился сын, а в сорок седьмом дочь. Люди без квартиры и твердой зарплаты, мы вели себя очень неосторожно. Но, признаться, не раскаивались.

В Ожине, куда мы вернулись с детьми, для меня началась новая, очень сложная жизнь. Беспокойная и тревожная. Но это уже иная история...

Опасения Сагайдачного оправдались. В январе сорок пятого старика — подкравшись к окну — застрелил бывший помощник и дружок Горелого по прозвищу Глузд. В то дождливое утро на Инше он, шестой, сумел переплыть реку и скрыться. История с деньгами недолго оставалась тайной. Глузд решил отомстить Сагайдачному за гибель группы.

...В ту ночь старик сидел у плошки, курил тонкую

папироску и читал книгу. Как потом выяснилось, это был томик Ренара.

Глузд скрылся в УРе. Когда я узнал об этом, то отпросился у начальника школы и приехал в Глухарку. Шесть саней с милиционерами и «ястребками» привел Гупан в УР. Мы выследили Глузда в одном из старых дотов. Он отстреливался, пока дот не забросали гранатами.

Сагайдачного похоронили на маленьком погосте у Грушевого хутора, где он прожил отшельником почти тридцать лет. Томик Ренара с рыжими пятнами на сто двадцать третьей странице до сих пор хранится у меня. Там, кстати, были такие строки:

«Моя последняя прогулка была долгом благодарности. Я благодарил деревья, улицы, поля, речку, черепицы крыш.

Здесь только я живу, как всегда хотел бы жить.

И когда я покину наших свирепых братьев и уеду в Париж вместе с Глорией, здесь останется большая часть моего сердца...»

Как и завещал Сагайдачный, над могилой его поставили обелиск с красной звездой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------|-----|
| Глава первая | 6 |
| Глава вторая | 28 |
| Глава третья | 108 |
| Глава четвертая | 172 |
| Глава пятая | 232 |
| Глава шестая | 294 |

Смирнов Виктор Васильевич

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ. Повесть.
М., «Молодая гвардия», 1971.

336 с., с илл.

P2

Редактор **А. Строев**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Ю. Бойно**

Корректоры **З. Федорова, А. Долидзе**

Сдано в набор 18/VI 1971 г. Подписано к
печати 1/X 1971 г. А01316. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага № 1. Печ. л. 10,5 (усл. 17,64). Уч.-изд.
л. 17,6. Тираж 100 000 экз. Цена 72 коп.
Т. П. 1971 г. № 213. Заказ 1307.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия», Москва, А-30, Суще-
ская, 21.